This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Я. П. ПОЛОНСКАГО.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

Стихотворенія разныхъ годовъ. — Кузнечикъ-музыкантъ. — Больной писатель. — Свѣжее преданіе. — Ночь въ Лѣтнемъ саду. — Въ концѣ сороковыхъ годовъ. — У Сатаны. — Мишенька. — Куклы.

ИЗДАНІЕ

Ж. А. Полонской.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Р. Голике, Троицкій пер., № 18—20.
1886.

ОГЛАВЛЕНІЕ II ТОМА.

СТИХОТВОРЕНІЯ РАЗНЫХЪ ГОДОВЪ.

	стр.
Цвѣтокъ	1
«Уже надъ ельникомъ»	2
К. Г. («У нея, какъ у хитаны...»)	3
На кладбищѣ	—
Труженица	5
За городомъ	14
Замѣтки	15
Есть рѣчи	—
Костыль и Тросточка	16
Двѣ фіалки. (Стихотвореніе въ прозѣ)	19
«Томитъ предчувствіемъ болѣзненный покой»	21

Кузнечикъ-музыкантъ	22
Больной писатель. (Сороковыхъ годовъ)	52
Свѣжее преданіе. (Разсказъ, сотканный изъ юношескихъ воспоминаній)	71
Ночь въ Лѣтнемъ саду	194
Въ концѣ сороковыхъ годовъ. (Изъ поэмы «Братья»)	225
У Сатаны (фантастическая сцена)	287
Мишенька	312
Куклы	326

Цвѣтокъ.

Блуждая пó саду, она у цвѣтника
Остановилась, и любимаго цвѣтка
Глазами бѣглыми разсѣянно искала;
И наконецъ нашла любимца своего,
И майскимъ запахомъ его,
Полузажмурившись, медлительно дышала...
И долго, долго упивалась имъ,—потомъ,
Играя сорваннымъ цвѣткомъ,
Она его щипала понемножку,
И уронила на дорожку.
И той порой, румяное дитя,
Кудрявый мальчикъ, не шутя
Влюбленный въ рѣзвую богиню,
Нашелъ цвѣтокъ и поднялъ, какъ святыню...
Онъ долго тихими глазами провожалъ
Ея воздушную, игривую походку,
И потихоньку цѣловалъ
Неоцѣненную, случайную находку.
Такъ чувство нѣжное, когда оно проснется
Впервые, трепетно слѣдитъ за красотой,
И все, къ чему она случайно прикоснется,
Животворитъ послушною мечтой.

1839.

---

*
* *

Уже надъ ельникомъ, изъ-за вершинъ колючихъ,
Сіяло золото вечернихъ облаковъ,
Когда я рвалъ весломъ густую сѣть пловучихъ
Болотныхъ травъ и водяныхъ цвѣтовъ.

То окружая насъ, то снова разступаясь,
Сухими листьями шумѣли тростники;
И нашъ челнокъ шелъ, медленно качаясь,
Межъ топкихъ береговъ излучистой рѣки.

Отъ праздной клеветы и злобы черни свѣтской,
Въ тотъ вечеръ, наконецъ, мы были далеко,
И смѣло ты могла, съ довѣрчивостью дѣтской,
Себя высказывать свободно и легко.

И голосъ твой пророческій былъ сладокъ,
Такъ много въ немъ дрожало тайныхъ слезъ,
И мнѣ плѣнительнымъ казался безпорядокъ
Одежды траурной и свѣтлорусыхъ косъ.

Но грудь моя тоской невольною сжималась,
Я въ глубину глядѣлъ, гдѣ тысячи корней
Болотныхъ травъ невидимо сплеталось,
Подобно тысячѣ живыхъ, зеленыхъ змѣй.

И міръ иной мелькалъ передо мною,
Не тотъ прекрасный міръ, въ которомъ ты жила ..
И жизнь казалась мнѣ суровой глубиною,
Съ поверхностью, которая свѣтла.

К. Г.

У нея, какъ у хитаны,
Взглядъ какъ молнія блеститъ,
Какъ у польской, рѣзвой панны,
Голосъ ласково звучитъ;
Какъ у юноши отъ раны,
Томенъ цвѣтъ ея ланитъ.

Есть возможность не влюбиться
Въ красоту ея очей,
Есть возможность не смутиться
Отъ привѣтливыхъ рѣчей,
Но другихъ любить рѣшиться
Нѣтъ возможности при ней.

Тифлисъ, 1849.

На кладбищѣ.

Знаю самъ, что непробуденъ
Мертвыхъ сонъ, и что къ лунѣ
Доступъ мой не столько труденъ,
Сколько доступъ ихъ ко мнѣ;
Знаю самъ, что воздухъ чище
За чертою городской;
Отчего же на кладбищѣ
Сердцу жутко въ часъ ночной?

Такъ и кажется, что тѣни
Мертвыхъ колоколъ сзоветъ...
На церковныя ступени
Призракъ сядетъ и вздохнетъ;
Иль, костлявыми руками
Мертвеца приподнята,
Глухо стукнетъ за кустами
Надмогильная плита.

Суевѣріе ль въ наслѣдство
Получилъ я отъ отцовъ?
Напугала ль няня съ дѣтства
Появленьемъ мертвецовъ?
Но изъ области мечтаній,
Изъ-подъ власти темныхъ силъ,
Я ушелъ—и волхвованій
Мракъ наукой озарилъ.

Муза стала мнѣ являться
Жрицей мысли, безъ оковъ,
И учила не бояться
Ни живыхъ, ни мертвецовъ.
Отчего жь невольный трепетъ
Пробѣгаетъ по спинѣ,
Всякій разъ, какъ листьевъ лепетъ
Здѣсь я слышу при лунѣ?

Много въ небѣ звѣздъ далекихъ,
Небо тайнами полно;
Но на днѣ могилъ глубокихъ
Меньше ль тайнъ погребено?
Въ мірѣ звѣздъ, по крайней мѣрѣ,
Умъ нашъ крылъ не опустилъ,
И открылъ, не внемля вѣрѣ,
Тяготѣніе свѣтилъ.

Въ мірѣ тлѣнья не выноситъ
Умъ—свидѣтельства нѣмыхъ,
И, безкрылый, робко проситъ
Убѣжать скорѣй отъ нихъ.
Здѣсь боюсь я вспомнить разомъ
Всѣ повѣрія отцовъ:
Няни сказочнымъ разсказамъ
Здѣсь повѣрить я готовъ!

Труженица.

(Отрывокъ).

I.

. . . . . .

Я помню блескъ и сухость глазъ
И блѣдность твоего чела,
Когда, съ дворовыми простясь,
Къ отцу проститься ты вошла...
Когда съ крыльца въ послѣдній разъ
Сошла ты, словно торопясь.

* *
*

Лилъ дождь и вѣтеръ вылъ, когда
Тебя изъ отчаго села,
Черезъ лѣса и города
Телѣга тряская везла.
А ты, скрывая боль въ груди,
Шептала: «что-то впереди!»

* *
*

Лилъ дождь и ночь была темна,
Когда стуча летѣлъ вагонъ,
Когда, путемъ истомлена,
Одолѣвала ты свой сонъ,
И—яркій, чудный день сіялъ,
Когда ты въѣхала въ вокзалъ,

* *
*

Въ столицу сѣвера. Съ какой
Тревогою ступила ты
На камни нашей мостовой.
Нашъ городъ, полный суеты,
Громадностью своихъ палатъ
Впервые поразилъ твой взглядъ.

* *
*

И омнибусовъ грузный стукъ,
И длинныхъ улицъ пыльный шумъ—
Все длило радостный испугъ,
Все волновало свѣжій умъ.
Ты мысленно была горда,—
Что эти стѣны—плодъ труда,—

* *
*

Труда народнаго; что здѣсь
Нельзя халатной жизнью жить,
Нельзя наслѣдственную спесь
На первомъ мѣстѣ посадить,
Такъ явно дышитъ все кругомъ
Демократическимъ трудомъ.

* *
*

—«И я найду себѣ свой кладъ,
Трудомъ куплю себѣ покой!»
И помню я, сіялъ твой взглядъ
Лучемъ надежды молодой.

Недаромъ уличный герой
Сталъ увиваться за тобой.

* *
*

Но еслибъ даже въ этотъ мигъ
Предсталъ тебѣ самъ Донъ-Жуанъ,
Чтобъ за улыбку устъ твоихъ
Отдать и сердце, и карманъ,
Ты бъ на него какъ на шута
Взглянула—такъ была свята,

* *
*

Такъ дѣтски наслаждалась ты
Зарей свободы, такъ была
Полна возвышенной мечты
И цѣломудренно смѣла,
Такъ вѣрила, что жизнь и трудъ
Для всѣхъ рай Божій создадутъ.

* *
*

И въ скверѣ, съ сумкою въ рукахъ,
Сидѣла ты не часъ, не два,
И сладокъ былъ невольный страхъ,
Еще кружилась голова.
Не знала ты, кого спросить,
Куда идти? и гдѣ тутъ жить?—
. . . . . .
. . . . . .

II.

Прошло три года, три зимы,
Съ туманами ты обжилась,
И хоть ходила безъ сумы,
Но голодала много разъ.

И хоть глаза не знали слезъ...
Тяжелъ насущный былъ вопросъ.

* *
*

Что дѣлать? Умъ природный твой
Наукой тронутъ былъ едва,
Ему противенъ былъ застой,
И жизнь казалась не нова,
Хоть путь твой былъ настолько жь новъ,
Насколько тѣсенъ и суровъ.

* *
*

Хоть ты и знала языки,
Но многаго могла не знать.
Ученой прозѣ вопреки
Неясно стала ты писать,
И прогрессивный нашъ журналъ
Твой переводъ забраковалъ.

* *
*

Чтобъ кочевать изъ дома въ домъ
И кой-чему учить дѣтей,
Обычный нуженъ былъ дипломъ
Къ успокоенью матерей.
Учиться рада бъ ты была,—
Учить—едва ли ты могла?

* *
*

И къ типографскому станку
Пришла ты руку набивать,
Изъ буквъ разбросанныхъ строку
Къ строкѣ по шпонамъ набирать.
Смѣясь, хозяинъ этихъ строкъ
Тебѣ работу далъ на срокъ.

* *
*

Но въ сутки, до восьми часовъ,
Стоять, стоять и все стоять—
Тяжелымъ запахомъ станковъ,
Свинцовымъ воздухомъ дышать,
Увы, не долго ты могла,
Устала и занемогла.

* *
*

И какъ-то странно такъ пришлось,
Что разомъ взятое тобой
За мѣсяцъ—въ три дня прожилось.
Еще спасибо: лѣкарь твой—
Бѣднякъ былъ—даромъ навѣщалъ.
За то аптекарь страшно дралъ.

* *
*

Когда, съ возстановленьемъ силъ,
Ты вышла подышать весной,
Холодный вѣтеръ пыль крутилъ;
Но ты забыла кашель свой,
Припомнивъ, что одинъ журналъ
На-дняхъ корректора искалъ.

* *
*

Но вотъ—великая пора!..
Мы стали гласность водворять.
Отъ стенографіи добра
Великаго всѣ стали ждать,
И ты протерла локоть свой,
Ища ключъ къ мудрости такой.

* *
*

Тяжелъ былъ сокращенный трудъ;
Но одолѣла ты его...
За то газета «Гласный Судъ»
Не заплатила ничего.

Другой газетный поставщикъ
Къ либерализму не привыкъ...

* *
*

И въ бѣдной комнаткѣ своей
Ты принялась кроить и шить,
Но много было бѣдныхъ швей,
Способныхъ хлѣбъ твой перебить.
У нихъ же хлѣбъ перебивалъ
Подъ модной фирмой—капиталъ.

* *
*

Была и въ переплетной ты
И присмотрѣлась ко всему,
И стали прежнія мечты
Противны твоему уму,
Какъ облетѣвшій пустоцвѣтъ—
Поэзія наивныхъ лѣтъ.

* *
*

Ты поняла, что въ наши дни
У женщинъ, въ лучшіе года,
Соперницъ меньше у любви,
Чѣмъ у насущнаго труда.

. . . . . .

. . . . . .

* *
*

Ты не могла предпочитать
Металлъ—любви, трудамъ—доходъ,
Ты не могла себя продать...
Но кто не умеръ, тотъ живетъ,
И часъ любви, великій часъ,
Насталъ и—съ другомъ ты сошлась.

* *
*

Бѣднякъ! тебя онъ полюбилъ
Всѣмъ пыломъ юности своей,
Онъ за тебя переводилъ,
Онъ за тебя училъ дѣтей,
И добывалъ своимъ перомъ
Возможность жить съ тобой вдвоемъ.

* *
*

Была ль ты счастлива?—Богъ вѣсть!
Твоихъ тяжелыхъ, страшныхъ грезъ
Никто не могъ бы перечесть.
Но громче всѣхъ одинъ вопросъ
Со дна души твоей вставалъ
И сердце честное смущалъ.

* *
*

—«Что я такое, если я
Не научилась ничему?
И какъ безсильное дитя,
Во всемъ обязана ему?
Я ль поцѣлуями платить
Должна за то, чтобъ ѣсть и пить?»

* *
*

Его больной и блѣдный видъ
И торопливость всякій разъ,
Когда онъ изъ дому спѣшитъ,
И краснота усталыхъ глазъ—
Все говоритъ, какимъ трудомъ
Онъ покупаетъ жизнь вдвоемъ.

* *
*

И думала ты какъ-нибудь
Разстаться съ нимъ—найти предлогъ,
Чтобъ онъ, несчастный, упрекнуть
Тебя въ жестокости не могъ,

Чтобъ не сошелъ съ ума онъ; но
Все это было мудрено.

* *
*

Ты колебалась, глубоко
Вздыхала грудь, въ очахъ не разъ
Мелькали слезы. Не легко
Тому, кто любитъ, не простясь
Съ привычкой сладостной любить,
Покинуть друга... Какъ же быть?

* *
*

Ты медлила... Но что же ты
Такъ поблѣднѣла? Что съ тобой?
Ужель на всѣ твои мечты
Отвѣтилъ онъ насмѣшкой злой?
Иль ты молвой оскорблена?
Или мучительно больна?

* *
*

Иль прежній призракъ нищеты
Всталъ предъ тобой и—сталъ пугать?
Иль, наконецъ, сознала ты,
Что уже некуда бѣжать;
Что, если есть огонь въ крови,
Найдутся цѣпи для любви?

* *
*

Что если гнѣздышко свилось,
Не нынче, завтра, наконецъ,
Для новой радости и слезъ
Въ гнѣздѣ появится птенецъ,
Что если деревцо цвѣтетъ
Весной—подъ осень будетъ плодъ.

III.

. . . . . .

Онъ умеръ, труженикъ, тобой
Любимый. Умеръ въ цвѣтѣ лѣтъ,
И запыленною парчей
Покрытъ былъ трупъ его. И цвѣтъ
Его чела всѣмъ говорилъ:
«Отъ дѣлъ своихъ онъ опочилъ!»

* *
*

И память вѣчная была
Пропѣта. И никто не зналъ,
Какая мысль его сожгла,
Какъ онъ любилъ и какъ страдалъ.
Его живымъ не знали мы—
Узнаемъ ли въ предѣлахъ тьмы?—

* *
*

Той вѣчной тьмы, куда унесъ
Онъ недоконченный свой трудъ.
Быть можетъ, на живой вопросъ,
На все, чего вѣками ждутъ—
Съ нимъ вмѣстѣ замеръ тотъ отвѣтъ,
Что льетъ въ сердца тепло и свѣтъ!

. . . . . .

1876.

За городомъ.

Лежа, я нѣжусь
На тепломъ солнцѣ,
Слышу любовный
Дремотный шорохъ
Молоденькой рощи,
Такъ незамѣтно, такъ робко
Ласкаемой вѣтромъ.
И головою приникъ я
Къ цвѣтущимъ травамъ,
И подступаетъ
Благоуханная свѣжесть
Къ увядшему сердцу.
Какъ усыпительно-сладко
Ручей лепечетъ!
Жадно ловятъ
И торопливо цѣлуютъ
Сѣрые камни
Его серебристую струйку.
Нѣтъ имъ конца, этимъ струйкамъ,
И нѣтъ поцѣлуямъ конца.
Чудная, нѣжная ласка,
Ласка природы,
Дай позабыть мнѣ
Все, что въ тучахъ
Пыли и дыма,
Такъ случайно,
И такъ ненадолго,
Покинуто мной!

1861.

Замѣтки.

Духъ гордой злобы тамъ, гдѣ все уже отпѣто,
Онъ можетъ побѣдить, но не создастъ поэта.

—

Жрецы бранятъ толпу—толпа жрецамъ свиститъ...
И правды жаждущій печаль свою таитъ.

1867.

Есть рѣчи.

«Изъ пламя и свѣта
Рожденное слово».

М. Лермонтовъ.

Есть рѣчи—свѣтлые порывы—и моленья:
Ихъ понимать не всѣмъ дано:
Въ нихъ для поэта—искра вдохновенья,
Для гражданина—благъ зерно.
Кто ихъ подслушаетъ—тѣ рѣчи, хоть украдкой,
Тотъ, безъ горячаго стыда,
Не въ силахъ протянуть руки своей за взяткой,
Не броситъ честнаго труда.
Кто ихъ подслушаетъ—тѣ рѣчи, хоть украдкой,
Тотъ къ сердцу приметъ бѣдняка,
За правду въ адъ пойдетъ и лестью грязно-сладкой
Не замараетъ языка.

1875.

Костыль и Тросточка.

Для дѣтскаго журнала.

БАСНЯ.

Костыль и Тросточка стояли въ уголкѣ.—
Два гостя тамъ оставили ихъ вмѣстѣ
(Одинъ изъ нихъ—старикъ, въ потертомъ сюртукѣ,
Пришелъ къ племянницѣ; другой—пришелъ къ невѣстѣ
Преподнести букетъ, и—такъ разсѣянъ былъ,
Что Тросточку свою въ столовой позабылъ).
И Тросточка сначала,
Въ сосѣдствѣ съ Костылемъ, презрительно молчала.
Потомъ подумала:—«Костыль—почтенный мужъ:
Тяжелъ и тупорылъ, и неуклюжъ,
Такой, что стыдно взять и въ руки...
А все жь я съ нимъ поговорю отъ скуки,
Авось, потѣшитъ чѣмъ-нибудь...»
И Тросточка болтать пустилась,
И похвалилась
Своею тониной (въ ней видѣла всю суть),
Сказала, что у ней головка съ позолотой,
Что у нея цѣпочка есть,
Что ей, какъ барышнѣ, оказываютъ честь:
Съ предупредительной заботой,
Когда рѣшаются пуститься съ нею въ путь,
Спѣшатъ перчатки натянуть
(Французской выработки лайку);
И что берутъ ее не какъ нагайку,
Или дубину—Боже сохрани!
Что, въ лѣтніе гуляя дни,

Она гордится кавалеромъ,
И что она уже не разъ
Служила барышнямъ примѣромъ,
Какъ изгибаться, не кривясь,
Воздушнымъ существомъ казаться,
И на себя не позволять
Всей пятернею опираться...
—«А почему? прошу сказать,—
Сталъ, ухмыляясь, возражать
Ей нашъ Костыль широкорылый:—
А я такъ радъ, когда всей силой
Да на меня какой-нибудь хромой
Или больной
Нецеремонно обопрется...
И пусть дуракъ одинъ смѣется,
Что я—служака записной,
Служу тому, кто хромъ иль боленъ...
Я участью своей доволенъ».
— Ты очень простъ, любезный мой,—
Сказала Тросточка:—да я бы, ни за что бы,
Не стала на виду при всѣхъ гулять вдвоемъ
Съ какимъ-нибудь уродомъ старикомъ.
—«Да ты пойми,—сказалъ Костыль безъ злобы:—
Что я хромымъ необходимъ,
Особенно — страдающимъ одышкой;
Что, если я у нихъ подъ мышкой,—
Они идутъ бодрѣй. Недаромъ я любимъ
Моимъ почтеннымъ инвалидомъ;
Я ни за что его не выдамъ,
И онъ меня не выдастъ ни за что.
Такъ, напримѣръ, я самъ смекаю,
Что я—таки порядкомъ протираю
Рукавъ его осенняго пальто,—

Онъ—ничего—не сердится нимало!..
Да, я любимъ...» Захохотала
Вертушка-Тросточка:—«Ха-ха!
Любимъ!.. Какая чепуха!..
Вотъ безподобно!..
Какъ будто стариковская душа
Хоть что-нибудь любить способна,
Помимо барыша?!..
Хорошъ ты!.. Да и я-то хороша,
Что въ разговоръ съ тобой пустилась!»

И что же съ ними приключилось?
Когда ударилъ поздній часъ ночной,
И гости стали расходиться,
Костыль былъ не забытъ, и съ нимъ старикъ хромой
Побрелъ домой:
«Пора-де спать ложиться,
И Костылю пора-де дать покой».
А Тросточка, съ головкой золотой,
Въ чужомъ углу была забыта,—
Богатый маменькинъ сынокъ и волокита
Былъ вѣтренъ, и—уже съ другой
Красивой тросточкой сталъ появляться въ свѣтѣ.
А прежнюю нашли и взяли дѣти.
Сперва на ней поѣхали верхомъ,
Изъ-за нея передрались; потомъ,
На улицѣ, подъ вѣтромъ и дождемъ,
За зонтикъ ухватясь, бѣдняжку обронили,
И грязный возъ по ней проѣхалъ колесомъ;
Потомъ её нашли два нищихъ и рѣшили
Продать ее въ сосѣдній кабачекъ
За пятачекъ.

*
* *

Какъ скорлупу топчетъ птица, когда
Малыхъ птенцовъ она вывела,
Такъ растоптать я готовъ иногда
Все, что душѣ опротивѣло...

1878.

Двѣ фіалки.

На высотѣ, у каменной глыбы, охваченной корнями альпійской ели, на краю темнаго, бурями поломаннаго лѣса, цвѣтетъ фіалка. За отрогами горъ, на горизонтѣ, свѣтится утро. На синевѣ розовыми пятнами мелькаютъ вѣчные снѣга заоблачныхъ вершинъ; изъ глубокихъ ущелій, какъ голубой дымъ, ползутъ туманы...

Изъ-за нихъ, высокій каменный утесъ сіяетъ такимъ ослѣпительно-алымъ блескомъ, что фіалкѣ чудится, что онъ пылаетъ къ ней самой возвышенной, вдохновенной любовью, и фіалка любуется красотой его и испаряется нѣжнымъ благоуханіемъ.

Вдругъ, что-то промелькнуло... На сухой, желтый прутикъ сѣла сѣрая птичка и зачиликала...

— А я знакома съ одной изъ сестрицъ твоихъ, чиликала птичка. Тамъ, далеко, на сѣверо-востокѣ, въ березовой рощѣ, за кустами дикой малины, у канавки, цвѣтетъ она. И такъ она мила была тогда, какъ пѣли соловьи, капалъ дождь, а я выглядывала изъ своего притаившагося въ бузинномъ кустѣ гнѣздышка...

— Ахъ! если ты знакома съ тою далекой сестрой моей и если ты опять когда-нибудь съ нею встрѣтишься, скажи ей, что изъ всѣхъ утесовъ, меня окружающихъ, есть одинъ утесъ... онъ раньше всѣхъ встрѣчаетъ Бога, несущаго свѣтъ; цари орлы прилетаютъ отдыхать на груди его: они знаютъ, что никакія бури, никакіе дождевые, пѣнистые потоки не въ силахъ одолѣть его... Скажи милой сестрицѣ, что я каждое утро любуюсь имъ, и счастлива, когда мечтаю, что до него, изрѣдка, съ раннимъ вѣтеркомъ, долетаетъ ароматъ благоговѣйной любви моей.

— Тамъ, гдѣ цвѣтетъ сестра твоя, чиликаетъ птичка, нѣтъ ни заоблачныхъ высотъ, ни стремнинъ, ни утесовъ, озаренныхъ блескомъ алаго утра, и никакіе орлы не летаютъ тамъ.

— Такъ для кого же она благоухаетъ?

— Она безъ аромата, бѣдная, далекая сестра твоя.

— Безъ аромата!..

— Красный мухоморъ, съ бѣлыми, точно серебряными пятнами, стоитъ отъ нея въ двухъ шагахъ; она любуется имъ и ревнуетъ, когда зеленыя мухи садятся на грудь его...

— Мухоморъ — это тоже утесъ?..

— Нѣтъ? Это грибъ... толстый и жирный грибъ, и тотъ, кто прилетаетъ цѣловать его — улетаетъ отравленный...

Фіалка повѣсила головку и задумалась...

— Ну, такъ ничего, ничего не говори ты далекой сестрѣ моей... Она не пойметъ меня... Прощай, перелетная птичка!

1840.

*
* *

Томитъ предчувствіемъ болѣзненный покой...
Давнымъ-давно ко мнѣ не приходила Муза;
Къ чему мнѣ звать ее!.. Къ чему искать союза
Усталаго ума съ красавицей мечтой!
Какъ безпріютныя, какъ нищія скитались
Тѣ пѣсни, что́ отъ насъ на Божій свѣтъ рождались,
И тѣ, которые любили имъ внимать,
Какъ отголоску ихъ стремленій идеальныхъ,
Дремотно ждутъ конца или ушли—витать
Съ тѣнями между ивъ и камней погребальныхъ;
А тѣ, что́ родились позднѣе насъ, идутъ
За призракомъ давно потухшей въ насъ надежды,
Они для насъ, а мы для нихъ невѣжды,
У нихъ свои пѣвцы, они свое поютъ...
И пусть они поютъ... и пусть я имъ внимаю
И радуюсь, что я ихъ слезы понимаю,
И, чуя въ ихъ сердцахъ моей богини тѣнь,
Молю безсмертную благословить тотъ день,
Когда мы на землѣ сошлись для пѣсенъ бѣдныхъ,
Не побѣждаемыхъ, хотя и не побѣдныхъ.

1885.

Кузнечикъ-музыкантъ.

ПѢСНЬ I.

Не сверчка нахала, что скрипитъ у печекъ,
Я пою: герой мой—полевой кузнечикъ.
Росту небольшого, но продолговатый,
На спинѣ носилъ онъ фракъ зеленоватый;
Тонконогій, тощій и широколобый,
Былъ онъ сущій геній—даръ имѣлъ особый:
Музыкантомъ слылъ онъ между насѣкомыхъ,
И концерты слушать приглашалъ знакомыхъ.
Подъ роскошной жатвой жилъ онъ въ полѣ чистомъ,
Оглашая воздухъ безконечнымъ свистомъ
Своего оркестра. Вѣтреное племя
Скакуновъ забыло, что въ поляхъ, въ то время,
Музыки и вкуса былъ онъ представитель.
Все, что нынче лѣтомъ деревенскій житель
Слышитъ за окошкомъ, лежа на кровати,
Или на балконъ свой выходя въ халатѣ,—
Этотъ свистъ трескучій, этотъ звонъ безбрежный,
Разлитой повсюду, и сухой, и нѣжный,

Если только въ этомъ сумрачномъ концертѣ
Есть живая нѣга и восторгъ, повѣрьте,—
Это все былыя, вѣчныя созданья
Моего героя, или—подражанья.

Бѣдненькій кузнечикъ! позабытъ твой геній!
Но ты вѣкъ свой прожилъ не безъ приключеній.
Помню, ты недаромъ слылъ идеалистомъ:
Сядешь ты, бывало, въ свѣтѣ серебристомъ
Мѣсяца, подъ пологъ ночи, на соломкѣ,
Вѣтромъ сокрушенной. (Даромъ что не ломки
Гибкіе колосья, все же въ нивѣ шаткой
Много ихъ подломитъ этотъ вѣтеръ гадкій).
Сядешь ты, бывало, и, во славу ночи,
На своей скрипицѣ пилишь что́ есть мочи.
И тебя дразнили пискуны пустые,
Комары-злодѣи трубачи степные,
И въ тебя влюблялись божія коровки;
И мутила зависть многія головки,
Съ тѣмъ же, музыкальнымъ, то-есть, направленьемъ,
Съ тою же охотой, да не съ тѣмъ умѣньемъ.
И грозилась мошка, съ помощью науки,
Умертвить тобою созданные звуки,
И тяжеловѣсный жукъ неоднократно
Увѣрялъ, что уши смачивать пріятно
На твоихъ концертахъ, а не то-де уши,
Какъ трава, завянутъ отъ ужасной суши.
Въ частной жизни также къ добренькимъ коровкамъ,
Къ мушкамъ и козявкамъ часто въ пренеловкомъ
Былъ ты положеньи: слушалъ ихъ признанья,
Робко избѣгая тайнаго свиданья.
Но ничто однакожь не поколебало
Твоего покоя; никакое жало

Твоему таланту не казалось вреднымъ:
Въ музыкальномъ мірѣ былъ ты всепобѣднымъ.
Ты вполнѣ блаженъ былъ—но—пришла невзгода...
Слушайте, однажды, въ половинѣ года,
Въ самый жаръ, быть можетъ, въ самыя Петровки,
Въ дни, когда на рынкахъ потныя торговки
Продаютъ малину, вишенье, клубнику...
И, маша платками, часто не безъ крику,
Съ мухами заводятъ изъ-за ягодъ ссоры;
Въ дни, когда изъ праха созидаютъ горы
Муравьи, и роютъ скрытые тунели,
Подъ корнями дуба иль смолистой ели;
Бабочка, танцуя, празднуетъ свободу;
А пчела, съ клубочкомъ золотого меду,
Покидая липу, вся въ пыли цвѣточной,
Такъ и льнетъ къ жасмину бѣлизны молочной;
Шмель, бичуя воздухъ, знойный и душистый,
И, кружась надъ моремъ нивы золотистой,
Пропадаетъ въ блескѣ солнца, какъ пылинка;
Въ дни, когда для мошки каждая былинка
Получаетъ соки, сладость и значенье,
И она вкушаетъ тѣ же наслажденья —
Стало-быть въ Петровки, около полудня,
Мой герой, кузнечикъ, понаѣвшись студня,
То-есть за обѣдомъ, начинивъ желудокъ,
Вышелъ насладиться видомъ незабудокъ,
И, вдыхая запахъ алаго горошка,
Легъ, прищуря глазки—и мечталъ немножко.
Много пролетало мимо насѣкомыхъ,
Осъ, шмелей сердитыхъ—трубачей знакомыхъ,
Съ разными вѣстями. Ни къ кому съ вопросомъ
Онъ не обратился. Все, что передъ носомъ
У него вертѣлось, ползало, жужжало

Было чуждо сердцу — и не занимало...
Моему герою вѣрно бы вздремнулось,
Какъ и вамъ, читатель, еслибъ не взгрустнулось.
Вдругъ надъ нимъ порхнуло чудное видѣнье,
Бабочка—такая, что мое почтенье!
Бѣлизны жемчужной крылышки съ каемкой,
Глазки—изумруды, носикъ нѣжный, тонкій;
Бархатецъ на шейкѣ, бантикъ на затылкѣ...
Увидалъ кузнечикъ — затряслись въ немъ жилки.
Бабочка все ниже и такъ близко вьется,
Что невольно сердце у артиста бьется.
Бабочка—не знаю, видѣла ль бѣдняжку
Или не видала—только кушать кашку
Сѣла—и, конечно, ничего не съѣла.
«Ахъ!» она сказала: «еслибъ я умѣла
Такъ же пѣть отлично, какъ одинъ извѣстный
Всѣмъ артистъ-кузнечикъ! — Если бы небесный
Голосъ я имѣла, — какъ бы я запѣла!
О, какъ я бездарна, о, какъ я...»
— Напрасно...
Перебилъ кузнечикъ... (Онъ влюбился страстно
Въ милую болтунью).
Бабочка украдкой
На него взглянула:
«Ахъ, какой онъ гадкій!»
Думаетъ... Однакожь, улыбнулась мило,
Подняла свой носикъ и проговорила:
«Отчего жь напрасно?»
— Отчего!.. —
Смѣшался
Мой артистъ, однако рекомендовался.
«Очень, очень рада!»—молвила кокетка
(Бабочки бываютъ безъ кокетства рѣдко):

«Очень рада! очень! Звуки вашей скрипки
Часто долетаютъ даже къ намъ подъ Липки».
Покраснѣлъ кузнечикъ, началъ завираться,
Умоляя гостью чаще съ нимъ видаться.
Бабочка вспорхнула и, не давши слова
Прилетѣть вторично, прилетѣла снова
И заговорила:

«Даже въ свѣтѣ знаютъ,
Что большой вы геній,—всѣ васъ изучаютъ...
Только я къ вамъ съ просьбой: сдѣлайте такую
Божескую милость—напишите злую.
Злую эпиграмму на мою сосѣдку,
Бабочку кокетку, что недавно въ сѣтку
Къ мальчикамъ попалась и съ крыломъ помятымъ
Ночью воротилась къ братцамъ глуповатымъ.
Эти братцы также пребольшіе фаты,—
И воображаютъ, что они богаты!
Къ эпиграммѣ можно сочинить любую
Музыку—такую, самую смѣшную».

Упорхнула гостья—а кузнечикъ бѣдный
Такъ былъ озадаченъ, что, нѣмой и блѣдный,
Шелъ онъ, глядя въ землю (такъ, видалъ я, въ воду
Сунувшись, мальчишки ищутъ въ рѣчкѣ броду),
Шелъ, повѣся носъ свой, чуть переступая
Длинными ногами и соображая:
Тьфу! Да какъ же это?—развѣ эпиграммы
Можно класть на ноты? Ахъ, какъ глупы дамы!
Шелъ онъ, шелъ, и бредилъ: то ему казалось,
Что она хитрила и надъ нимъ смѣялась;
То воображалъ онъ, что Сильфида эта
Захотѣла только испытать поэта

И ему такую задала задачу,
Что хоть плачь!—Однакожь, что жь я время трачу!
Думаетъ кузнечикъ: развѣ не сумѣю
Я въ смѣшномъ и жалкомъ отразить идею.
И съ такимъ рѣшеньемъ за работу смѣло
Принялся онъ: мигомъ закипѣло дѣло—
И слова, и звуки.—Хоть и не бывалъ онъ
Въ обществѣ Жоржъ-Занда—вотъ что написалъ онъ:
«Къ мальчику подъ сѣтку бабочка попалась—
«Краски полиняли, крылышко помялось.
«Если врагъ лукавый разставляетъ сѣти,
«Кто въ нихъ попадаетъ?—попадаютъ дѣти.
«Боже! отчего же за поступокъ дѣтскій
«Ихъ казнитъ такъ страшно судъ великосвѣтскій?»
Кончено!—

И началъ сочинять онъ ноты:
И усталъ онъ, бѣдный, отъ такой работы.
Но любовь всесильна! Оставалось скликать
Прочихъ музыкантовъ—и начать пиликать.
И народу куча собралась на пробу,
Даже жукъ навозный, начинивъ утробу
Всякой дрянью, смуглый, толстый и рогатый,
Уши отъ простуды затыкая ватой,
За толпой туда же пробрался сторонкой,—
Ничего не понялъ, но замѣтилъ тонкій
Хвостъ у музыканта, и бочкомъ поплелся
Разсказать сосѣдямъ, что-де онъ сошелся
Съ молодымъ маэстро; что-де онъ невзраченъ,
Что его фигурой былъ онъ озадаченъ...
Черная козявка, та, что бьетъ баклуши
И весь день вертится, навострила уши;

Божія коровка всѣхъ перепугала:
Отъ восторга ныла—ныла и упала
Въ обморокъ... Спасибо, муравей, съ шнуровкой
Подъ жилетомъ моднымъ—малый очень ловкой,
Далъ ей спиртъ понюхать въ маленькомъ флаконѣ.
Онъ встрѣчалъ коровку у N. N. въ салонѣ,
Гдѣ онъ появлялся, насурмивши бровки,
И, быть можетъ, радъ былъ услужить коровкѣ.
Много было шуму: музыку хвалили,
Музыку бранили, спорили, судили.
Бабочки ночныя, въ сѣренькихъ бурнусахъ,
Въ бѣлыхъ пелеринкахъ и въ гранатныхъ бусахъ,
Просто поблѣднѣли отъ негодованья,
Раскусивши новой пѣсни содержанье.
Но въ тотъ день герой мой такъ ужь былъ разсѣянъ,
Что и не замѣтилъ, кѣмъ онъ былъ осмѣянъ.

ПѢСНЬ II.

Эосъ поднимала алыми перстами
Темные покровы ночи — и мѣстами
Въ небѣ загорались огненныя пятна.
Жизнь, полупроснувшись, слабо и невнятно
Бормотала въ рощѣ, бормотала въ полѣ.
Поцѣлуй сливался съ ропотомъ неволи
Всюду, гдѣ лишь только брачныя оковы
Гименея были ржавы и не новы.
Поцѣлуй былъ звонче, ропотъ былъ нѣжнѣе—
Тамъ, гдѣ эти цѣпи были поновѣе.
Лишь одинъ герой мой этой сладкой муки
Не вкушалъ и, вѣрно, умеръ бы со скуки...
Рано онъ проснулся; — но не до зѣвоты
Было музыканту: нужно было ноты

На листочкахъ розы написать, какъ можно
Лучше, тоньше, чище. — Тихо, осторожно
Перышкомъ водилъ онъ... Сочинилъ виньетку,
Гдѣ изобразилъ онъ миртовую вѣтку—
Миртовую вѣтку, а надъ ней съ крылами
Огненное сердце, съ надписью стихами:
«Я неуловима; но не унывайте!
«Обожгитесь прежде, а потомъ поймайте!»
Даровитый малый былъ артистъ мой; мило
Сочинилъ онъ эти два стиха, въ нихъ было
Столько такта, столько нѣжности игривой,
Что въ нашъ вѣкъ холодный и самолюбивый
Ни одинъ кузнечикъ не найдетъ въ нихъ смысла
И, быть можетъ, даже улыбнется кисло.
Для кого жь на этихъ розовыхъ листочкахъ
Мой герой всю душу, въ линіяхъ и точкахъ,
Выражаетъ, сердцемъ страстно пламенѣя?—
Для тебя, Сильфида, праздничная фея,
Цвѣтниковъ роскошныхъ милая жилица!
Но откликнись, гдѣ ты? гдѣ твоя свѣтлица?
Спишь ли ты? Быть можетъ, всякія обновки
Богъ Морфей готовитъ для твоей головки.
Для Морфея нѣтъ вѣдь никакихъ таможенъ.
Для твоей головки всякій сонъ возможенъ—
Глупая головка!

Солнце поднимаетъ
Изъ-за сосенъ шаръ свой. Сильно припекаетъ
Жатву. Сладко пахнетъ въ воздухѣ гречихой.
По ржаному полю утренничекъ тихій,
Вѣтерокъ, гуляя, росу отрясаетъ,
Быть дождю иль ведру—по росѣ гадаетъ,
И шуршитъ соломой, словно безпокоясь,
И ему колосья кланяются въ поясъ;

А лопухъ, высоко поднимая шишку
Съ вѣникомъ. изъ листьевъ сдѣлалъ точно крышку,
Такъ расположилъ ихъ, что, подъ ихъ навѣсомъ,
Въ жаръ всегда прохладно молодымъ повѣсамъ.
Въ сей харчевнѣ много всякихъ насѣкомыхъ;
Но, на это время, никого знакомыхъ.
Вотъ сидитъ кузнечикъ, но не нашъ кузнечикъ,
А другой,—и куритъ, точно человѣчекъ.
Съ нашимъ музыкантомъ онъ одной породы,
И скрипачъ, быть можетъ, но не любитъ моды:
Лапками на шею повязалъ тряпицу,
Въ зубы взялъ сигару, да и корчитъ птицу.
Клопика заставить заплатить за водку,
Напоить козявку, осмѣять коровку,
Муху одурачить, паука спровадить,
И при всемъ при этомъ съ цѣлымъ міромъ ладить —
Былъ онъ мастерище. Страстно обожалъ онъ
Нашего артиста; рѣдко покидалъ онъ
Друга, даже пьяный; передъ цѣлымъ свѣтомъ
Защищалъ—и часто надѣлялъ совѣтомъ,
Ибо, хоть и рѣдко бралъ онъ книги въ руки,
Зналъ онъ «Твердо» «Слово» и не вѣрилъ въ «Буки».
Подъ лопухъ въ харчевню рано онъ забился,
Потому что утромъ не шутя бранился.
Больно было другу—больно и досадно—
Глядя на артиста, видѣть какъ нескладно
Онъ проводитъ время, вѣчно задыхаясь
Отъ безплодной страсти и ни въ чемъ не каясь.

Но пора вернуться къ нашему герою!
Тотъ, кто боленъ сердцемъ—боленъ головою,
Такъ всегда бываетъ,—тотъ не жди успѣха,
Чье больное сердце головѣ помѣха.

Бабочка гуляла—и кузнечикъ тоже
(Такъ и мы гуляли, бывши помоложе)—
Наконецъ, гуляя, встрѣтились—и, ножки
Подогнувъ, кузнечикъ ей кивнулъ. Съ дорожки,
Бабочка, виляя, сѣла на цвѣточекъ.
Онъ—прыгъ-прыгъ—и рядомъ сѣлъ на бугорочекъ.

— «Ахъ!» она сказала:—«я не ожидала!
Я васъ за другого приняла сначала!
Вашу эпиграмму намъ вчера достали:
Вы мою сосѣдку мило оправдали.
На нее за это всѣ напали вдвое...
(Насѣкомыхъ племя—племя очень злое).
Впрочемъ, ваши мысли такъ всегда игривы,
Такъ всегда глубоки, такъ краснорѣчивы
И такъ звуки сладки—точно земляника».
Лестное сравненье—было очень дико;
Но его артистъ мой даже не замѣтилъ—
И ужь я не знаю, что онъ ей отвѣтилъ.

— «Ба!» его Сильфида громко перебила:—
«Вы мнѣ написали ноты? Ахъ, какъ мило!
Очень благодарна! очень благодарна!»
И она при этомъ тонко и коварно
Улыбнулась; глазки стали веселѣе,
Или—кто пойметъ ихъ!—стали просто злѣе.
Помолчавъ немного, бабочка вздохнула
И сказала: «поздно я вчера заснула...
У моей кузины я была на балѣ...
То-то бъ вы влюбились, еслибъ увидали!
Впрочемъ, извините!—я васъ утомила
Болтовней. Прощайте»—

И она сложила
Крылышки (такъ точно бабушкины внучки,
Гостю присѣдая, складываютъ ручки).
И по-надъ дорожкой, тихо ковыляя,
Словно листикъ вѣтромъ сорванный, мелькая
Бѣлизною крыльевъ, понеслась Сильфида.
Скоро мой кузнечикъ потерялъ изъ вида
Полевую фею, подскакнулъ, вцѣпился
Въ усики ржаного колоса,—и злился,
Что проклятый вѣтеръ колосъ нагибаетъ,
Нагибая колосъ, видѣть вдаль мѣшаетъ...
Въ этомъ положеньи шмель его увидѣлъ
И нескромнымъ словомъ прыгуна обидѣлъ.
Бѣдненькій кузнечикъ тутъ же спохватился,
Растопырилъ фалды и въ траву свалился.

ПѢСНЬ III.

На глазахъ съ повязкой, стало быть, слѣпая,
Ѣдетъ гдѣ попало, день и ночь зѣвая,
Глупая Фортуна. Ею прихоть правитъ.
На однихъ наѣдетъ—колесомъ раздавитъ,
На другихъ наткнется—вдругъ начнетъ бросаться
Золотомъ, чтобъ только поскорѣй умчаться,
Да забрызгать липкой грязью пѣшехода,
Да загнать въ объятья красоты урода,
Или, такъ, безъ пользы и не для примѣра,
Сдернуть мимоѣздомъ маску съ лицемѣра.
Рыская по свѣту, этотъ идолъ свѣта
Не имѣетъ сердца. Прихотница эта
Никого не любитъ—и когда бросаетъ
Деньги, звѣзды, ленты—денегъ не считаетъ,
Звѣздъ сама не носитъ, лентъ не покупаетъ;

И когда счастливо влюбитъ двухъ несчастныхъ,
Ихъ лица не видя, изъ рѣчей ихъ страстныхъ,
Вѣрно заключаетъ, что влюбиться значитъ:
И себя дурачить, и другихъ дурачить.
Такъ сама Фортуна, на глазахъ съ повязкой,
Счастье въ этомъ мірѣ почитаетъ сказкой.
Для такой богини цѣлый міръ—пустыня!
И не то чтобъ эта странная богиня
Къ нашему герою благосклонна стала:
Только улыбнулась и въ него попала
Чѣмъ-то благовоннымъ, проѣзжая мимо.
Здѣсь, поставивъ точку, мнѣ необходимо
Вамъ сказать, что жертва тайнаго страданья
Мой герой, кузнечикъ, получилъ посланье,
Спрыснутое амброй. Бабочка писала:
«Приходите: жду васъ!»—Счастія не мало
Въ себѣ заключало это выраженье—
«Приходите: жду васъ!»—Это приглашенье
Принялъ мой кузнечикъ съ той надеждой темной,
При которой искра кажется огромной
Огненной звѣздою. Другъ его, гуляка,
Принималъ все къ сердцу—много вралъ. Однако,
Если только слушать мы его захочемъ,
Говорилъ такія рѣчи, между прочимъ:
«Ты, братъ, разсуждаешь глупо и постыдно!
Буду правду рѣзать: гдѣ же это видно,
Чтобъ сверчокъ»...

— Кузнечикъ! перебилъ кузнечикъ.

«Чтобъ сверчокъ»...

— Кузнечикъ! перебилъ кузнечикъ.

«Ну, хоть и кузнечикъ!—ну, положимъ, даже
Ты сверчка немного чище и поглаже

И немножко больше чувствуешь свободы,—
Все жь ты, братецъ, съ нею не одной породы.
Знаю я всѣхъ этихъ бабочекъ, бабошекъ!
Жить онѣ не могутъ безъ цвѣтныхъ ветошекъ;
За женой бабошкой гдѣ жь тебѣ упрыгать?
Гдѣ жь тебѣ повсюду вслѣдъ за нею шмыгать?
Въ свѣтѣ, гдѣ нерѣдко всѣхъ умнѣй—невѣжда,
На талантъ—плохая, братецъ мой, надежда».

— Слава — вотъ надежда.

«Экой, братъ, ты, право!
Разсуди же здраво и пойми, что слава
У людей бываетъ; а у насѣкомыхъ,
Что такое слава?—болтовня знакомыхъ.
Мы не лавры носимъ—носимъ побрякушки,
То-есть наша слава просто—*финтифлюшки*,
Какъ сказалъ когда-то авторъ водевильный,
Публикѣ пуская пузыречекъ мыльный».

Тутъ гуляка, видно утомившись споромъ,
Оглядѣлъ артиста мутно-строгимъ взоромъ,
Выпилъ рюмку водки, пискнулъ, углубился
Въ созерцанье почвы и—угомонился.
Ну, и слава Богу!—Не до возраженій
Было музыканту. Какъ упрямый геній
Онъ съ хлыстомъ, на мѣсто безпокойной скрипки,
По межѣ зеленой поскакалъ подъ Липки.
Липки—это было нѣчто въ родѣ парка:
Въ серединѣ—прудикъ, а при въѣздѣ—арка
Изъ вѣтвей—такая, что была, безспорно,
Чудомъ совершенства; такъ была просторна,
Что, вообразите, насѣкомыхъ двѣсти
Въ рядъ могло бы въѣхать. Вы меня повѣсьте,
Если вру! Строитель, я и не скрываю,

Былъ—сама природа; только я не знаю.
Кто ей за работу заплатилъ; а впрочемъ,
Здѣсь мы о природѣ вовсе не хлопочемъ...
Такъ, чтобъ журналисты насъ не заклевали,
Признаюсь, что въ домѣ бабочекъ едва ли
Описать возможно лѣстницу подъ желтымъ
Коврикомъ изъ моху, кое-гдѣ протертымъ;
Пасмурныя сѣни, гдѣ съ утра лакеи
Безъ сапогъ быть могутъ, но не безъ ливреи;
Залу, гдѣ гнилушки, точно сталактиты,
Облѣпивъ карнизы, зеленью повиты.
Мой одинъ знакомый, архитекторъ русскій,
Видѣлъ въ этой залѣ черепокъ этрусскій;
И, я живо помню, хвасталъ, не краснѣя,
Какъ ему въ той залѣ вдругъ пришла идея
Украшать со вкусомъ барскіе покои,
Покрывая бѣлой плѣсенью обои.
Впрочемъ домъ Сильфиды, если только строго
Придираться къ стилю, смахивалъ немного
На дупло.

Кузнечикъ такъ былъ очарованъ,
Или такъ былъ сердцемъ наэлектризованъ,
Что дрожалъ и таялъ,—молча ждалъ Сильфиды,
Подходилъ къ окошку и глядѣлъ на виды.
А Сильфида съ кѣмъ-то по саду порхала;
Съ милыми гостями весело болтала.
Гости эти были черви разныхъ кличекъ
И въ травѣ лежали въ видѣ заковычекъ.
Чернокожій клопикъ, вѣрно сынъ швейцарскій,
Или внучекъ няни, крестничекъ боярскій,
Доложилъ Сильфидѣ, что какой-то длинный
Господинъ изволитъ ждать ее въ гостиной...

. . . . . .

Приглашенъ герой мой; ему отвѣчали
На поклонъ улыбкой и пробормотали:
«Очень, очень рады!»—Дамы оглядѣли
Всю его фигуру и едва сумѣли
Удержать свой хохотъ—только покосились
На мужчинъ; но черви не пошевелились,
Ибо умъ ихъ кто-то такъ ужасно сузилъ,
Что для нихъ довольно бантикъ или узелъ
Галстуха замѣтить, чтобъ на остальное
Не глядѣть, и въ гордомъ пребывать покоѣ.
Поприще артиста къ разнымъ столкновеньямъ
Пріучаетъ душу; но къ обыкновеньямъ
Милыхъ насѣкомыхъ высшаго разряда
Не привыкъ герой мой. Вдалекѣ отъ сада,
Бѣденъ, худъ и блѣденъ, съ головы до пятокъ
На себѣ носилъ онъ поля отпечатокъ,
Поля, гдѣ лишь тучи подаютъ свой голосъ,
Колосится жатва и серпа ждетъ колосъ.
Знаю, о кузнечикъ! какъ ты былъ отмѣнно
Бабочкою принятъ. Ты себя надменно
Велъ, какъ-будто цѣлый вѣкъ торчалъ ты въ свѣтѣ,
Съ юныхъ лѣтъ гуляя въ собственной каретѣ.
Но, скажи, въ тотъ вечеръ, что съ тобою сталось
И какимъ безвѣстнымъ чувствомъ сердце сжалось,
И какія думы охватили жарко
Геніальный лобъ твой, въ часъ, когда изъ парка
Ты обратно въ поле мчался черезъ кочки?
Отвѣчать ли?.. или—мы поставимъ точки...

. . . . . .

(Будто бы цензура выклевала строчки).
Но, злодѣй-кузнечикъ, что же ты ни слова
Не сказалъ гулякѣ въ ночь, когда другого
Не имѣлъ ты друга, съ кѣмъ бы подѣлиться

Снами, отъ которыхъ часто плохо спится?
Ненавистникъ свѣта, бабочекъ крылатыхъ,
Гладенькихъ коровокъ и червей лохматыхъ,
Онъ—едва вошелъ ты—вопросилъ сердито:
«Что, братъ, былъ ли ужинъ? накормили сыто,
Или и понюхать не дали съѣстного?
Что, братъ, какъ дѣлишки? Все ли тамъ здорово
И благополучно? Ты чему смѣешься?
Эхъ-ма, ничего ты, братецъ, не дождешься».

— Спи, сказалъ кузнечикъ. —

«Сплю», сказалъ гуляка
И, задравши къ верху ноги изъ-подъ фрака,
Захрапѣлъ.

ПѢСНЬ IV.

Уходя, день ясный плакалъ за горою,
И, роняя слезы, жаркою зарею,
Изъ-за темной рощи, охватилъ край нивы.
Дню вослѣдъ глядѣла ночь — и переливы
Свѣта отражались и, дрожа, блуждали
По ея ланитамъ. Тихо начинали
Выходить свѣтила, мѣсяца предтечи,
Передъ Божьимъ трономъ зажигая свѣчи.
Далеко стемнѣло море жатвы зыбкой.
Грустная береза обнялася съ липкой.
Призатихла роща. Только дубъ шушукалъ.
Только гдѣ-то дятелъ крѣпкимъ носомъ тукалъ;
Только гдѣ-то струйки смутно лепетали,
Только роковыя страсти не дремали,
Только насѣкомыхъ міръ неугомонный
Голосилъ немолчно въ тишинѣ безсонной.

Стрекотали мухи; комары трубили;
На своихъ скрипицахъ весело пилили,
Лихо зная ноты, стало-быть, безъ свѣчекъ,
Тѣ, которыхъ хоромъ управлялъ кузнечикъ.
Впереди оркестра, на своей скрипицѣ
Громче всѣхъ пилилъ онъ въ честь своей царицы.
Выходила замужъ бабочки кузина,
И женихъ былъ славный съ хоботкомъ дѣтина;
По уму, конечно, не былъ изъ проворныхъ,
Но происходилъ онъ отъ червей отборныхъ.
По словамъ невѣсты, онъ лишь былъ несносенъ
Тѣмъ, что безъ разбора запахъ старыхъ сосенъ
Сравнивалъ съ весеннимъ запахомъ фіалокъ,
Уважалъ шиповникъ и боялся галокъ.
Но какое дѣло намъ до этихъ вздоровъ...
Балъ великолѣпный! Звуки льются съ хоровъ;
Шпанскихъ мухъ десятки, въ золотыхъ ливреяхъ,
Курятъ ароматы въ сумрачныхъ аллеяхъ.
Свѣтляки, подобно шкаликамъ и плошкамъ,
Вспыхивая, блещутъ вдоль по всѣмъ дорожкамъ.
Копошатся гости. Въ мѣсячномъ сіяньѣ
Бабочки порхаютъ въ бальномъ одѣяньѣ.
Стрекоза, сцѣпившись съ стрекозой, несется.
Пестрый вихорь вальса шелеститъ и вьется,
Жужелицы ходятъ около буфета;
Ползаютъ козявки... И большого свѣта
Жесткія особы—божія коровки
Собрались другъ другу показать обновки.
Молча, подбираясь къ двумъ зеленымъ мухамъ,
Два жучка какихъ-то выступаютъ брюхомъ
На короткихъ ножкахъ. Муравей, съ шнуровкой
Подъ жилетомъ моднымъ, съ желтенькой коровкой
Важно и небрежно, присѣдая, пляшетъ.

Рѣзвая Сильфида крылышками машетъ;
Глазки, носикъ, ножки, платьица узоры—
Все въ ней поневолѣ привлекаетъ взоры.
Мой артистъ кузнечикъ и душой пылаетъ,
И очей не сводитъ, и какъ чортъ играетъ.
По ея же просьбѣ, сердцемъ неизмѣнный,
Сочинилъ онъ этотъ танецъ вдохновенный,
Танецъ, подъ который скачутъ и понынѣ
Стаи насѣкомыхъ на любой куртинѣ
Вашего же сада, если, о, читатель! —
Садъ иль хоть садишко далъ тебѣ Создатель.
Но и насѣкомыхъ балъ не обошелся
Безъ скандала: въ паркѣ, говорятъ, нашелся
Злой паукъ, который, съ вѣточки на вѣтку
Протянувши нити, невидимку-сѣтку
Сдѣлалъ такъ канальски-ловко и искусно,
Что тайкомъ, быть можетъ, и покушалъ вкусно.
Говорятъ — вдобавокъ шлепнулась коровка,
И у ней отъ страха лопнула шнуровка.
Самъ артистъ замѣтилъ, какъ его Сильфиду
Паучекъ какой-то, пренаивный съ виду,
За крыло задѣвши чѣмъ-то въ родѣ петли,
Притянуть старался, и глядѣлъ ужь—нѣтъ ли,
Гдѣ такого мѣста въ этомъ чудномъ садѣ,
Чтобъ минутъ хоть десять провести въ прохладѣ,
Въ тишинѣ, въ уютѣ, дальше отъ волненья...
Но артистъ ревнивый понялъ ухищренье,
Подскочилъ и порвалъ роковыя нити.
Паучекъ надулся; а комаръ: «смотрите»,
Пропищалъ артисту: «какъ вы замарались,
Точно въ неприличномъ мѣстѣ обрѣтались!»
Покраснѣлъ кузнечикъ: видитъ—паутина
Къ рукаву прилипла.

— «Экая скотина!»
Проворчалъ и—вытеръ. Бабочка ни слова
Не сказала, только выбрала другого
Въ танцахъ кавалера: кавалеръ крылатый
Былъ ея сосѣдки братецъ глуповатый.

— Правда ли, спросилъ онъ: —слухъ идетъ изъ нивы,
Будто бы въ маэстро страстно влюблены вы?
Будто бы кузнечикъ говорилъ, что хочетъ
Онъ на васъ жениться—и о томъ хлопочетъ?
— «Что вы говорите?» молвила Сильфида: —
«Мой женихъ—кузнечикъ! Какова обида!
Кто такіе въ свѣтѣ распускаетъ слухи?
Или эту глупость выдумали мухи!

— Нѣтъ, совсѣмъ не мухи-съ! кто-то изъ оркестра
Говорилъ, что будто слышалъ отъ маэстро.

Фея надъ собою сдѣлала усилье,
Чтобъ не разсердиться — и, встряхнувши крылья,
Бросила холодный взглядъ на музыканта,
А когда кричали въ честь его таланта:
«Браво! фора! фора!» — дѣлала гримаски,
Или улыбалась, опуская глазки.
Балъ подъ темнымъ небомъ длился до разсвѣта.
Бабочка устала.—Вдругъ, за рощей гдѣ-то
Соловей защелкалъ.

Ей тогда сказали
(Можно ли безъ лести обойтись на балѣ!),
Ей сказали: — Фея! прекратите танецъ.
Слышите ли пѣнье? — это иностранецъ.
Соловей пролетный вздумалъ серенаду
Вамъ давать.—

И точно, по всему-то саду
Разсыпались звуки, страстно замирая

Въ безконечныхъ треляхъ. Бабочка, внимая
Соловью, мечтала. Въ это время сзади
Подошелъ кузнечикъ.
— Фея! — Бога ради!...
Что вы такъ печальны?...
«Ахъ!» она сказала:
«Вы мнѣ помѣшали... Я воображала,
Что таланты нашихъ, не всегда приличныхъ
Скакуновъ, достойны тѣхъ пѣвцовъ столичныхъ,
Имена которыхъ славны за границей.
Боги! отчего я рождена не птицей!
Будь я птицей... Впрочемъ, если захочу я
Соловья послушать, завтра жь полечу я»...

— О! сказалъ кузнечикъ...

«Жалкій музыкантикъ!»
Прошептала Фея, пощипавши бантикъ
На своемъ корсажѣ: — «развѣ я не знаю...»

— О! сказалъ кузнечикъ: — я не понимаю,
Что вы говорите... Соловьи опасны,
И къ тому жь, положимъ, пѣсни ихъ прекрасны—
Все же не въ народномъ духѣ.—

Засмѣялась
Бальная царица — и, какъ тѣнь, умчалась.
Бѣдненькій кузнечикъ тутъ же носъ повѣсилъ
И одинъ остался, блѣденъ и не веселъ.
Вотъ упала слезка на листочекъ влажный,
Съ вѣтеркомъ промчался чей-то вздохъ протяжный,
Словно колокольчикъ звякнулъ въ отдаленьѣ...
Ничего герой мой не слыхалъ: презрѣнье
Было слишкомъ явно... И глядѣлъ онъ мутно
Въ темный лѣсъ, откуда, сладко раздражая

Благовонный воздухъ, и не умолкая,
Соловьиныхъ пѣсенъ раздавались трели,
И шепталъ онъ: — боги! боги! неужели?
Что жь это такое! отчего же это!...
Или для поэта миновало лѣто! —
Пойте, пойте, птицы! — Но сердца больныя
Врачевать не могутъ пѣсни не родныя.

ПѢСНЬ V.

Плачь, родная Муза! Затяни ты пѣсню:
Не о томъ, какъ «ходитъ молодецъ на Прѣсню»,
Не о томъ, какъ «пряха пряла — не лѣнилась»,
Не о томъ, какъ «Волга матушка катилась»,—
Спой намъ пѣсню такъ, чтобъ туча разразилась
Надъ широкой нивой, чтобъ дождемъ шумящимъ
Пробѣжала сила по листамъ дрожащимъ;
Чтобъ червей, враждебныхъ зелени и лѣту
Ненавистныхъ, падкихъ къ за́вязи и цвѣту,
Смыло, разнесло бы по крутымъ оврагамъ!
Туча дождевая, будь ты нашимъ благомъ!
Поднимая вѣтеръ, оборви ты сѣти
Паука съ крестами, что́ гордится въ свѣтѣ
Тѣмъ, что изсушилъ онъ множество народу,
Изъ души и сердца высосавъ свободу!
Бабочкамъ грозою опали ты крылья,
Чтобъ хоть ихъ за это снова полюбилъ я!—
Такъ стоналъ кузнечикъ подъ наитьемъ бурной
И мятежной думы. А надъ нимъ лазурный
Василекъ качался, наливался колосъ,
И, жужжа, знакомый проносился голосъ:
«Слышишь ли ты грома дальніе раскаты?
«Погляди на тучки, что безъ крылъ крылаты,

«Мрачны безъ печали, безъ улыбки ясны,
«Какъ гроза могучи, какъ туманъ безстрастны!»
Проносился голосъ, но въ душѣ артиста
Раздавалось что-то въ родѣ злого свиста.
Оскорбленный свѣтомъ, огорченный баломъ,
Не на шутку мрачнымъ сталъ онъ либераломъ.
Въ этомъ мѣстѣ надо, въ видѣ объясненья,
Маленькое къ Липкамъ сдѣлать отступленье.
Бабочка, герою измѣнивъ, сначала
За его нескромность уколоть желала:
А потомъ—головка, видно, закружилась—
И она не въ шутку въ соловья влюбилась.
Иностранецъ этотъ въ мірѣ насѣкомыхъ,
Говорятъ, былъ дерзокъ и клевалъ знакомыхъ.
Отомстить любовью этой чудной птицѣ,
Приковать къ побѣдной своей колесницѣ,
Пѣсни и посланья сочинять заставить,
И, быть можетъ, въ свѣтѣ тѣмъ себя прославить;
Вотъ что замышляла вѣтреная фея.
Къ нашему жь герою, просто не краснѣя
И не церемонясь, клопика послала,
И «*блоходарю* васъ», ему написала.
Эта «*блоходарность*», вмѣсто «благодарность»,
Пуще огорчила моего героя.
А гуляка страшно хохоталъ и. строя
Разныя гримасы, говорилъ, что блохи
Болѣе полезны, чѣмъ пустые вздохи.
Можетъ быть, артистъ нашъ, разъ отдавшись снова
Музамъ, позабылъ бы, какъ любовь сурово
Обошлась съ нимъ, то-есть, позабылъ бы эту
Вѣтреную фею; къ будущему лѣту
Сочинилъ бы кучу гимновъ и сонетовъ,
Былъ бы снова счастливъ счастіемъ поэтовъ.

Сѣлъ бы на соломку, чтобъ во славу ночи
На своей скрипицѣ пилить, что́ есть мочи;
Но, къ его несчастью, вдругъ распространилась
Вѣсть, что будто что-то съ бабочкой случилось:
Говорили, будто бабочка бѣжала,
Бабочка погибла, бабочка пропала.
Прямо шли изъ парка эти злые слухи,
Стало быть, не врали комары и мухи:
Была вѣроятность! Долго этимъ слухамъ
Мой артистъ не вѣрилъ. Вдругъ, какъ бы обухомъ
Кто-нибудь героя съѣздилъ прямо въ ухо,
Онъ повѣрилъ разомъ въ достовѣрность слуха:
Только что успѣлъ онъ всѣхъ предать проклятью,
Получилъ пакетикъ съ маленькой печатью.
Вотъ письмо:

«Вы были къ намъ неравнодушны—
«Если правда, будьте хоть любви послушны:
«Поищите нашу милую Сильфиду
«И ее не дайте соловью въ обиду.
«Кто вамъ это пишетъ, сами угадайте.
«Если жь будутъ вѣсти, въ Липки передайте.»

Прочитавъ такое странное посланье,
Онъ, въ припадкѣ страсти и негодованья,
Началъ просто хныкать... хныкалъ, долго хныкалъ!
(Эдакое горе онъ себѣ накликалъ!)
Приближался вечеръ.—Къ счастію, гуляка
Былъ въ харчевнѣ, клюкнулъ и, краснѣе рака,
Постучался къ другу. Онъ разставилъ ноги,
Увидавши слезы и слѣды тревоги
На лицѣ артиста.

«Ба! Какія страсти!
Выпей, братецъ, клюкни!—будешь нашей масти!»

Возгласилъ гуляка: «плюнь ты на Сильфиду—
И тебя не дамъ я никому въ обиду».
— Бѣдная Сильфида, что съ ней—не безъ писку
Отвѣчалъ кузнечикъ:—на! прочти записку!
«Ничего не вижу!»—пробурчалъ гуляка,
Ибо онъ недаромъ былъ краснѣе рака.
Тутъ ему кузнечикъ разсказалъ въ чемъ дѣло,
И они рѣшились въ путь пуститься смѣло;
Мой герой готовъ былъ съ соловьемъ хоть драться,
А гуляка вышелъ просто поразмяться.

ПѢСНЬ VI.

Вечеръ былъ ненастный. Квакали лягушки;
Подъ налетомъ вѣтра зыбкія верхушки
Жатвы колыхались, словно волны; капалъ
Тихій дождь—и гдѣ-то перепелъ вавакалъ;
Паучки свернулись; пораскисли мушки;
Комары притихли. Около опушки
Лѣса нашъ кузнечикъ шелъ самъ-другъ съ гулякой.
— «Слушай-ка, пріятель! надо бы на всякой
Случай запастись намъ фонаремъ», шагая,
Говорилъ гуляка. Но, не возражая
На совѣтъ, кузнечикъ пріостановился:
Съ вѣтромъ изъ тумана къ нему доносился
Звукъ ему знакомый: два степныхъ артиста
На дрянныхъ скрипицахъ хрипло и нечисто
Выводили нотки.... безпрестанно эти
Нотки обрывались.
— «Ты имѣй въ предметѣ»,
Продолжалъ гуляка:—«что впотьмахъ наткнуться
Можно на лягушку, или кувыркнуться.

Гей!—онъ свистнулъ.—Кто тамъ?» и подъ подорожникъ
Заглянувши, крикнулъ:—«ну-ка, ты, пирожникъ,
Выходи!»—И вышелъ таракашекъ смуглый,
Какъ медовый пряникъ, и какъ булка круглый.
«Что вамъ надо?»
—«Гдѣ тутъ къ свѣтляку дорога?»—
— «Дальше, баринъ, дальше! поправѣй немного,
Тамъ, подъ божьей травкой, двѣ еловыхъ шишки,
Тамъ спросите... Жаль, вотъ спятъ мои мальчишки».
— «Э! сказалъ гуляка:—мы идемъ не свищемъ.
А къ еловымъ шишкамъ сами путь отыщемъ».
— «Дали бы на водку, я пошелъ бы съ вами».

— «Не ходи, любезный!»—шевеля усами,

Возразилъ гуляка.
—«Больно ночь муруга!»

— «Ну, не ври, любезный!»
И пошли два друга
Къ двумъ еловымъ шишкамъ. Стукъ-стукъ.—«Отворяй-ка
Двери!»
«Кто тамъ?»
— Лѣшій!
«Кто тамъ?»
— Вылѣзай-ка!

И свѣтлякъ, съ разбитымъ фонаремъ, пустился
Въ лѣсъ казать дорогу. Клялся и божился,
Что совсѣмъ не знаетъ, гдѣ тамъ обитаетъ
Соловей, что нужно, если кто желаетъ
Знать его *фатеру*, допросить у Розы.

— «Я,—сказалъ гуляка,—у такой занозы
Спрашивать не стану: и глупа ужасно,
И молчитъ, какъ рыба, и не безопасна.

— «Ну, такъ хоть улитку допросите».

— Враки!
Ты совсѣмъ не знаешь, гдѣ зимуютъ раки.
Надо втихомолку пробираться влѣво,
Къ муравьинымъ кучамъ дальше отъ посѣва. —

Вдругъ гуляки голосъ превратился въ шопотъ:
Въ темнотѣ раздался чей-то рѣзвый топотъ,
Въ кустъ черезъ дорогу проскакала мышка.
У гуляки тотчасъ началась одышка:
Онъ маленько струсилъ. Впрочемъ, отъ испуга
Скоро онъ очнулся, догоняя друга.
Вѣтеръ унимался, и луна въ сквозные
Своды темной рощи словно золотыя
Струны протянула. Мшистые коренья
Просіяли, словно дожидаясь пѣнья.
И, о чудо! въ дебряхъ вдругъ раздался голосъ
Соловья, и дрогнулъ мой артистъ, и вóлосъ
Дыбомъ на макушкѣ сталъ отъ ощущенья
Страха и тревоги, гнѣва и смятенья.

«Вотъ онъ! вотъ!» шепнулъ онъ, притаивъ дыханье.

— Что это за пѣнье?—просто рокотанье—
Тутъ ему замѣтилъ другъ его гуляка:
Все въ однѣхъ руладахъ, все въ однихъ...

— «Однако,

Возразилъ герой мой:—не бранись напрасно!
Плутъ едва ли можетъ пѣть такъ сладкогласно».

— «Что вы тутъ? Зачѣмъ вы?»—харю выставляя
Изъ норы, спросила ихъ оса лѣсная.

— «Эхъ, оса голубка! что ты смотришь волкомъ:
Мы не лиходѣи — отвѣчай намъ толкомъ:

Вышли мы на поискъ...» И кузнечикъ смѣло
Выглянувшей харѣ объяснилъ, въ чемъ дѣло.

— «Нешто я не знаю, какъ она вертѣлась, —
Запищала харя: —пофиньтить хотѣлось...
Этому никакъ ужь третій день, какъ минулъ...
Соловей-то клюнулъ, да потомъ и кинулъ.
Ползала, бѣдняжка, ползала не мало;
Если въ муравейникъ сдуру не попала,
Гдѣ-нибудь у нашихъ червяковъ спросите...
Я жь оса—и только, — ну, и не взыщите!» —
Съ этимъ словомъ, какъ-то скорчась, опустилась
Харя эта въ норку и въ подвалѣ скрылась.

«Такъ бы вотъ и съѣздилъ я по этой харѣ»,
Проворчалъ гуляка, «если бъ былъ въ ударѣ».
Но артистъ-кузнечикъ горестнымъ разсказомъ
Такъ былъ отуманенъ, что, казалось, разумъ
Потерялъ... И долго сладостныя трели
Соловья такъ смутно для него звенѣли,
Какъ звенитъ порою въ часъ ночной мятели,
Глухо замирая, колокольчикъ дальній
Въ глубинѣ пустыни снѣжной и печальной.

ПѢСНЬ VII.

Долго до полночи прыгуны блуждали,
Наконецъ на свѣжій слѣдъ они напали.
Свѣтлячекъ вертѣлся подлѣ нихъ недаромъ,
И Діана, тучку золотымъ пожаромъ
Охвативъ, недаромъ отклоняла вѣтки,
И кой-гдѣ чертила яркія отмѣтки;
Для моихъ героевъ блѣдный лучъ богини
Путеводнымъ свѣтомъ былъ среди пустыни.

Тамъ, неподалеку спѣющей брусники,
Подъ корнями красной полевой гвоздики
Одинокимъ трупомъ бабочка лежала:
Ножки протянула, крылья распластала
И, казалось, лежа небесамъ молилась,
Вся окоченѣла, но не измѣнилась:
Тотъ же сохранился очеркъ милый, нѣжный,
Тою же сіяли бѣлизною снѣжной
Матовыя крылья. Черная косынка
На груди раскрылась. Крупная слезинка,
Какъ алмазъ, блестѣла около рѣсницы.
И какъ бархатъ были темныя косицы.
Мертвая казалась сонной; но чернѣла
Маленькая ранка... Молча возлѣ тѣла
Постоялъ кузнечикъ, сердцемъ надрываясь.
Молча съ огонечкомъ къ трупу наклоняясь.
Свѣтлячекъ, какъ будто сильно пораженный
Небывалымъ чудомъ, жмурился, какъ сонный.
У гуляки тоже хмель прошелъ. — Сурово
Онъ глядѣлъ и то, что видѣлъ, было ново
Для него. Онъ понялъ, что была бъ тутъ шутка
Вовсе неприлична. Даже какъ-то жутко
Становилось сердцу вѣчнаго гуляки,
Даже покривилась рожа забіяки,
Потому что былъ онъ добрая скотинка.
Видя, какъ у мертвой на лицѣ слезинка
Неподвижно свѣтлой капелькой стояла,
Онъ шепталъ: «Бабошка!—Ты отпировала!
Такъ и мы у смерти дни свои воруемъ;
Попадемся съ кражей—да и отпируемъ!»
Впрочемъ мой гуляка былъ такого сорту,
Что свое унынье вмигъ отправилъ къ чорту
И, толкнувъ артиста, молвилъ: «ну, конечно,

Жаль; да вѣдь нельзя же горевать намъ вѣчно!
Сдѣлаемъ носилки, и ее прилично
Отнесемъ подъ Липки. Все пойдетъ отлично.
Только ты напрасно, братъ, не надрывайся,
Силъ не трать и плакать послѣ постарайся».
Сдѣлали носилки, положили тѣло,
Подняли—и долго поступью несмѣлой
Шли они по травкамъ, шли они по кочкамъ.
Впереди, мелькая яркимъ огонечкомъ,
Шелъ свѣтлякъ—и сотни разныхъ насѣкомыхъ,
Нашему артисту вовсе незнакомыхъ,
Шумно просыпались въ перелѣскѣ темномъ.—
«А! ба! кто тамъ? что тамъ?»—слышалося въ сонномъ
Царствѣ. Вдругъ во мракѣ жалкій пискъ раздался:
Муравей какой-то подъ ноги попался
Нашему гулякѣ—онъ его и тиснулъ.
Вслѣдъ за этимъ визгомъ—въ рощѣ кто-то свистнулъ.
Комары, проснувшись и поднявшись роемъ,
Затрубили въ трубы, точно передъ боемъ,
Но слетѣвшись кучей и увидѣвъ тѣло
Взяли тономъ ниже (поняли въ чемъ дѣло...)
И, трубя плачевно, въ разстояньи дальнемъ,
Огласили воздухъ маршемъ погребальнымъ.
Къ свѣтляку другіе свѣтляки пристали:
Свѣчи ихъ то гасли, то опять мелькали.
Съ жалобнымъ жужжаньемъ поднимались мухи,
И, жужжа, другъ другу повѣряли слухи.
Бабочка,—Сильфиды прежняя подруга,—
Высунула носикъ, блѣдная съ испуга,
И потомъ, спустившись по листочкамъ, сѣла
На холодный камень и—оцѣпенѣла.
Предразсвѣтный вѣтеръ, невидимкой вѣя,
Думалъ, что воскреснетъ молодая фея:

Шевелилъ у мертвой легкими крылами,
И дышалъ въ лицо ей влажными устами,
И потомъ далекимъ проносился стономъ,
И по всѣмъ тропинкамъ отдавался звономъ,
Чашечки лиловыхъ цвѣтиковъ качая.
И роса, какъ слезы, холодно сверкая,
Медленно стекала съ усиковъ цвѣтущей
Повилики, робко по стволамъ ползущей;
И благоухали тысячи растеній;
И сквозь дымъ деревья въ видѣ привидѣній
Головой кивали. Тихо раздвигая
Облака, вставала зорька золотая,
И когда все стало ясно отъ улыбки
Пламенной богини, принесли подъ Липки
Мертвую Сильфиду; — тамъ ее сложили,
Вырыли могилу и похоронили.
И когда надъ этой новою могилой
Думалъ злую думу мой артистъ унылый,
Въ жаркихъ искрахъ солнца за лѣсной куртиной
Звучно раздавался рокотъ соловьиный.

Больной писатель.

(сороковыхъ годовъ).

СЦЕНА I.

Бѣдно убранная комната въ четвертомъ этажѣ. На столѣ, даже на стульяхъ—книги, журналы, рукописи и корректурные листы.—На шкафѣ гипсовый бюстъ Шекспира.—На стѣнахъ портреты Гоголя, Гумбольдта и другихъ современныхъ писателей.—На диванѣ—писатель, прикрытый стеганымъ поношеннымъ халатомъ.—Голова его покоится на подушкахъ. На изнуренномъ, блѣдномъ лицѣ его печать чахотки.—Подлѣ дивана столикъ—на немъ бумага, карандаши, чернильница, подсвѣчникъ съ догорѣвшимъ огаркомъ, недокуренная сигара, стаканъ съ питьемъ и столовая ложка.

Вечеръ.

Писатель.

Охъ, этотъ докторъ! онъ невыносимъ—
Не вѣритъ медицинѣ—а рецепты
Строчить умѣетъ. Эдакую дрянь
Я долженъ принимать!

(Жена подноситъ ему лѣкарство).

Фи!—Еслибъ я
Не вѣрилъ въ силу разума—какой бы
Я былъ писатель?

Жена.

За лѣкарствомъ
Опять сегодня надо посылать...

Писатель.

Пошли.

Жена *(помолчавъ).*

Ну... да—пошлю...

Писатель *(помолчавъ).*

А сколько денегъ
У насъ осталось?..

Жена.

Два рубля... да мѣди
Копѣекъ съ двадцать...

Писатель.

Хорошо. А впрочемъ,
Сегодня за лѣкарствомъ ты, мой другъ,
Не посылай... не нужно. Завтра этотъ жидъ
Авось пришлетъ мнѣ денегъ...

Жена.

Кто? редакторъ?
Держи карманъ!

Писатель.

Я не батракъ его,
Чтобъ такъ работать!—онъ жалѣетъ мнѣ
Прибавить сотню, а мое перо
Ему даетъ десятки тысячъ—вздоръ!
Я не могу такъ жить—сама ты видишь,
Какъ я работаю!

Жена.

Какъ мнѣ не видѣть!
Ты день и ночь, какъ каторжникъ, пера
Не выпускаешь. Что за жизнь! Да еслибъ
Ты столяромъ былъ—больше бъ заработалъ.
Иной сапожникъ выручаетъ больше.

Писатель.

Ну, нѣтъ, сапожникъ выручаетъ меньше.

Жена.

Давно ли получилъ ты деньги, и
Всего осталось два рубля! Ну, что
Я стану съ ними дѣлать? Два рубля...
Тогда какъ на одни лѣкарства надо...
Ахъ! Еслибъ знала я, что̀ значитъ быть
Писателемъ, да ни за что бъ на свѣтѣ
Я не пошла бы замужъ за тебя.

Писатель.

Какъ жаль, что мы не можемъ развѣнчаться!
(задумывается).
Къ чему раскаянье—когда оно
Грѣха не выкупаетъ! Оба мы
Съ тобою согрѣшили, другъ мой,—я
Твоей любви повѣрилъ, ты моей;
Пришла нужда—и тайно отравила
Святѣйшее изъ чувствъ.

Жена.

Не говори
Съ такою горечью! Досадно слушать!
Неужели тебя я не люблю?

Но развѣ весело мнѣ видѣть мужа,
Который цѣлый день, едва дыша,
Работаетъ напрасно...

Писатель.

Можетъ быть,
И не напрасно—молодежь читаетъ
Мои статьи.

Жена.

Когда ты пишешь,
Ты забываешь все и всѣхъ на свѣтѣ
И для тебя жены не существуетъ.
Ребенокъ плачетъ—ты не слышишь,
Сто разъ зовутъ обѣдать—ты не слышишь,
И лихорадочнымъ огнемъ горитъ
Твое лицо, когда на время ты
Свою проклятую работу покидаешь.
Неужели я не должна страдать!

Писатель.

Но, милая, за что же?
Въ тѣ минуты,
Когда я глухъ и слѣпъ для всякихъ вздоровъ—
Я счастливъ, потому что глухъ и слѣпъ
(Глухъ—отъ того, что много слышу,
Слѣпъ—отъ того, что много вижу).
Я даже забываю боль въ груди,
Когда мое перо здоровьемъ дышитъ
И возвышаетъ голосъ, сильный, смѣлый,
Ни передъ кѣмъ не умолкающій...
(кашляетъ).
Ты этого не понимаешь—и
Поэтому любить меня не можешь.

Жена.

О, Боже мой! Какой ты человѣкъ!
Да кто жь тебя и любитъ, какъ не я?
Кто обо всемъ хлопочетъ? Вотъ награда!

Писатель.

Самозабвеніе въ трудѣ—одна отрада;
Въ моей постылой жизни,—благодать,
Которая меня поддерживаетъ,—сила,
Которая сгубила жизнь мою,
Но до конца не измѣнила.
Такъ буду мыслить я, стремиться и писать.
Кто на мое самозабвенье ропщетъ,
Тотъ лучшее, что есть въ моей душѣ,
Терзаетъ, мучитъ, душитъ, топчетъ...
(Бросается ничкомъ въ подушки и закрываетъ лицо).

СЦЕНА II.

Входитъ Дарданельскій.

Писатель.

Ну, какъ дѣла́?

Дарданельскій.

Да что, братецъ, записку
Твою отнесъ.

Писатель.

Самъ отдалъ?

Дарданельскій.

Своеручно.
Прочелъ онъ — рожу скорчилъ—поворчалъ.
Я знаю, говоритъ, что деньги нужны...
Кому жь онѣ не нужны?! Хочетъ денегъ!
Да кто же ихъ не хочетъ? Я хочу-съ
И вы хотите—и лакей мой хочетъ,
И всѣ хотятъ.

Писатель.

Ну, что же ты на это?

Дарданельскій.

Да я не вытерпѣлъ, сказалъ ему
Всю правду.

Писатель.

Ну, ты врешь, на это
Тебя не хватитъ, чтобъ сказать ему
Всю правду.

Дарданельскій.

Право слово! Э! да что мнѣ!
Какъ будто я кого-нибудь боюсь!

Писатель.

Такъ что же ты ему сказалъ?

Дарданельскій.

Сказалъ:
Послушайте, побойтесь Бога!

Писатель.

Экой шутъ!
Чѣмъ выдумалъ пугать его... «побойтесь!»
Ну, что жь, онъ испугался—А?.. «побойтесь!»
Ужь лучше бы меня ты не смѣшилъ.
Ну, что же дальше?

Дарданельскій.

Развѣ, говорю,
Онъ дюжинный сотрудникъ? Вы другого
Такого, говорю, и съ фонаремъ
Не скоро обрѣтете. Вѣдь на васъ
Онъ точно волъ работаетъ. Ей-Богу!
Такъ какъ же вамъ его не обезпечить!
Съ другими, говорю я, поступайте
Какъ Богъ пошлетъ вамъ на душу. Со мной
Вамъ также церемониться не нужно;
Я буду радъ и десяти рублямъ,
Я какъ-нибудь съ дѣлишками своими
Сумѣю справиться; а онъ вѣдь боленъ.
Чуть дышитъ; у него жена, ребенокъ;
Квартира неудобная—сырая,
Дровъ ни полѣна.

Писатель.

Чортъ!.. Да кто тебя
Просилъ такія пѣть іереміады
И въ нищіе записывать меня!!...
Я развѣ попрошайка! развѣ я
Изъ милости, иль ради состраданья
Выпрашиваю деньги! И ему
Какое дѣло знать, какъ я живу

И есть ли у меня дрова, и есть ли свѣчи,
Въ подвалѣ я, или на чердакѣ?
Иль по паркету шаркаю ногами
Въ персидскихъ туфляхъ?—что ему за дѣло!
Я не разжалобить хочу его,—хочу,
Чтобъ онъ платилъ мнѣ за мои труды—
За кровные труды мои,—хочу,
Чтобъ жизнь моя не пропадала даромъ
Ни для другихъ, ни для меня...
Чтобъ могъ я...
(Задыхается отъ волненія и кашля).

Жена.

Не горячись, мой другъ....

Дарданельскій *(жалобно).*

Помилуй, братецъ!
Я для тебя жь старался.

Писатель.

Кто просилъ
Тебя стараться?

Жена *(Дарданельскому).*

Ну, а сколько жь съ вами
Прислалъ онъ...

Дарданельскій *(полушепотомъ).*

Да покуда ни копѣйки!

Жена.

О, Боже мой! какое наказанье!

Писатель.

А ты ему скажи... скажи ему,
Коли увидишь, что—что я ни строчки,
Ни полстроки не помѣщу въ журналѣ...
Что духа моего не будетъ пахнуть
Въ его журналѣ!..

(Слышенъ звонокъ).

Кто тамъ!—не пускать.
Скажите, что я боленъ—никого
Не принимаю...

Жена.

Мальчикъ за статьей
Пришелъ изъ типографіи.

Мальчикъ *(въ дверяхъ).*

Велѣли
Взять продолженье.

Писатель.

Продолженье! Гм!..
А если я не дамъ вамъ продолженья?

(задумывается).

Есть корректура?

Мальчикъ.

Есть.

Писатель.

Давай сюда!
Скажи, чтобъ за концомъ прислали къ ночи;

Быть можетъ, къ ночи я поправлюсь.
Ну, что стоишь!

(Мальчикъ уходитъ).

Жена *(шепотомъ Дарданельскому).*

Уговорите мужа
Сегодня не работать... Поглядите,
На что похожъ онъ... бѣдный!

(уходитъ).

Писатель *(пробѣжавши корректурные листы).*

Боже мой!
Своей статьи не узнаю въ печати!

(Падаетъ въ изнеможеньи на подушки и закрываетъ глаза).

Жена *(возвращаясь).*

Вотъ и лѣкарство.

Писатель *(очнувшись).*

Это для чего?
Просилъ тебя я деньги поберечь;
Дай лучше мнѣ стаканъ лафиту,
У насъ осталось полбутылки, ты
Поставила его на холодъ зà дверь,—
Надѣюсь, что не скислось?.. ты его
Немножко подогрѣй—потомъ подай.
Вино мои возстановляетъ силы.
Сначала броситъ въ жаръ, потомъ—какъ будто
Жизнь заиграетъ... и тогда, быть можетъ,
Я буду въ силахъ...

Дарданельскій.

Знаешь что, пріятель? —
Пока ты кашляешь... Позволь мнѣ дать
Тебѣ совѣтъ полезный...

Писатель.

Ну, совѣтуй—
Не церемонься...

Дарданельскій.

Ты вина не пей,
Не пей, братецъ!

Писатель.

Эхъ, Дарданельскій,—ты
Напомнилъ мнѣ хорошій анекдотецъ.

Дарданельскій.

Какой же это?

Писатель.

Старый анекдотецъ!
Тебѣ я разскажу его:—ты можешь
Свой фельетонъ подкрасить имъ. Авось,
Его помилуетъ цензура! впрочемъ,
Не полагайся, если Фрейгангъ будетъ
Цензоровать, то вычеркнетъ навѣрно.

Дарданельскій.

За что жь онъ вычеркнетъ?

Писатель.

Какъ разъ смекнетъ,
Что пахнетъ правдой—правды онъ боится.

Дарданельскій.

Да онъ и выдумки боится.

Писатель.

— Если въ ней
Какой-нибудь есть смыслъ, то онъ боится
И выдумки.

Дарданельскій.

Да онъ во всемъ—во всемъ,
Какую ты ни напиши нелѣпость,
Находитъ смыслъ. —Ну, хочешь, напишу,
Что въ Лѣтній садъ сорока прилетѣла
И уронила изъ носу кольцо,
И что сіе кольцо вдругъ очутилось
На пальцѣ у какой-нибудь статуи,
Ну, хоть Венеры,—думаешь, пропуститъ?!
Да ни за что на свѣтѣ!—«Понимаю,
Э! понимаю, что вы этимъ
Сказать хотѣли! скажетъ—понимаю-съ!
Не проведете старика, не проведете!»
И зачеркнетъ— Ей-Богу! Но... (не смѣйся,
Опять закашлишься...) что я такое
Тебѣ напомнилъ?—Иногда бываютъ
Пріятныя воспоминанья.

Писатель.

Слушай.
Когда я былъ еще въ Москвѣ студентомъ,
Я и тогда пописывалъ кой-что.
Тамъ былъ одинъ журналъ—покойный, царство
Ему небесное!—Онъ бралъ охотно
Мои статьи; я жь все тогда писалъ
Въ народномъ духѣ—очерки, разсказы,
Да путешествія въ окрестностяхъ Москвы,

Отъ Кунцева до Воробьевыхъ горъ.
Я жь былъ тогда горячій малый—глупый
И недогадливый: питалъ ко всѣмъ
Редакторамъ, писателямъ, піитамъ
Особое благоговѣнье:—бредилъ
Стихами—и уже мечталъ о славѣ.
Однажды, растерявши всѣ свои
Грошовые уроки, въ лѣтній мѣсяцъ,
Я, братецъ, упивался самой гнусной
И неприличной бѣдностью; голодный
Ходилъ я по бульварамъ; изъ сапогъ
Выглядывали пальцы,—точно такъ же
Какъ у Наполеона перваго въ гробу,
Открытомъ на скалѣ святой Елены.
И какъ Наполеонъ, который жаждалъ
Всѣмъ міромъ обладать, такъ точно
Я жаждалъ обладать какой-нибудь
Румяной, свѣже-испеченной сайкой.
Ну, словомъ—были дни, когда буквально
Я голодалъ... Въ одинъ изъ оныхъ дней
Вдругъ вспомнилъ я.—О, радость!.. вспомнилъ,
Что мнѣ редакторъ, нѣкто Петръ Михайлычъ,
Весьма почтенный мужъ,—не заплатилъ
Ни гроша за мою статью. Оттиснуть—
Оттиснулъ; но еще не заплатилъ...
Ахъ, чортъ возьми! Да какъ же это?—Ну,
Неужели мнѣ за мою работу
Онъ не заплатитъ двадцати цѣлковыхъ?—
Не можетъ быть.

Жена *(входя съ бутылкой лафита).*

А ты все говоришь—
Все говоришь... Ну, хорошо ли это,—
Тебѣ запрещено.

Писатель *(не слушая жены)*.

Ну, думаю,—теперь
Разбогатѣю—будетъ и калачъ,
И мытая манишка, и куплю
Себѣ—(чѣмъ чортъ не шутитъ!) «*Арабески*»
Разсказы Гоголя... Такъ, ухватившись
За эту мысль блаженную, не медля,
Направилъ я стопы свои на дачу
Къ редактору.—Не замѣчаю, братецъ,
Что уже поздно—сумерки—что скоро
Наступитъ ночь; лечу на крыльяхъ вѣтра.
Пришелъ—звоню—выходитъ старушонка:—
«Кого вамъ надо?»—Дома Петръ Михайлычъ?
Его мнѣ нужно—очень нужно видѣть.—
— «Вы кто такой?»—Студентъ.—«А, поищите
Его въ саду».—А какъ пройти мнѣ въ садъ?—
— «А черезъ дворъ».—Да тамъ собаки лаютъ.—
— «Ну, такъ ступайте, я васъ проведу
Черезъ террасу».—Помню, какъ пошелъ я
Изъ залы, прямо черезъ кабинетъ:
На стульяхъ, на диванахъ, на окошкахъ
И даже на полу валялись книги;
Старинные стояли шкапы, на стѣнѣ
Мелькалъ булатъ—должно быть панцырь древній,
Или какой-нибудь, добытый съ рынка, щитъ.
Изъ рамъ портретовъ предо мной мелькали
Одни лишь пятна; комната была
Озарена сіяніемъ луны,
Но стѣны были въ сонномъ полумракѣ.
Я помню, носъ мой слышалъ запахъ пыли:
То былъ мышиный запахъ старины.
Я проходилъ по комнатамъ, какъ будто

По заколдованному замку.—«Проходите!»
Старухи голосъ дребезжалъ за мной.
— «Ступайте прямо—а потомъ направо».
Тутъ увидалъ я дверь—гнилую раму
Съ потускнувшими стеклами. Терраса
Была подъ кровлей,—и сошелъ я въ садъ,
И помню, ночь была такая
Великолѣпная!... и свѣтъ и тѣни—
Все было неподвижно,—тонкій запахъ
Сосны сливался съ запахомъ цвѣтущихъ,
Душистыхъ липъ; надъ садомъ мѣсяцъ
Такъ и сіялъ—въ аллеяхъ было глухо—
Я шелъ, шелъ, шелъ,—наткнулся на заборъ,
Поворотилъ налѣво—вижу прудъ,—
Кругомъ идетъ дорожка;—около пруда
Подъ кленами стоитъ скамейка.—Вижу
На той скамейкѣ, темный человѣчекъ
Сидитъ въ халатѣ (кажется, въ китайскомъ)
И наслаждается природой. Робко
Я подошелъ къ нему. Сидитъ и смотритъ.
Я шапку снялъ,—сидитъ,—я поклонился,—
Онъ все сидитъ. Мнѣ, право, показалось,
Должно быть съ голоду, что Петръ Михайлычъ—
Не Петръ Михайлычъ, а какой-то магъ,
Что если я заговорю съ нимъ, повернувшись,
Онъ превратится въ кактусъ или въ лейку.
Не даромъ же я Гофмана читалъ
И въ радужномъ чаду его фантазій,
Подозрѣвалъ глубокій смыслъ. Должно быть,
И онъ вообразилъ, что если я не лѣшій,
То—Ванька-Каинъ. Поднялся съ скамейки
Ученый мужъ, сложилъ крестообразно
На грудь свои коротенькія руки

И, явно струсивъ, словно отрыгнулъ:
«Что вамъ угодно-съ?» Бойко, надрываясь
Отъ внутренней какой-то боли, сталъ
Я говорить ему—сталъ, наконецъ, чертить
Предъ нимъ размашисто и не щадя
Суровыхъ, мрачныхъ красокъ всю картину
Моей ужасной бѣдности. Невольно
Я задыхался и махалъ руками.
Я помню, какъ мои горѣли щеки,
Я помню, какъ, понизивъ голосъ свой,
Я сталъ просить его хоть что нибудь
Мнѣ заплатить за ту статью,
Которой онъ заткнулъ такъ ловко
Пробѣлъ въ своемъ изданьи. Я едва
Переводилъ дыханье,—наконецъ,
Сказалъ ему:—не милости отъ васъ
Я требую, а платы за труды.
Великій магъ нахохлился. Подперъ
Одной рукой свой мягкій подбородокъ
И, выпятивши губу, произнесъ:
— «Все это хорошо-съ. Но вмѣсто денегъ
Я вамъ намѣренъ отплатить совѣтомъ-съ».
— Какимъ совѣтомъ:—«Какъ бы это вамъ
Сказать... того-съ...»—Я васъ не понимаю.
— «Гм! Вы не понимаете?»—Не понимаю:—
— «А мой совѣтъ—того-съ... вамъ пригодится
Гораздо больше, чѣмъ десятки—что я—
Десятки!—сотни тысячъ».—Что жь такое?..
— «Не пьянствуйте и не шатайтесь пьяный;
Пропьете умъ, пропьете сапоги—
И пропадете; пьянство васъ погубитъ».
— Помилуйте, я ничего не пью.
— «Нѣтъ, пьете», говоритъ.—Ей-ей! не пью.—

— «Нѣтъ, пьете».—Вы клевещете.—«Чего-съ?
Эхъ, юноша, примите вмѣсто денегъ
Благой совѣтъ мой и ступайте съ Богомъ».—
Такъ и ушелъ я, съ чѣмъ пришелъ, безъ гроша.

Дарданельскій *(хохочетъ).*

Ну, этого цензура не пропуститъ...

Писатель.

Вотъ и лафитъ... вели подать стаканъ.
Тутъ, кажется, осталось ровно на два
Стакана... Говорятъ, что у меня чахотка.
Но если буду я отказывать себѣ
Въ такомъ подогрѣвательномъ напиткѣ,
Я прежде смерти и душой и тѣломъ
Застыну... Этого я не хочу...
(пьетъ).
(Слышенъ новый звонокъ).
Жена, отказывай...

Жена *(возвращаясь изъ передней).*

Твои друзья,
Сережинъ и Иванинъ.

Писатель *(радостно).*

Гдѣ они?—
Сюда, сюда! Вотъ, чортъ возьми, не ждалъ!
Голубчики! Откуда Богъ принесъ?

Входятъ Сережинъ и Иванинъ.

Сережинъ.

Ты дома! боленъ?

Писатель.

Боленъ! пустяки—
Я просто пьянствую.

Иванинъ.

И ты не знаешь,
Ты ничего не знаешь?

Писатель.

Что такое? —
Вы, господа, смущаете меня.
Я васъ не узнаю: преобразились...
Сіяете... ужь у меня дыханье
Въ груди спирается отъ ожиданья
Необычайнаго чего-то... Сердце бьется...
Ну... говорите, говорите...

Иванинъ.

Знай же:
Луи-Филиппъ бѣжалъ—Парижъ стоитъ
На барикадахъ, Франція въ огнѣ;
Республика, какъ фениксъ, возникаетъ
Изъ пепла.

Писатель *(приподнимаясь и дрожа).*

Говорите, говорите.

Иванинъ.

— Министръ Гизо въ изгнаньи; Ламартинъ
Уже гремитъ съ трибуны.—Ежечасно
Событія растутъ... Все шевелится,
А ты сидишь! — Не знаешь даже,
Что на носу переворотъ!—

Писатель.

— Пе-ре-во-ротъ!
(падаетъ безъ чувствъ, блѣдный какъ полотно).

Жена *(поддерживая голову мужа, гостямъ).*

Ахъ, господа! Уйдите, ради Бога,
Вы, съ вашими проклятыми вѣстями!
И такъ — на ниточкѣ держалась жизнь,
Пришли пугать!.., Спѣшите, Дарданельскій,
За докторомъ—онъ, кажется, не дышитъ.
О, Господи!... Да что жь это такое?
(плачетъ).

Иванинъ.

Нервъ человѣчества—писатель потрясенъ.

Сережинъ.

И этотъ нервъ не вынесъ потрясенья.
Уйдемъ... Прощайте, Александра Львовна.
Мы виноваты, но давно мы не видались,
Не знали, что онъ такъ надорванъ, бѣдный!

Свѣжее преданье.

Разсказъ, сотканный изъ юношескихъ воспоминаній.

ГЛАВА I.

Давно Таптыгинъ, князь извѣстный
Въ Москвѣ, какъ солнце въ поднебесной,—
Затихъ, шампанскаго не пьетъ
И вечеровъ ужь не даетъ.
Куда, злодѣй, онъ путь направилъ,
Гдѣ онъ слѣды свои оставилъ?
Зачѣмъ исчезъ, какъ метеоръ?
Кто князя помнитъ? Но съ тѣхъ поръ
Боговъ россійскаго Парнаса
Перевели на задній дворъ;
Съ тѣхъ поръ въ Москвѣ, во имя Спаса,
Успѣли выстроить соборъ;
Прошла желѣзная дорога;
Палъ Севастополь,—въ добрый часъ
Иная ломка началась,
И утекло воды такъ много,
Что, можетъ быть, Таптыгинъ князь
Давно ужь превратился въ грязь.

Давно въ Москвѣ его забыли:
Забылъ и тотъ, кто обыгралъ.
И тѣ, которые трубили,
Что онъ невѣжда и нахалъ,
И та, которую любовнымъ
Письмомъ онъ нѣкогда сразилъ,
И тотъ, кто нѣкогда грозилъ
Ему процессомъ уголовнымъ...
Когда я прилеталъ въ Москву,
Какъ юноша, когда-то праздный,
Любилъ я старую молву
Ловить за хвостъ немножко грязный,
И помню, какъ одинъ приказный
Съ какимъ-то чувствомъ говорилъ,
Какъ этотъ князь его побилъ,
И какъ онъ щедро наградилъ
За свой поступокъ безобразный.
Когда же я его спросилъ:
Какъ звали князя, гдѣ онъ жилъ,
Гдѣ онъ служилъ и куролесилъ,—
Сѣдой пьянюшка носъ повѣсилъ
И повинился, что забылъ:
«Забылъ, сударь! забылъ, признаться!
«Забылъ—кажись бы и не пьянъ».
Такъ часто трудно добираться
До историческихъ имянъ.

Таптыгина не зналъ я лично,
Но, какъ его историкъ, я
Въ то время велъ себя отлично.
Нельзя писать о немъ шутя,
Писать подробно неприлично;
Мы *не дозрѣли*, говорятъ,

И, можетъ-быть, не безъ причины,
Разврата моднаго картины
Насъ потѣшаютъ, какъ ребятъ.

Жена Таптыгина, Ульяна
Ивановна, довольно рано
Покинула московскій свѣтъ.
Я зналъ ее: она въ разводѣ
Жила у брата на заводѣ.
(Теперь ея въ живыхъ ужь нѣтъ;
И только тѣнь ея страданья,
Въ досужій часъ воспоминанья,
Очамъ души моей видна).

Старушка блѣдная, она
Ходила въ темномъ одѣяньи;
Какъ у игуменьи, у ней
Былъ гордый видъ, но не спесивый.
Глаза ея, что никогда
Не оживлялись суетливой
Мечтою, съ грустью молчаливой,
Мнѣ смутно говорили: да
Еще ты молодъ, по губамъ
Я это вижу; что-то будетъ,
Какъ ты съ мое-то поживешь;
Ума прибавится на грошъ,
А сердца на алтынъ убудетъ.

Въ рукахъ она всегда съ собой
Носила бархатный мѣшочекъ,
Тамъ было все: платокъ, клубочекъ,
Наперстокъ, ею начатой
Чулокъ, рогулька для вязанья,
Молитвенникъ и поминанье.

Порой черты ея лица
На юность навѣвали скуку.
Я помню два большихъ кольца
У ней на пальцѣ; помню руку
Худую, блѣдную—она
Была дѣйствительно блѣдна,
Какъ бѣлый воскъ... Не исчезаетъ
Она изъ памяти моей:
И право странно, мнѣ объ ней
Всего скорѣй напоминаетъ
Одеколонъ, когда его
Я слышу запахъ... отчего?

Старушка добрая, она
Была не нынѣшняго вѣку;
Я для нея ходилъ въ аптеку,
Когда она была больна,
Пилъ чай, разсказывалъ ей сказки,
И даже гладилъ, не безъ ласки,
Ея любимаго кота.
О мужѣ темныя преданья
Она могла бы пояснить,
Да мало было въ ней желанья
Со мной объ этомъ говорить.
Бывало, все молебны служитъ,
Чего-то ждетъ, о чемъ-то тужитъ.

Не разъ, хваля обѣдъ простой,
Да подливая супъ грибной
Въ тарелку съ гречневою кашей,
Я спрашивалъ: а гдѣ вашъ мужъ?
И что княжна? отъ дочки вашей
Ужь нѣтъ ли писемъ? почему жь
Она не пишетъ?

— Мужъ въ имѣньи
И, говорятъ, сталъ нелюдимъ;
Моя княжна, конечно, съ нимъ:
Она въ большомъ уединеньи
Живетъ, почти-что никого
Не видитъ; нéкого и видѣть —
Степь, лѣсъ и больше ничего;
Богъ милостивъ, и не обидитъ
Ее, бѣдняжку!..
Тутъ рука
Княгини явно начинала
Дрожать, и дѣло безъ платка
Не обходилось...
Изъ сего
Я заключилъ, что хладнокровно
Она допроса моего
Не можетъ слышать. Такъ невольно
Я заставлялъ ее страдать;
Такъ ей, замѣтно, было больно
Мнѣ отвѣчать.
И то сказать,
Пріятно въ старость принимать
Въ свой домъ безпечнаго повѣсу,
Его кормить, ему внимать;
Но передъ нимъ сорвать завѣсу
Съ той сцены, гдѣ судьба, смѣясь,
Когда-то безъ пощады въ грязь
Насъ повалила и топтала,
Или, какъ съ мышью котъ, играла —
Увы! не всякому легко.
Не все, что скрыто глубоко
У насъ въ душѣ, легко всплываетъ;
Любовь погибшая, и та

На откровенныя уста
Печать молчанья налагаетъ.

Герой грядущаго, я мнилъ
Сойтись съ несчастной героиней;
Вотъ почему я говорилъ
Такъ часто съ бѣдною княгиней,
Въ ней струны сердца шевелилъ,
И на лицѣ ея слѣдилъ
За каждой вздрогнувшей морщиной;
Я даже случай находилъ
Съ ея служанкой Катериной,
Кривою дѣвой въ сорокъ лѣтъ,
Болтать о томъ, чего ужь нѣтъ,—
И, разумѣется, читатель,
Былъ любопытенъ, какъ поэтъ,
Иль какъ уѣздный засѣдатель.

И я, ей-Богу, не шутилъ.
Однажды, мучимый тоскою
(Отъ лихорадки праздныхъ силъ),
Я вдругъ старухѣ объявилъ,
Что самъ поѣду за княжною
И привезу ее.
Она
(Хоть и была изумлена)
Спокойно на меня взглянула
И равнодушно протянула
Мнѣ руку съ тѣмъ, чтобъ я ее
Поцѣловалъ,—прошу покорно,
Какая милость! Я проворно
Коснулся къ ней губами. О!
Теперь и самъ я начинаю

Смекать, зачѣмъ и отчего
Я эту руку вспоминаю
Живѣе вдвое, чѣмъ черты
Ея поблекшей красоты.

Тогда я жилъ, какъ подобаетъ
Жить юношамъ холостякамъ,
Жилъ, гдѣ придется.—Куликамъ
Тамъ и уютно, гдѣ къ водамъ
Камышъ болотный прилегаетъ;
Гдѣ можно въ тину запустить
Свой длинный носъ и угостить
Себя на славу. Не мѣшаетъ
Сказать, что истинный куликъ,
Къ какой бы кочкѣ ни приникъ,
Нигдѣ крыла не замараетъ.

Я помню—разгорался день.
Но облака ходили низко,
И на Москвѣ лежала тѣнь.
Отъ насъ Москва была не близко,
Хоть и мелькали съ двухъ сторонъ
Ея макушки. Ранній звонъ
Колоколовъ ея въ туманѣ
Носился смутно надъ землей.
На первомъ планѣ, надъ рѣкой,
У ближней рощи, на полянѣ,
Сидѣли кучками цыгане;
Дымился таборъ кочевой.
Въ кустахъ посвистывали птицы;
Вдоль сѣрыхъ грядокъ свекловицы

Тянулся низенькій заборъ;
За нимъ ряды фабричныхъ зданій,
Сушильня, кузница, двѣ бани
Глядѣли окнами на дворъ;
Косую тѣнь бросали трубы
На дернъ покатаго двора;
Изъ темной пасти ихъ, съ утра
Выбрасывались дыма клубы,
Столбомъ тянулись въ облака,
Потомъ на западъ уходили
И тамъ терялись въ тучахъ пыли.
За банями текла рѣка;
Тамъ раздавался стукъ валька:
Фабричные бѣлье тамъ мыли.
Налѣво—шелъ сосновый лѣсъ,
А я подъ небольшой навѣсъ
Присѣлъ на пыльныя ступеньки
Избы, что̀ съ краю деревеньки,
Гдѣ я въ то время нанималъ
Чуланъ съ окномъ и сѣновалъ.
Что вамъ сказать о сѣновалѣ?
Онъ былъ мой маленькій эдемъ,
И что тамъ было, и зачѣмъ
Туда сквозь кровлю мнѣ мигали
Ночныя звѣзды, говоря:
Ты, братъ, блаженнѣе царя,—
Зачѣмъ за полуночной тѣнью
Слѣдилъ мой глазъ, и отчего
У изголовья моего
Такъ пахло свѣжею сиренью?
О, пусть перо мое молчитъ!
Къ чему дразнить мнѣ апетитъ,
Когда желудокъ мой набитъ

Непереваренным обѣдомъ?
Мнѣ только слѣдуетъ сказать,
Что я княгинѣ былъ сосѣдомъ
И могъ старушку навѣщать.

Старушка къ своему сосѣду
Хоть недовѣрчива была,
Однако иногда звала
Меня по праздникамъ къ обѣду;
Но рано утромъ иногда
Ни для варенья, ни для чтенья,
Не получалъ я приглашенья.
А въ это утро, господа,
Ея посланница кривая
Явилась вдругъ передо мной,
Какъ будто листъ передъ травой.
—А! вы ужь встали! Вишь, какая
Погода! Птички какъ поютъ!..
Она болтать со мной пустилась
И наконецъ договорилась:
— Васъ просятъ на десять минутъ
Пожаловать.
— Что это значитъ!
Ужь не больна ли?
— Нѣтъ, все плачетъ...

Княгиню я засталъ одну
Въ какомъ-то шлафорѣ, съ букетомъ
Фіалокъ и въ чепцѣ, надѣтомъ
Немножко на сторону.

— Ну,
Любезный мой! не осудите
Старуху—послужите ей.
— Все, что прикажете!
— Сходите
Въ Москву, мой милый. Отъ моей
Княжны, вотъ видите ли, нѣту
Совсѣмъ извѣстій. Я боюсь:
Онъ тамъ сживетъ ее со свѣту...
Ей-Богу, толку не добьюсь...
Сходите, милый.
— Что жь, могу я?..
Скажите...
Плача и тоскуя,
Съ лицомъ измятымъ, раза два
По комнатѣ прошлась старуха;
У ней качалась голова,
У ней недоставало духа
Со мной бесѣдовать...
— А вотъ,
Я дамъ вамъ адресъ: онъ живетъ
Близъ *Курьихъ ножекъ*... Вотъ... возьмите
Хоть это перышко... Пишите:
Домъ Савиной—второй кварталъ...

Я взялъ перо; перо скрипѣло
И брызгало... Я записалъ...

— Вотъ видите—какое дѣло...
Чего я не могу постичь...
Но, впрочемъ, если Петръ Ильичъ
Камковъ васъ приметъ, то, быть можетъ,
Разскажетъ вамъ. Меня тревожитъ
Одно: не умеръ ли Камковъ?

Онъ былъ всю зиму нездоровъ;
Все кашлялъ—эдакое горе!
Спросите: не было ли вскорѣ
Послѣ Святой, какъ былъ Матвѣй,
Письма отъ дочери моей.
Пусть сходитъ справиться въ конторѣ...
Мой другъ, утѣшьте вы меня;
Всю жизнь вамъ благодарна буду...

И вечеромъ того же дня
Я шелъ Москвой. Не позабуду,
Какъ, послѣ дождика съ грозой,
Надъ Воробьевыми горами,
И надъ пустынными дворцами,
И надъ садами, за рѣкой,
Гасъ тихо вечеръ золотой;
Какъ съ теплотой боролся холодъ;
Какъ подрумяненъ былъ и молодъ
Маститый Кремль съ его стѣной;
Какъ горячо горѣли главы
Его соборовъ; . . . . . .
. . . . . .
Какъ были зелены бульвары;
Какъ тамъ заманчиво въ тѣни
Влюбленныя гуляли пары
(Такъ мнѣ казалось въ оны дни);
Какъ пахло хлѣбомъ изъ пекарень,
И помню я, какъ въ тишинѣ,
Изъ-за гардинъ, въ одномъ окнѣ,
Я услыхалъ: «зайдите, баринъ»...
Я останавливался... и
Усталый, потный, весь въ пыли,

Опять шагалъ, какъ нѣкій странникъ,
Какъ тотъ, кому самъ чортъ не братъ,
И пробирался на Арбатъ.

Фантазіи наивный данникъ,
Я представлялъ себѣ, каковъ
Собою долженъ быть Камковъ.
Объ немъ уже молва блуждала
Въ той бѣдной, маленькой средѣ,
Которая благословляла
Зародыши талантовъ,—гдѣ
Авторитеты колебали,
И новизнѣ исподтишка
Не громко, но рукоплескали;
Смотрѣть ходили изъ райка
Мочалова,—передавали
Кольцова стихъ изъ устъ въ уста,
И въ «Наблюдателѣ» искали
Стиховъ подъ литерой Ѳ.
Итакъ, объ немъ слыхалъ я прежде.
Я думалъ: геній и поэтъ—
Синонимы; и былъ въ надеждѣ,
Что славой онъ покроетъ свѣтъ,
Что на святой Руси онъ будетъ
Виднѣе солнца самого,
И міръ, конечно, не забудетъ
Меня, какъ спутника его.

Я былъ настолько жь легковѣренъ,
Насколько зеленъ былъ душой;
А потому и не намѣренъ
Смѣяться надъ моей весной

Почтенной публикѣ въ угоду.
(Пора оставить эту моду!).

Я и теперь, читатель мой,
Увѣренъ въ томъ, что будь вы геній,
Не внемля крику пошлыхъ мнѣній,
Я былъ бы раньше самъ собой,
И былъ бы выше головой.
Но что объ этомъ!..

Близъ Полянки,
Камковъ жилъ у одной мѣщанки
Во флигелѣ. Къ его сѣнямъ
Прошелъ я по сырымъ доскамъ
И сталъ стучаться. Оказалось,
Что дверь была не заперта
И очень просто отворялась.
Вхожу—передняя пуста.
Тутъ, признаюсь вамъ, я смутился:
Вообразите вы, что вдругъ
Я у поэта очутился
Съ пустою вѣшалкой самъ-другъ.
Я думалъ: за перегородку
Идутъ слѣды Каменъ—и что жь
Увидѣлъ?—половую щетку,
Да пару стоптанныхъ калошъ!
Я кашлянулъ, какъ будто въ глотку
Мнѣ пыль засѣла; я не зналъ
Войти ли мнѣ, и не рѣшался.
«Я дома, дома!» отозвался
Мнѣ тихій голосъ: онъ звучалъ
Какимъ-то дѣтскимъ нетерпѣньемъ,
Какъ будто звалъ меня больной,

Капризный другъ. Съ благоговѣньемъ
Вошелъ я въ комнату.

Худой,
Въ халатишкѣ, одной ногой
Поймавши туфлю, онъ съ дивана
Приподнялся... То былъ Камковъ.
Я началъ: «Къ вамъ меня Ульяна
Ивановна»...—«Я нездоровъ»,
Онъ перебилъ:—«и поджидаю
Къ себѣ давно кого-нибудь.
Вообразите, самъ не знаю,
Что дѣлать?—Собираюсь въ путь,
И обреченъ на злую скуку:
Лежу весь день—совсѣмъ разбитъ.
Бока болятъ и грудь болитъ.
Садитесь».

Протянувши руку,
Онъ для меня подвинулъ стулъ,
И словно въ душу заглянулъ
Большими сѣрыми глазами.
Я не бывалъ знакомъ съ орлами,
Но, думаю, что на орла
Похожъ онъ не былъ... Надъ бровями
Его, замѣтной складкой, шла
Морщинка—знакъ упорной воли,
Иль напряженья мысли. Онъ
Былъ моложавъ, но сокрушонъ,
Подавленъ чѣмъ-то; поневолѣ,
Я на него глядѣлъ—глядѣлъ,
И слушалъ, и понять хотѣлъ.
Казалось, былъ онъ безконечно
Внимателенъ и добръ: конечно,

Съ такими качествами кто жь
Бываетъ на орла похожъ?
А между тѣмъ и самъ постичь я
Не въ состояньи, отчего
Сначала мнѣ въ лицѣ его
Почудилося что-то птичье,
Тогда какъ черезъ часъ потомъ
Глядѣлъ онъ просто добрякомъ:
Улыбка мягкая скользила
По очертанью тонкихъ губъ,
И прямо, ясно говорила:
Повѣрьте мнѣ, Камковъ не грубъ,
Хоть и бываетъ золъ и ѣдокъ.

Я сѣлъ—онъ сѣлъ—и напослѣдокъ
Мы познакомились.
Друзья!
Пиши я въ прозѣ, вѣрно бъ я
Вамъ описалъ его каморку,
Столъ, кресла, книги подъ столомъ
И на столѣ, да съ табакомъ
Кисетъ!—но, господа, что́ толку
Намъ въ описаніи такомъ!
Жилище моего Камкова
Теперь напомнило бы мнѣ
Мое студенчество; другого
Сказать вамъ не́чего.
Вполнѣ
Довольный тѣмъ, что я съ дороги
Напился чаю съ калачемъ,
Тогда я думалъ, что мы боги—
Сошлись и судимъ обо всемъ.

Камковъ просилъ меня любезно
Отвѣтъ княгинѣ передать,
Ничуть не думая скрывать,
Что было вовсе безполезно.
И тутъ кой-что узналъ я,—но
Одной страницы изъ романа
Мнѣ не довольно... и смѣшно
Вамъ раскрывать ее—и рано.
Пусть подождетъ меня Ульяна
Ивановна,—пусть подождетъ
Меня княжна. Пущу впередъ,
Сіятельныхъ не безпокоя,
Камкова, моего героя.
Друзья! какъ друга моего,
Рекомендую вамъ его.

Простымъ и грустнымъ разговоромъ
Знакомство наше началось,
И тронулъ онъ меня до слезъ
Однимъ разсказомъ (о которомъ
Теперь умалчиваю). Споромъ
Мы заключили разговоръ.
О чемъ былъ сей великій споръ?
Не помню. Я уже порядкомъ
Отъ метафизики отсталъ;
Уже давно не повѣрялъ
Своихъ идей по тѣмъ тетрадкамъ,
Въ которыхъ нѣкогда писалъ
Дневникъ мой: тайно признавался,
Какъ я любилъ, какъ я терзался,
Какъ правды-истины искалъ,
И—на себя наивно лгалъ.

Я только помню впечатлѣнье,—
Я только помню—какъ, живой
Своею рѣчью, молодой
Моей души святой покой
Онъ нарушалъ безъ сожалѣнья...
Онъ не смѣялся надо мной,
Не нападалъ,—но понемногу
Одолѣвалъ, и въ міръ иной,
Не огражденный никакой
Стѣною, сталъ казать дорогу...

Оставшись до другого дня
Въ его каморкѣ,—помню,—я
Заснулъ подъ утро. Для меня
Камковъ дѣйствительно былъ геній,
Хоть онъ замѣтнаго слѣда
Среди общественныхъ явленій
И не оставилъ, господа.
Увы! какъ Рудину, тогда
Ему была одна дорога:
Въ домъ богадѣльни, иль острога.

Но между Рудинымъ и нимъ,
Какъ поглядимъ да посравнимъ,
Была значительная разность.
Характеровъ разнообразность
Разнообразитъ вѣчный типъ.
Идея, будь одна и та же,
Въ одномъ засядетъ, какъ полипъ,
Другого выровняетъ глаже,
Или заставитъ съ бородой
Ходить безъ галстука. Иной,
Принявъ ее въ свои владѣнья,
Идетъ на гибель, какъ герой;

Иной, напротивъ, на покой
Отправится въ уединенье,
И сложитъ руки. Мой Камковъ
Былъ съ нею чѣмъ-то въ родѣ Пери,
Блуждающей у райской двери,
Внимающей изъ облаковъ
Далекаго блаженства звукамъ,
И въ то же время адскимъ мукамъ,
Огню и скрежету зубовъ.
Онъ былъ далеко не ребенокъ;
Все понималъ: и жизнь, и вѣкъ,
Зло и добро—былъ добръ и тонокъ,
Но—въ свѣтѣ лишній человѣкъ.
Какъ часто, самъ сознавшись въ этомъ,
Искалъ онъ дѣла—и грустилъ;
Хотѣлъ ученымъ быть, поэтомъ,
Рвался и выбился изъ силъ.
Онъ бѣденъ былъ, но не нуждался.
Хотѣлъ любить—и не влюблялся,
Какъ-будто жаръ его любви
Былъ въ головѣ, а не въ крови.

Онъ по лѣтамъ своимъ былъ сверстникъ
Бѣлинскому. Станкевичъ былъ
Его любимецъ и наперсникъ.
Къ нему онъ часто заходилъ
То сумрачный, то окрыленный
Надеждами, и говорилъ—
И говорилъ, какъ озаренный.
А то такъ надъ собой трунилъ
Или пріятелю твердилъ:
«*Какъ зналъ ты жизнь—какъ мало жилъ!*»*)

*) Стихъ Веневитинова.

Какую роль игралъ онъ въ свѣтѣ,
И какъ онъ въ высшій свѣтъ попалъ,
Когда не ѣздилъ онъ въ каретѣ
И модныхъ галстуковъ не зналъ?
Туда, сказать вамъ откровенно,
Попалъ онъ необыкновенно,
И вовсе роли не игралъ;
Самаринъ тамъ его встрѣчалъ.
Онъ появлялся блѣдный, скромный,
Всегда съ улыбкою заемной,
Всегда одинъ, всегда вдали
Отъ пышныхъ дамъ, хоть эти дамы
И были какъ нельзя милѣй,
Вообразивъ, что на мужей
Онъ сочиняетъ эпиграммы.

Но не пора ли кончить мнѣ
Бесѣдовать наединѣ
Съ моею музой простодушной,
Чтобъ за моимъ героемъ вслѣдъ
На время окунуться въ свѣтъ,
Холодный свѣтъ, но не бездушный,
Свѣтъ не бездушный, но съ душой
Опутанной, нѣмой, слѣпой,
Коварнымъ идоламъ послушной,
Свѣтъ—не ходящій безъ ходуль,
Но обладающій крылами
Могучими. Друзья! найду ль
Я крылья тамъ, иль вмѣстѣ съ вами
Пройдусь въ толпѣ, гордясь цѣпями!

Читатель! Если ты желалъ
Въ началѣ моего творенья

Найти ошибку, упущенье,
Иль вялый стихъ,—и не зѣвалъ
Надъ этой первою главою,—
Ты ничего не потерялъ:
Я угощу тебя второю;
Но если ты не дотянулъ
До половины и заснулъ,
Спи, милый мой!—Господь съ тобою!

ГЛАВА II.

Въ Москвѣ жилъ-былъ одинъ баронъ.
Какъ всѣ бароны, вѣрно онъ
Былъ человѣкомъ не безъ вѣса:
Онъ былъ богатъ, игралъ въ бостонъ,
Поутру дѣлалъ моціонъ,
И—былъ дуракъ. Но баронесса...
Была особая статья!
О! будь я дама, вѣрно бъ я
Ей подражалъ, иль, ужь повѣрьте,
Возненавидѣлъ бы до смерти.
(Пишу по слухамъ мой разсказъ).
Я къ сожалѣнью только разъ
И видѣлъ, какъ она въ концертѣ
Съ тетрадкой нотъ сидѣла, и
Рѣсницы длинныя свои
Склоня къ колѣнамъ, какъ маэстро,
Карандашемъ, подъ громъ оркестра,
Чертила что-то.
Гордый Листъ,
Извѣстный вамъ фортепьянистъ,

Когда изъ Венгріи опальной
(Артистовъ модный идеалъ)
Онъ прилетѣлъ и взволновалъ
Нашъ сѣверъ славой музыкальной,
Ее недаромъ посѣтилъ:
Былъ пьянъ и геніально милъ.

Недаромъ Щепкинъ знаменитый,
Поборникъ Гоголя маститый,
Ея гостямъ «Разъѣздъ» читалъ,
Смѣшилъ, смѣялся и зѣвалъ.

Недаромъ зеленью, цвѣтами
Въ морозъ крещенскій убрала
Она свой уголъ, и была
Всегда особенно мила
Съ московскими профессорами.
Стихи читала, какъ поэтъ,
Хоть и безъ лишнихъ декламацій,
И на защиту диссертацій
Ѣзжала въ университетъ.
Недаромъ въ обществѣ старались
Ей потихоньку подражать:
Хвалили, громко заступались,
Или за нравственность боялись,
И торопились клеветать.
Но ложь была такого рода,
Такая радужная ложь,
Что ей завидовала мода
И восхищалась молодежь.

Баронъ былъ мужъ довольно вялый,
Не дѣлалъ ни добра, ни зла;
Жена, конечно, не могла

При немъ быть женщиной отсталой.
У ней былъ сынъ—неглупый малый,
Но недогадливый—въ отца;
Когда онъ въ зеркало глядѣлся,
Чертами своего лица
Онъ любовался и вертѣлся:
И этого-то молодца
Училъ Камковъ. Воображаю,
Какъ онъ внушалъ, какъ прививалъ
Онъ философію къ лѣнтяю.

Однажды, право, я не знаю,
Кто баронессѣ подсказалъ,
Что это—золото-учитель,
Что онъ магистръ и сочинитель,
Что онъ, какъ древній Ювеналъ,
Не только знаетъ по-латынѣ.
Но, что́ довольно рѣдко нынѣ,
Прочелъ Гомера до конца,
И такъ же изучилъ глубоко
Языкъ боговъ и духъ слѣпца,
Какъ баронесса Поль-де-Кока.

Такая новость не могла
Не изумить ее сначала;
Но баронесса отвѣчала
Спокойно,—то-есть солгала,
Не покраснѣвъ:—я это знала,
Для сына я его брала...
Потомъ какъ будто испугалась,
Пошла и сѣла въ уголокъ,
Когда Камковъ давалъ урокъ.

Черезъ недѣлю оказалось,
Что онъ, хотя и латинистъ,

Но вовсе не семинаристъ,
И такъ же знаетъ по-французски
И по-нѣмецки, какъ по-русски.

Какъ говоритъ онъ! Боже мой,
Какъ милъ!

Упала съ глазъ завѣса:
Онъ человѣкъ передовой,
Вообразила баронесса.

Ему восторженно внимать,
Ему безмолвно поклоняться,
За нимъ карету посылать,
Задерживать и въ свѣтъ толкать,
И за Камкова распинаться—
Она повсюду, гдѣ была,
За первый долгъ себѣ сочла.
Не будь Гамлетомъ мой ученый,
Онъ натолкнулся бы на грѣхъ.
Рѣшись онъ смѣло быть вороной
Въ павлиньихъ перьяхъ,—и успѣхъ
Его завидный ждалъ бы въ свѣтѣ;
Но, бѣдный, на чужомъ паркетѣ
Онъ спотыкаться не желалъ,
Себя цѣнилъ и наблюдалъ.
Любилъ онъ юность, свѣжесть, стройность,
Наряды, штофы, зеркала,
Картины, мраморъ, даже зла
Наружную благопристойность:
Не приглядѣвшись ни къ чему,
Онъ все любилъ,—но не по страсти
Къ кумирамъ, и не потому,
Чтобъ вѣрилъ,—нѣтъ, Камковъ отчасти

По складу сердца былъ артистъ,
А по уму идеалистъ.
И не людей онъ ненавидѣлъ,
Нѣтъ! въ нихъ таинственной судьбы
Онъ временную жертву видѣлъ,
Непризванную для борьбы.
Конечно, къ дикимъ отношеньямъ,
Отъ поколѣнья къ поколѣньямъ
Переходящимъ, какъ завѣтъ,
Онъ чувствовалъ антипатію,
Но... какъ дитя, любилъ Россію,
И вѣрилъ въ то, чего въ ней нѣтъ.

Всегда съ протянутой рукою
Баронъ Камкова принималъ;
Передъ ученою женою
Онъ какъ-то смутно сознавалъ
Свое ничтожество; являлся
На полчаса, финтилъ, игралъ
Съ собачкою,—и пропадалъ.
Женѣ во всемъ онъ довѣрялся,
И о Камковѣ отзывался,
Что это *перлъ*. Что жь? можетъ быть,
Онъ зналъ (недаромъ же учился),
Какъ неприлично походить
На пѣтуха, который рылся
Въ навозѣ—и *нашедъ* зерно
Жемчужное: «Къ чему оно?»
Воскликнулъ и распѣтушился.

А между тѣмъ мой старый другъ,
Въ навозѣ рывшійся пѣтухъ,
Пѣтухъ, какъ всѣ... обыкновенный,

Былъ и понятнѣй и сноснѣй
(А можетъ быть и не глупѣй)
Иной, глубоко современной
Намъ критики: онъ не желалъ
Чудеснаго соединенья
Душеспасительныхъ началъ
Съ жемчужинами вдохновенья.
Нашедъ жемчужное зерно,
Онъ не желалъ, чтобы оно,
Не переставши быть жемчужнымъ,
Могло быть для закуски нужнымъ.
Онъ просто-напросто не зналъ
Ему цѣны, и браковалъ.
Конечно, столь же откровенныхъ,
Фортуною благословенныхъ,
Я знаю много пѣтуховъ.
Они кричатъ намъ: «для голодныхъ
«Не нужно украшеній модныхъ,
«Не нужно вашихъ жемчуговъ—
«Изящной прозы и стиховъ.
«Мы для гражданства не видали
«Отъ музы никакихъ заслугъ:
«Стихи безплодны, какъ жемчугъ.
«Прочь,—это роскошь!» Но едва ли
У этихъ бѣдныхъ пѣтуховъ,
Опровергающихъ искусство,
Изящное простыло чувство
Для *настоящихъ жемчуговъ?*

Итакъ, мой бѣдный другъ Камковъ
Барономъ не былъ забракованъ:
Онъ скоро былъ рекомендованъ
Всѣмъ знаменитостямъ,—инымъ
Онъ нравился умомъ своимъ,

Оригинальнымъ и живымъ,
Другими самъ былъ очарованъ.

Въ тѣ дни Тургеневъ молодой
Еще на пажитяхъ чужой
Науки думалъ сѣять розы;
Глядѣлъ на женщинъ, какъ герой;
Писалъ стихи, не зная прозы,
И былъ преслѣдуемъ молвой
Съ какимъ-то юношескимъ жаромъ,
Что суждено ему недаромъ
Ходить съ большою головой...

Аксаковъ былъ еще моложе;
Но—юноша—глядѣлъ онъ строже
На жизнь, чѣмъ патріархъ иной.
Весь до костей проникнутъ вѣрой
Въ туманный русскій идеалъ,
Онъ счастье гордо отрицалъ
И называлъ любовь химерой.
Краснорѣчивый Хомяковъ,
Славянства чуткій предвозвѣстникъ,
Камкову былъ почти ровесникъ.
Камковъ нерѣдко съ первыхъ словъ
Сходился съ ними. Разговоры
Ихъ часто до пяти часовъ
Утра тянулись. Эти споры
Звалъ мой насмѣшливый Камковъ
Взаимнымъ щупаньемъ головъ.
Иные на него косились,
Потомъ какъ будто ничего
Въ немъ не нашли,—и подружились.
Иные, раскусивъ его,
Тянули на свою дорогу,

Ему замазывали ротъ,
И льстили,—словомъ, понемногу
Заманивали въ свой приходъ...
Иные... но мы только знаемъ,
Что онъ въ сороковыхъ годахъ
Былъ на виду, былъ приглашаемъ,
И сталъ являться на балахъ.
Вотъ онъ на улицу выходитъ
Въ енотѣ, въ шляпѣ и кашне.
Ужь ночь. Все глухо. Въ сторонѣ
Собака лаетъ... кто-то бродитъ...
Мятель, шумя по чердакамъ,
Съ дощатыхъ кровель снѣгъ сдуваетъ;
Фонарь таинственно мигаетъ
Двумъ отдаленнымъ фонарямъ;
Закрыты ставни у сосѣдей;
Высоко гдѣ-то на стеклѣ
Свѣтъ огонька дрожитъ во мглѣ.
— Вотъ подлинно страна медвѣдей!
Самъ про себя Камковъ ворчитъ,
Въ карманъ свои перчатки суетъ,
Глядитъ:—ну такъ, платокъ забытъ!—
И мой герой съ досады плюетъ.
Вотъ ѣдетъ Ванька. «Ванька—стой!
Не повали меня!» онъ проситъ,
И въ сани ногу онъ заноситъ
И ѣдетъ. Носъ его поникъ
Въ заиндевѣлый воротникъ;
Извозчикъ клячу погоняетъ;
Камковъ сидитъ и размышляетъ:
— Кой чортъ несетъ меня туда?
А впрочемъ, что же за бѣда!
Балъ охраняетъ нашу личность,

Такъ какъ никто—и... генералъ
И тотъ не скажетъ неприличность
Тому, кто приглашенъ на балъ,
Хотя бы этотъ приглашенный
Былъ самый жалкій подчиненный.
Балъ нашихъ женщинъ обновилъ
И насъ съ Европой породнилъ.

Такъ ѣдучи да размышляя
О томъ, о семъ, онъ у Тверскихъ
Воротъ очнулся. Десять бьетъ
На монастырской башнѣ. Вотъ
И Дмитровка. Освобождая
Свой носъ, глядитъ онъ: у воротъ
Четыре плошки,—въ бель-этажѣ
Сіяютъ окна,—экипажи
Пустые ѣдутъ со двора:
Надъ ихъ двойными фонарями
Торчатъ, какъ тѣни, кучера.
Одинъ изъ нихъ: «куда ты, лѣшій!»
Кричитъ на Ваньку въ воротахъ:
«Опѣшилъ, что ли?»—Самъ опѣшилъ!—
Бормочетъ Ванька впопыхахъ;
И барина благополучно
Подвозитъ пó двору къ сѣнямъ,
На зло суровымъ кучерамъ.

Камковъ идетъ; ему не скучно;
Онъ радъ внезапному теплу;
Онъ всѣмъ доволенъ: завываньемъ
Оркестра, вазой на углу
Воздушной лѣстницы, сниманьемъ
Салоповъ, обнаженныхъ плечъ

Благоуханной бѣлизною,
Блондинкою, что передъ нимъ
Идетъ легко, шурша своимъ
Атласомъ,—стройная,—одною
Рукою платье приподнявъ,
Другую опустивъ съ букетомъ.

Камковъ былъ правъ, смѣясь надъ свѣтомъ.
Но, и любуясь, былъ онъ правъ,
Когда на все глядѣлъ поэтомъ.

Вотъ, посреди толпы живой,
Онъ озаренный залъ проходитъ.
Тутъ, слава Богу, мой герой
Два или три лица находитъ
Ему знакомыхъ; ухватилъ
За пуговицу, чуть не обнялъ
Его одинъ славянофилъ,
И, милый спорщикъ, тутъ же поднялъ
Вопросъ: чѣмъ вѣче началось
Новогородское?—Вопросъ
Не бальный, но зато мудреный.
— Мірскою сходкой, отвѣчалъ
Ему Камковъ. Захохоталъ
Славянофилъ; но споръ ученый
Былъ какъ-то скоро прекращенъ.
Ихъ разлучили.—Съ двухъ сторонъ,
Танцующихъ гремя подъемлетъ
Летучій вальсъ своимъ жезломъ;
Толпа ему послушно внемлетъ;
Вотъ подъ его пѣвучій громъ
Несутся пары.—Вотъ, кругомъ
Тѣснятся зрители.—Межъ ними,

Засунувъ палецъ подъ жилетъ,
Стоитъ, весь въ черное одѣтъ,
Съ лицомъ задумчивымъ, съ живыми
Глазами, съ складкою на лбу,
Камковъ, какъ нѣкій вождь, впервые
Вдали заслышавшій пальбу.

О чемъ онъ думаетъ, въ какія
Мечты душою погруженъ?
Кого въ толпѣ замѣтилъ онъ,
За кѣмъ слѣдитъ онъ такъ прилежно?

Въ числѣ танцующихъ была
Одна особенно мила.
Нѣжна, какъ ландышъ самый нѣжный,
Свѣжа, какъ роза. На плечахъ
У ней (не только на щекахъ)
Игралъ застѣнчивый румянецъ;
Игралъ онъ даже на локтяхъ,
Когда ее, какъ деспотъ, танецъ
На середину увлекалъ.
Въ ея глазахъ огонь пугливый
То вспыхивалъ, то померкалъ;
Она переходила залъ
То медленной, то торопливой
Походкой;—такъ была робка,
Такъ граціозно неловка,
Такъ непохожа на плутовку,
Что странно, кто рѣшиться могъ
Надѣть вакхическій вѣнокъ
На эту дѣтскую головку.

Она дитя,—но кто она?
Камковъ невольно знать желаетъ.

— Кажись, Таптыгина княжна,
Ему знакомый отвѣчаетъ,—
—А впрочемъ, право, чортъ ихъ знаетъ!..
Я, можетъ-статься, и совралъ.
У ней,—онъ вяло продолжалъ,
Поднявъ лорнетъ,—недуренъ профиль...
Но я, товарищъ старый мой,
На все гляжу, какъ Мефистофель.
Что дѣлать? пожилъ, братецъ мой,
И вкуса въ сливахъ недозрѣлыхъ
Не вижу:—вяжутъ, чортъ возьми!
Люблю я барынь угорѣлыхъ
Лѣтъ, этакъ, двадцати восьми...
. . . . . .

Камковъ немножко удивился
Такимъ рѣчамъ,—посторонился,
И на знакомца своего
Взглянулъ съ усмѣшкой. Для него
Такого рода мнѣнье было
Довольно ново и—смѣшило.

Вотъ началась кадриль—одна,
Другая, третья,—кто ихъ знаетъ
Какая?! Балъ не отдыхаетъ.
Въ фигуры переплетена,
Толпа скользитъ,—перебѣгаетъ
Рука къ рукѣ,—по жемчугамъ,
По бриллiянтамъ, по цвѣтамъ,
По золоту огонь играетъ,
Тѣнь бѣгаетъ по рукавамъ,
И музыка, гремя, сливаетъ
Людскiя рѣчи въ птичiй гамъ.

Кто ихъ подслушаетъ—едва ли
Съ невольной грустью не вздохнетъ.
Да, въ нашемъ обществѣ на балѣ
Тотъ и уменъ, кто больше вретъ.

Греми же, музыка, сильнѣе!
Рычи, охриплый контрабасъ!
Пускай никто не слышитъ насъ;
Себя же слушать не краснѣя
Давно привыкли мы,—и намъ
Недостаетъ лишь только дамъ,
Чтобъ быть подчасъ еще пустѣе.

Камковъ кадрилей не считалъ,
Но такъ глядѣлъ, и такъ вникалъ,
Какъ будто, право, каждый бантикъ
Въ нарядахъ дамскихъ изучалъ.
Философическій романтикъ,
Быть можетъ, въ танцахъ открывалъ
Онъ всенародное значенье;
Слѣдя, быть можетъ, за княжной,
Онъ дѣвственною красотой
Проникнутъ былъ до умиленья,
Сбираяся на этотъ балъ,
Онъ, вѣрно, Шиллера читалъ.
Но тотъ, кто вѣчно наблюдаетъ,
Тотъ часто ходитъ какъ слѣпой.
Такъ скромный наблюдатель мой
Рѣшительно не замѣчаетъ,
Какъ отъ него близка гроза,
И чьи ревнивые глаза
За нимъ давно слѣдятъ на балѣ.

Вотъ три часа. Въ сосѣднемъ залѣ,
По двумъ раздвинутымъ столамъ,
Приборы ставятъ. По угламъ
Сидятъ разрозненныя пары.
Кому до танцевъ дѣла нѣтъ,
Идетъ въ хозяйскій кабинетъ
Курить хозяйскія сигары.
Вотъ и мазурка. Пышный балъ
Подходитъ къ ужину. Усталъ
Камковъ; ужь онъ спѣшитъ убраться,
Ужь онъ спиной къ дверямъ стоитъ,
Но баронесса оставаться
Ему до ужина велитъ.

Играя вѣеромъ, вздыхая
Всей грудью,—словно отдыхая,
Она задумчиво сидитъ.
Онъ долженъ низко наклоняться,
Чтобъ слушать;—дама говоритъ:

— Вы не хотѣли увлекаться,
И не хотѣли танцовать,
Я,—надо правду вамъ сказать,—
Васъ изучаю...
— Много чести...
— Нѣтъ... увѣряю васъ безъ лести,
Что вы предобрый человѣкъ,
Но, знаете!—больной нашъ вѣкъ
Вамъ повредилъ,—вашъ умъ озлобленъ
И сердце спитъ,—не грѣхъ ли вамъ?
— Нѣтъ, баронесса, я къ баламъ
Былъ съ юныхъ лѣтъ неприспособленъ:
Когда я гимназистомъ былъ,
Я все змѣйки пускать любилъ;

Когда въ студенты поступилъ,
Я самого себя пустилъ
Подъ облака, и въ нихъ терялся,
Леталъ—пока не оборвался.
Такъ прозѣвалъ я жизнь и свѣтъ.
Танцмейстеру же въ тридцать лѣтъ
Платить за рѣзвые уроки,
И прыгать въ образѣ сороки
Смѣшно тому, кто учитъ самъ—
Судить людей не по ногамъ.
— А знаете, что я желаю
Быть вашей ученицей,—и
Боюсь...
— Я васъ не понимаю.
— Недавно съ вами о любви
Я спорила... вы слишкомъ строги;
Вы забываете, что мы
Простые люди, а не боги...
Конечно, жить въ стѣнахъ тюрьмы
Я не хочу,—но и на волѣ
Нельзя всегда на свѣтъ безъ боли
Глядѣть. Вы хоть немножко тьмы
Намъ дайте,—для отдохновенья,—
Ну... хоть немножко,—для меня...
Камковъ любилъ опредѣленья;
(Педантъ—не правда ли, друзья?!)
— Что значитъ ваша тьма? Позвольте
Спросить,—къ роскошному плечу
Склонясь, бормочетъ онъ.
—Увольте
Отъ объясненій,—не хочу
Я объясняться... отвѣчаетъ
Она поспѣшно. На щекахъ

У ней румянецъ,—на губахъ
Усмѣшка,—тихо пожимаетъ
Она плечомъ,—опять глядитъ
Ему въ лицо и говоритъ:
— Что значитъ тьма? Да развѣ съ вами
Былъ вѣчно свѣтъ? Да развѣ сами
Вы... не блуждали никогда?
Ни разу не были счастливы?
— Я? никогда!
— Ужели?
— Да!..
— Такъ что жь вы такъ краснорѣчивы!
— Вы убиваете меня...
Но, баронесса, если я,
Въ моихъ невольныхъ увлеченьяхъ,
Одно мученье почерпалъ,
Метался, путался въ сомнѣньяхъ,
Какъ-будто выхода искалъ
Изъ лабиринта иль хаоса,
И, если самая любовь
Глядѣла на меня такъ косо,
Что въ жилахъ не кипѣла кровь,
А застывала,—неужели
За это надо васъ просить
Меня, какъ варвара, казнить...
Прощайте!—накрываютъ ужинъ.
Какъ кавалеръ, я вамъ не нуженъ,
Къ тому же... право—сплю давно—
И даже брежу...
— Уѣзжайте,
Богъ съ вами! Мнѣ самой пора.
Итакъ, М-г Камковъ, прощайте...
И... до свиданья... до утра...

ГЛАВА III.

Ночь на исходѣ. Снѣжнымъ комомъ,
Уединенна и блѣдна,
Виситъ надъ кровлями луна,
И дымъ встаетъ надъ каждымъ домомъ,
Столбообразнымъ облакамъ
Подобно, медленно и грозно
Онъ къ потухающимъ звѣздамъ
Ползетъ.
Неужели такъ поздно?!
Лѣниво удаляясь прочь,
У башенъ спрашиваетъ ночь.
Который часъ?
— Ужé девятый!
Звонитъ ей Спасская въ отвѣтъ,
И ночь уходитъ. Ей вослѣдъ
Глядитъ, зардѣвшись, кремль зубчатый
Сквозь призму неподвижной мглы.
Надъ сѣрыми его зубцами
Кресты, и вышки, и орлы
Горятъ пурпурными огнями,
И утро съ розовымъ лицомъ
Стучится въ ставни кулакомъ:
«Вставай, лѣнтяй! вставай, затворникъ!»

И просыпается Камковъ.
Уже къ нему съ вязанкой дровъ
Ввалился неуклюжій дворникъ.
Вотъ онъ на корточкахъ сидитъ
Передъ заслонкою; трещитъ

Подъ пальцами его береста,
И печка топится.
«Морозъ-то
Какой Богъ далъ,—такой лихой,
Что инда *жгетъ*.
— А что, большой?
— Да такъ-себѣ, изрядный: галка,
И та, вишь, мерзнетъ на лету.

Камковъ (ему какъ будто жалко,
Что птицу вольную, и ту
Не пощадилъ морозъ проклятый),
Облокотясь одной рукой
На край своей подушки смятой,
Хандритъ, и кажется ему,
Что онъ похожъ на инвалида,
Что онъ не можетъ ни къ кому
Пристать, какъ каторжникъ безъ вида,
Тайкомъ покинувшій тюрьму;
Что предаваться увлеченьямъ
Не смѣетъ онъ, и на себя
Глядитъ герой мой съ сокрушеньемъ,
И мыслитъ: чортъ возьми тебя,
Камковъ! ты никуда не годенъ.
Вотъ, погляди: мужикъ, сей рабъ,
И такъ здоровъ, а ты свободенъ,
И—непростительно такъ слабъ!
Да я бъ дрова колоть, да я бъ
Таскать тебя заставилъ воду,
Чтобъ ты здоровую свободу
Благословлялъ.
Ну, словомъ, мой
Герой всталъ лѣвою ногой.

Такъ онъ хандрилъ.—Конечно, это
Хандра минутная была,
Но иногда она вела
Его къ стихамъ, произвела
Его для многихъ въ чинъ поэта,
Хоть элегическихъ стиховъ
Своихъ терпѣть не могъ Камковъ.

Блаженъ, кто съ раннею зарею,
Или къ полуденной порѣ,
Проснувшись съ свѣжей головою,
Не спроситъ: что-то на дворѣ?
Какая-то теперь погода?
Кому и счастье и природа
Равно всегда благоволятъ;
Кто сильно молодъ, иль богатъ;
Кому въ минуты пробужденья
Мечта пророчитъ наслажденья,
Поетъ ему: ты мой женихъ,
Сердечный, милый, ненаглядный!
Тебя на крыльяхъ золотыхъ
Я унесу въ чертогъ нарядный:
Тамъ, посреди зеркальныхъ стѣнъ,
Я проведу тебя украдкой
И положу въ истомѣ сладкой
У трепетныхъ *ея* колѣнъ.
Или поетъ: мой другъ, сегодня
Лети на биржу, да бери
Съ собою акцій пукъ, да ври
Безсовѣстнѣй какъ можно, и
Авось для праздника Господня
Попрежнему кого-нибудь
Я помогу тебѣ надуть,

И будешь ты богаче вдвое
И разжирѣешь на покоѣ.

Или поетъ: начальникъ твой
Тебѣ сегодня улыбнется...
Недаромъ у тебя такъ бьется
Сердчишко; ты любимецъ мой;
Повѣрь, что у слѣпой Ѳемиды
Есть на тебя большіе виды,
И наканунѣ именинъ
Къ тебѣ слетитъ желанный чинъ.

Итакъ, друзья, блаженъ кто грѣшенъ
Безъ ссоры съ золотой мечтой;
Кто ласкою ея утѣшенъ,
Тотъ, вѣрно, лѣвою ногой
Не встанетъ съ утренней постели,
Не скоро сброситъ свой халатъ,
И ни морозы, ни мятели
Его блаженства не смутятъ.

Камковъ не долго оставался
Въ своемъ халатѣ, потому
Что было некогда ему.
Онъ брился, мылся, одѣвался:
Ну, словомъ, выѣхать спѣшилъ.
Едва-едва онъ не забылъ,
Что ровно въ десять начинался
Урокъ, что цѣлый пансіонъ
Дѣвицъ учить обязанъ онъ;
Что ученицы молодыя
Нетерпѣливы, что иныя
Съ утра долбятъ: «Платонъ», «Сократъ»,
«Периклъ», «Софоклъ», «Алкивіадъ».

И такъ долбятъ, и такъ спѣшатъ,
Что даже, недоѣвши булки
За чаемъ, посовали ихъ
Въ кармашки фартучковъ своихъ.
Камковъ, какъ вижу я, прогулки
Въ Аѳины съ ними совершалъ,
Ихъ юность въ древность посвящалъ.

Вотъ мой герой напился чаю,
И не въ Аѳины ѣдетъ,—онъ
На ванькѣ ѣдетъ къ Ермолаю
Въ вышереченный пансіонъ,
Туда, гдѣ помавая бровью,
Не разъ онъ съ жаромъ говорилъ,
Гдѣ платонической любовью
Двѣ-три шалуньи заразилъ,
И тѣмъ заставилъ ихъ смириться,
Сидѣть прямѣе, не болтать,
За нимъ въ Элладу улетать,
И чуть не взапуски учиться.

Увы! подснѣжные цвѣты,
Прощайте!.. Выросла крапива,
Дурманъ, цикорій, хмель для пива;
Деревья, травы и кусты
Уже блестятъ въ нарядахъ лѣта,—
Прощайте, дѣтскія мечты!
Вы позабыты въ шумѣ свѣта
Подъ вѣяньемъ житейскихъ грезъ,
Страстей, борьбы, заботъ и слезъ.

Изъ пансіона къ молодому
Барону ѣдетъ мой Камковъ,
(Хоть онъ и несовсѣмъ здоровъ):
Но къ баронессѣ, даже къ дому

Ея, невольно какъ-то онъ
Привыкъ: замѣтно окруженъ
Предупредительнымъ вниманьемъ
Хозяйки,—могъ онъ тамъ курить,
Входить въ гостиную, смѣшить,
Пугать хандрой, иль отрицаньемъ
Житейскихъ всякихъ пустяковъ.

Такъ незамѣтно мой Камковъ
Сталъ баронессѣ тѣмъ пріятенъ,
Что былъ и простъ, и непонятенъ:
Ей нравиться не прилагалъ
Онъ ни малѣйшаго старанья,
А потому и привлекалъ.
Ея намеки иль признанья
Полушутливыя (давно
Другой бы понялъ ихъ: одно
Изъ нихъ мы слышали на балѣ)
Его нисколько не смущали;
Ея пріязнь онъ принималъ
За симпатію убѣжденій;
Другихъ же тайныхъ побужденій
Покуда не подозрѣвалъ.
Такъ, ѣздя на урокъ съ урока,
Въ наукѣ жизни недалеко
Ушелъ ученый мой поэтъ;
Но, говорятъ, кто съ юныхъ лѣтъ
Нѣмецкой мудростью напудренъ,
Не можетъ быть не цѣломудренъ.

Попробуйте вообразить,
Положимъ, Гегеля—Фоблазомъ,
Иль Канта—Казановой: разомъ
Поймете вы, что совмѣстить

Такіе типы высшій разумъ
И тотъ не въ силахъ. Только бракъ
И можетъ сочетать съ наколкой
Философическій колпакъ;
И если—кофе и табакъ
Сольются запахами,—смолкой
Ихъ духъ не выкуришь никакъ.

Не странно ль!—Эти замѣчанья,
Позднѣй, въ часъ горькаго признанья,
Отъ самого Камкова я
Подслушалъ. Самого себя
Онъ не щадилъ нисколько. Съ этимъ
Глумленьемъ надъ самимъ собой
Онъ былъ (мы отъ себя замѣтимъ)
Гамлетомъ съ русскою душой.
И вспомнимъ кстати, что Гамлета
Тургеневъ громко освисталъ;
Но кто же, кто имъ не бывалъ
Изъ тѣхъ, кто мыслилъ и страдалъ,
Кто раболѣпно не склонялъ
Колѣнъ предъ идолами свѣта,
Кто сердце честное ломалъ
Объ ихъ желѣзный пьедесталъ:
И кончилъ тѣмъ, что притворился
Юродивымъ, или смирился?..

Отъ баронессы мой герой
Спѣшитъ обѣдать то въ кофейной,
То у друзей, или домой
Летитъ забиться въ уголъ свой,
Заняться новой книжкой Гейне,
Прочесть романа свѣжій томъ,
Иль углубиться надъ трудомъ

Историка. Все, отъ Гиббона
До современнаго Прудона,—
Онъ все читалъ, какъ будто медъ
Изъ нихъ высасывалъ. Но тотъ,
Кого считалъ онъ великаномъ,
Кто въ черепѣ своемъ вмѣщалъ
Весь міръ, хотя и прикрывалъ
Философическимъ туманомъ
Зерно идей своихъ, чей взоръ
Въ границахъ отыскалъ просторъ,—
Нашелъ, что духъ всему основа,
Для малаго и для большого,
Для зла и для добра,—и то,
Что абсолютное ничто
Всему есть вѣчное начало;
Ну, словомъ, Гегель для него
Былъ первый другъ и запѣвало.
Изъ отвлеченностей его
Онъ много разныхъ истинъ вывелъ
И даже—чуть не оплѣшивѣлъ.

О! часто думалъ я,—родись
Камковъ мой въ Мюнхенѣ, въ Берлинѣ—
Въ философическую высь
Ушелъ бы мой герой, и нынѣ,
Быть можетъ, въ парикѣ, въ очкахъ,
Шумѣлъ бы съ каѳедры,—писалъ бы
Трактатъ ученый,—издавалъ бы
Въ ста двадцати пяти частяхъ
Иль выпускахъ свои творенья;
Въ нихъ разрѣшилъ бы всѣ сомнѣнья,
Доволенъ былъ бы самъ собой,
Своей дешевою сигаркой,
Сантиментальною кухаркой,
Или кухаркою-женой,

Своимъ уютнымъ, скучнымъ домомъ,
И докторскимъ своимъ дипломомъ,
И—былъ бы счастливъ.

Не таковъ
Былъ мой талантливый Камковъ.
Онъ радъ былъ день и ночь трудиться,
Но увѣрялъ, что не годится
Въ московскіе профессора,
И увѣрялъ, что самъ предвидитъ,
Какъ ничего изъ-подъ пера
Его хорошаго не выйдетъ.

«Я, говорилъ онъ,—я похожъ
На скрипача. Едва начнешь
Играть въ своей каморкѣ тѣсной
Какой-нибудь концертъ,—едва
Смычокъ, струна и голова
Сольются въ музыкѣ чудесной,
Какъ вдругъ какой-нибудь сосѣдъ,
Больной подагрой иль чахоткой,
Стучится за перегородкой
И вамъ кричитъ:—Эхъ, мочи нѣтъ,
Мнѣ ваша скрипка спать мѣшаетъ!»
И вотъ чувствительный скрипачъ
Отъ струнъ смычокъ свой отрываетъ,
И въ нѣжномъ сердцѣ ощущаетъ
Такую злобу, что хоть плачь.
Вотъ ночь проходитъ. Солнце всходитъ.
На скрипача опять находитъ
Охота душу отогрѣть,
И вотъ, опять смычкомъ онъ водитъ,
И вотъ ужь гимны сталъ онъ пѣть.

— Чу! кто тамъ?—Отъ хозяйки Прошка.
Зачѣмъ ты?—Начали говѣть
И просятъ погодить немножко,
Недѣльку эту не скрипѣть...
И вспомнилъ онъ, что и намедни
Его просили не играть,
Затѣмъ, что попъ прошелъ къ обѣдни.
Что дѣлать бѣдняку? Искать
Другое мѣстопребыванье,
Иль оказать непослушанье?...
А такъ какъ робость на него
Нашла, что выгонятъ его
Съ квартиры на морозъ безъ денегъ,—
Карманъ-то, видно, былъ пустенекъ,—
То вы изъ этого всего
И выводите заключенье...».

Камковъ былъ мастеръ на сравненья;
Онъ, вѣроятно, испыталъ,
Что значатъ камни преткновенья,
И съ видомъ остряка желалъ
Передъ друзьями оправдаться.
Но онъ отъ этого, признаться,
Ни выигралъ, ни проигралъ.

Чудакъ! писалъ бы, да писалъ,
И вѣрно бы не хуже многихъ
Судей рѣшительныхъ и строгихъ *)
Къ намъ въ просвѣтители попалъ.
Чего ему недоставало?
Знать, не было геройства? Да,

*) Стихъ А. Пушкина.

Такого свойства, господа,
Въ моемъ героѣ было мало,
А безъ геройства, чортъ возьми,
Какъ трудно вѣдаться съ людьми!

Уроки, чтенье, споры... Боже!
Ужели все одно и то же?
Но дни бѣгутъ, какъ за волной
Волна, сказалъ бы я въ сравненье,
Когда бы съ русскою зимой
Могло мое воображенье
Себѣ представить волнъ теченье...
Стояли рѣки въ берегахъ,
Но дни къ веснѣ текли,—и ночи
Замѣтно дѣлались короче,
Хотя попрежнему морозъ
Знобилъ народъ, и зябкій носъ
Краснѣлъ порядкомъ. Но едва ли
На то вниманье обращали
Всѣ тѣ, кому вездѣ тепло,
Куда бы ихъ ни занесло.

Пусть въ берегахъ рѣка застыла
И снѣгу много намело.
Москва попрежнему кутила
Природѣ пасмурной на зло.
Въ сердцахъ, по милости лохматыхъ
Шкуръ, содранныхъ съ лисицъ, волковъ,
Медвѣдей, котиковъ, бобровъ,
Звѣрей, ничѣмъ не виноватыхъ,
По милости печей и дровъ,
Играла кровь, вставали страсти,

Просили счастья, денегъ, власти,
И волновалися зимой
Еще сильнѣе, чѣмъ весной,
Однимъ на смѣхъ, другимъ на горе.

И вотъ, нечаянной волной
Страстей волнуемое море
Плеснуло даже на него...
Да-съ, на героя моего
Оно плеснуло. Онъ забылся,—
Не остерегся и влюбился,
Какъ нѣкій отрокъ. Но въ кого,
Вопросъ?—Ужели въ баронессу?
Что жь, развѣ это мудрено!
Ей двадцать девять слишкомъ; но
Она свѣжа, она повѣсу
Любого можетъ вдохновить
И сонъ блаженства подарить.
И этому Бальзакъ нисколько
Не удивился бы. Отецъ
Тридцатилѣтнихъ дамъ настолько
Зналъ глубину людскихъ сердецъ,
Что зрѣлыхъ женщинъ страсти зрѣлой
Онъ отдалъ пальму первенства
Передъ волненьями едва
Не плачущей, въ любви несмѣлой,
Неловкой дѣвушки. Онъ зналъ,
Конечно, для кого писалъ.
Камковъ и самъ былъ почитатель
Большой Бальзака,—для него
Онъ былъ съ достоинствомъ писатель,
Но не оракулъ; оттого,
Быть можетъ, что въ его натурѣ

(Равно какъ и въ его фигурѣ)
Вы не нашли бы ничего
Французскаго. Камковъ повѣсой—
Увы!—ни разу не былъ, и
Поэтому, друзья мои,
Не могъ плѣниться баронессой:
Онъ къ ней привыкъ, и такъ сказать,
Ужь слишкомъ началъ уважать
Въ ней умъ и сердце; а извѣстно,
Какъ это чувство неумѣстно
Тамъ, гдѣ великій самодуръ
Шалитъ и тѣшится Амуръ!
Амуръ—и мой Камковъ! признаться,
Довольно странная игра
Судьбы, но мнѣ давно пора
Судьбѣ ни въ чемъ не удивляться.

ГЛАВА IV.

Судьба, ты русло жизни. Рядъ
Случайностей неуловимыхъ:
Неровность почвы, цѣпь преградъ,
То шаткихъ, то неодолимыхъ,
Опредѣляетъ вѣчный скатъ...

Жизнь русская не водопадомъ
Слетѣла съ каменныхъ вершинъ,
Не сыпалась жемчужнымъ градомъ
И не спѣшила средь долинъ,
Освободясь отъ пышной пѣны,
Подъ сѣнью дремлющихъ руинъ,
Плескаться въ мраморныя стѣны,

И не видала надъ собой
Протянутую въ золотой
Коронѣ листьевъ—роскошь сада,
Плетенку съ кистью винограда.

Нѣтъ! наша жизнь текла иной
Дорогой,—тихою рѣкой;
Надъ ней таинственно шумѣли
Непроходимые лѣса,
И сѣверныя небеса
Въ ней отражались...
Помню мели
Песчаныя, волнистой мглой
Подернутыя,—сосны,—ели,
Солому,—копоть,—волчій вой,—
Пѣснь заунывную,—далекій
Звонъ колокола,—одинокій
Шалашъ,—костеръ,—кой-гдѣ слѣды
Пожара, да изъ-подъ воды
Виднѣющіеся пороги.

И долго я искалъ дороги,
И медленно, гдѣ только могъ,
Я плылъ, толкая мой челнокъ;
И вѣрилъ я въ существованье
Иныхъ, счастливыхъ береговъ:
Мнѣ говорилъ о нихъ Камковъ,
Герой недавняго преданья.

Неразъ, въ излучинахъ рѣки,
Сходились наши челноки...
Онъ старше былъ, пловецъ усталый,
Я былъ предъ нимъ ребенокъ малый,

И онъ училъ меня весломъ
Махать смѣлѣе. Вдругъ пахнуло
На насъ мятелью... Все кругомъ
Вдругъ побѣлѣло, и потомъ
Его чуть въ тину не втянуло,
Меня чуть не затерло льдомъ.

И я мой челнъ разбитый бросилъ.
Порой на берегъ выхожу:
Тамъ вижу я обломки веселъ,
И пригорюнившись сижу...

Взломало ледъ—и тѣ же волны
Стремятся вдаль, и по волнамъ
Плывутъ другихъ другіе челны
Къ обѣтованнымъ берегамъ.
Привѣтъ вамъ, братья! Путь счастливый!
Я, по пословицѣ правдивой:
«Рыбакъ узнаетъ рыбака»,
Васъ узнаю издалека.

Привѣтъ вамъ, братья! Но не знаютъ...
Знать не хотятъ... не узнаютъ...
И на привѣтъ не отвѣчаютъ,
И мимо берега плывутъ...

Кто въ самого себя лишь вѣритъ,
И говоритъ, что вѣра въ немъ
Еще кипитъ живымъ ключемъ.
Тотъ или недалекъ умомъ,
Иль очень тонко лицемѣритъ.
Что значитъ вѣрить въ самого

Себя!?... въ себя,—въ свою особу!—
Нулемъ быть, подвигаться къ гробу
Отдѣльной точкой, ничего
Кругомъ не видѣть, злою жаждой
Томиться вѣчно, ибо каждый
Изъ насъ, какихъ бы ни былъ силъ,
Одинъ—ничтожество, и геній,
Безъ дружныхъ рукъ, безъ увлеченій
Простынетъ, если не простылъ.

Гдѣ сердце тухнетъ, гдѣ не свѣтитъ
Сей факелъ гордаго ума,
Тамъ, можетъ быть, вопросовъ тьма
Изъ жизни встанетъ; жизнь отмѣтитъ
Ихъ, можетъ быть, но не отвѣтитъ
Ни на одинъ изъ нихъ...
Любви!
Огня, огня побольше!

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Давно одинъ сижу я дома,
Не слышу прежнихъ голосовъ...
И снится мнѣ мой другъ Камковъ,
Невольно снится!
Вамъ знакома
Его каморка—стало-быть,
Начну короче говорить.

Что дѣлаетъ Камковъ? Читаетъ?
Статью ли пишетъ? Нѣтъ, страдаетъ.
Но—что за вздоръ! ужели онъ
Серьезно, не шутя влюбленъ!
Спросите. Этого не знаетъ
Пока никто, а за него
Я, право, не могу ручаться,
Онъ можетъ вдругъ опять приняться
За философію. Тогда
Мы будемъ съ носомъ, господа,
И первый буду я сконфуженъ.
Скажите, безъ любви кому
Тогда романъ мой будетъ нуженъ?
Конечно, другу моему
Не чужды были увлеченья,
Но—это были треволненья,
Похожія на вдохновенья:
Онъ какъ-то вспыхивалъ и—гасъ.
Я знаю, что Камковъ не разъ
Плѣнялся красотою женской,
То городской, то деревенской,
Плѣнялся выраженьемъ глазъ,
Плѣнялся милой простотою
(Неужто болѣе ничѣмъ?).
Но онъ до глупости былъ нѣмъ,
Суровъ до самоотреченья,
До невозможности желать
Взаимности... Я размышленья
Его могу вамъ передать.
—Камковъ! онъ думалъ:—ты опять
За старое... тебѣ ли съ рыломъ
Суконнымъ да въ гостиный рядъ!
Ты въ одиночествѣ уныломъ

Уже заплѣсневѣлъ, измятъ
Ты рано внутренней борьбою...
И ничему не поддался,
И ни за чѣмъ не погнался.
Тебѣ ль роскошничать! Что страсти?!—
Вѣдь это роскошь жизни. Мнѣ ль
Сгорать и млѣть у нихъ во власти?
Вонъ, на дворѣ шумитъ мятель...
Въ окошки дуетъ... сыро, чадно...
Бюстъ Пушкина одинъ парадно
Стоитъ и лоснится въ углѣ.
Поэтъ! спасибо (хоть за это,
Бѣднякъ, благодарипоэта!)...
Вонъ, безпорядокъ на столѣ,
И старыхъ лексиконовъ томы
Такими кислыми глядятъ,
Что, кажется, чихнуть хотятъ.
Увы! въ такія ли хоромы,
Къ инымъ мечтамъ пріучена,
Взойдетъ она—моя жена,
Иль хоть любовница?.. Быть можетъ,
Любовь моя все превозможетъ.
(Все можетъ статься на бѣду!)
Чѣмъ я отпраздную побѣду?
Вдвоемъ съ ней къ Печкину пойду
Или въ Сокольники поѣду?..

. . . . . .

Извольте видѣть, господа,
Какъ размышлялъ онъ иногда.
И размышляй всегда онъ этакъ,
Я бъ убѣдился напослѣдокъ,

Что изъ героя моего
Не выйдетъ ровно ничего.
Байронствующій Подколесинъ,
Онъ былъ бы для меня несносенъ.
Но не любилъ онъ, а мечталъ:
Неизъяснимой идеалъ
Неизъяснимой красотою
Его дразнилъ, манилъ и ждалъ.
Передъ больной его душою
Онъ встанетъ тѣнью молодой,
Неуловимой, роковой,
И умъ его не развѣнчаетъ,
Ея чела... Недаромъ онъ
Какъ бы предчувствіемъ страдаетъ—
Какъ будто чѣмъ-то огорченъ,
Сердитъ,—и не подозрѣваетъ,
Какъ онъ великъ и какъ смѣшонъ.

Вотъ онъ на циферблатъ косится,
Семи часовъ зачѣмъ-то ждетъ,
Какъ-будто опоздать боится,
И въ то же время тайно злится,
Что стрѣлка медленно ползетъ.

У баронессы онъ обѣдалъ,
И хоть шампанскаго отвѣдалъ,
Но былъ не веселъ, и домой
Пришелъ сердитый.
—Боже мой!
Ему сказала на прощанье
Жена барона:—васъ просить
Хотятъ черезъ меня, учить
Одно премилое созданье.

Княжну Таптыгину. Ей лѣтъ
Шестнадцать, и она ужь въ свѣтъ
Пустилась. Думаю, учиться
Ей некогда; къ тому жь она
Собою очень недурна;
За нею станутъ волочиться,
И ужь волочатся.
—Но я,
Сказалъ Камковъ,—ужь двѣ недѣли
Хожу *къ нимъ* въ домъ, и вамъ меня
Просить не нужно.
—Въ самомъ дѣлѣ!..
Уже?!
И взоръ ея скользнулъ
Куда-то въ сторону! Минута
Прошла въ молчаньѣ. Почему-то
Герой мой фракъ свой застегнулъ,
Вздохнулъ и руку протянулъ
За шляпой.
—Признаюсь вамъ,—рада
Я за княжну, но не за васъ...

—Во всякомъ случаѣ мнѣ надо
Спѣшить домой... Который часъ?

—Опять домой! Ну, погодите,
Не важничайте. Разскажите...
Неужели не скучно вамъ
Сидѣть съ княжной и по складамъ
Ее учить! Княжну я знаю:
Она мнѣ дальняя родня,
Хоть и бываетъ у меня

Довольно рѣдко. Князь—отсталый
Помѣщикъ и гордецъ немалый,
Подчасъ хвастунъ и враль большой,
Въ разводѣ съ бѣдною женой,
Въ долгахъ по горло, утопаетъ
Въ шампанскомъ и лакеевъ бьетъ.
Дочь съ папеньки примѣръ беретъ,
И маменьки не уважаетъ:
Какъ та ее ни умоляетъ
Видаться съ ней,—она какъ ледъ,
И нѣтъ въ ней сердца. Гувернантку...
Ну, словомъ—эту англичанку...
Кто ей нашелъ, когда отецъ
Любимую свою цыганку
Прогналъ изъ дома наконецъ?
Я и княгиня. И ужели
Княжна умна! Вы двѣ недѣли
Даете ей уроки—ну,
Какъ вы находите?
—Княжну
Я мало знаю...
—Не успѣли
Вы раскусить...
—Да,—подтвердилъ
Камковъ:—еще не раскусилъ.

И баронессѣ показалось,
Что онъ надулся. Подошла
Она къ роялю, провела
Рукой по клавишамъ, взяла
Аккордъ, и громко засмѣялась:
—Ахъ, чтобъ раскусывать, у васъ

Недостаетъ зубовъ подчасъ:
Вы только мастера кусаться!

Камковъ упрямо сталъ прощаться,
Сказалъ, что ѣдетъ на урокъ.
—Я бъ заперла васъ на замокъ,
Я посадила бы васъ въ клѣтку,
Когда бъ могла! Зачѣмъ вы рѣдко
Являетесь? По четвергамъ
Зачѣмъ васъ нѣтъ?.. И какъ же вамъ
Не грѣхъ, не стыдно?!
Такъ игриво,
И строго, и полушутливо,
Съ особеннымъ умѣньемъ дамъ
Великосвѣтскихъ, баронесса
Его бранила и была
Любезна. Вдругъ—оборвала
Потокъ рѣчей... не подала
Руки, и вышла вонъ...
—Мила,
Какъ бѣсъ; но похитрѣе бѣса!—
Подумалъ про себя Камковъ...

Домой пришелъ онъ въ шесть часовъ
И трубку закурилъ, и ходитъ,
Какъ будто мѣста не находитъ,
Или не знаетъ, что́ начать;
Но вы, друзья, хотите знать,
Какъ могъ Камковъ, отъ обожанья
Прелестной женщины, съ такимъ
Умомъ и сердцемъ развитымъ,
Дойти до страннаго желанья
Противорѣчить ей, сердить,
И даже иногда съ ней быть,

Ей-Богу, чѣмъ-то въ родѣ буки?
Давно ли онъ почти безъ скуки
Могъ съ нею время проводить,
Смѣяться, спорить, говорить
Съ ней объ открытіяхъ науки,
И объ искусствахъ, и о томъ,
Куда мы наконецъ идемъ,
Какая всѣхъ насъ ожидаетъ
Судьба, - и прочее. Къ тому жъ
Жена мила, довѣрчивъ мужъ,
Сынъ тупъ—и все какъ подобаетъ.

Давно ли странный мой герой
Былъ далеко не хладнокровенъ,
Когда Моцартъ или Бетховенъ
Былъ оживленъ ея игрой,
Когда рояль ея гремѣла,
Какъ Божій громъ, иль нѣжно пѣла,
И слышался кристальный звукъ
Подъ пальцами искусныхъ рукъ;
Когда у ней лицо горѣло,
И темные, какъ ночь, глаза
(Которыхъ ни одна слеза
Не оросила) покрывались
Блестящей влагой и къ нему
Съ завѣтной тайной обращались.
Когда—Богъ знаетъ почему—
Она невольно любовалась
Своимъ вліяньемъ... то терялась
Въ мечтахъ—была оживлена,
То становилась вдругъ блѣдна,
Игру внезапно прерывала,
И говорила: «Что же вы

Молчите?»—и сама молчала,
Не подымая головы.
Когда она его встрѣчаетъ
И руку нехотя даетъ,
И также нехотя беретъ
Ее назадъ,—не отвѣчаетъ,
Или глазами провожаетъ,
Когда спѣшитъ онъ, не простясь,
Уйти домой въ урочный часъ.
Ужели онъ не замѣчаетъ
Въ ней перемѣны, и не льститъ
Его такая перемѣна!
И онъ не ждетъ, не дорожитъ
Минутами!
Какая пѣна
Морская, взбитая волной,
Сравнится съ млечной бѣлизной
Ея роскошныхъ плечъ и шеи?
Чей голосъ мягче, взоръ смѣлѣй?
Что въ свѣтѣ можетъ быть темнѣй
Ея волосъ? Они, какъ змѣи,
Крутятся, и Камковъ неразъ
Ихъ видѣлъ издали, косясь,
И, передъ позднимъ баломъ, въ бальномъ
Костюмѣ онъ ее видалъ,
И утромъ иногда встрѣчалъ
Ее у сына—въ бѣломъ, спальномъ
Нарядѣ, въ блузѣ и чепцѣ,
Съ дремотной томностью въ лицѣ,
Съ тѣмъ тонкимъ, неостывшимъ жаромъ
Постели, ночи и всего,
Чтó было тайной для него;
Въ томъ *неглиже*, въ которомъ даромъ

Не любятъ женщины себя
Показывать: онѣ, любя,
Или по дружбѣ позволяютъ
Собой плѣнять насъ по утрамъ;
Лишь тѣ, которые снимаютъ
Съ нихъ мѣрку, этого не знаютъ;
Башмачникъ, напримѣръ, для дамъ
Что значитъ?—ничего . . .
. . . . . .
Тогда протянутая ножка
Безчувственна—и, стало быть,
Башмачникъ можетъ приходить
Въ тотъ ранній часъ, когда окошко
Еще завѣшено, и свѣтъ
Дневной, изъ-за пурпурныхъ складокъ
Скользя, глядитъ на безпорядокъ
Счастливой спальни. Но поэтъ—
Философъ—словомъ, мой ученый
Для баронессы былъ *персоной*,
А не ремесленникомъ; съ нимъ
Нецеремонность эта съ дѣтства
Была бы въ ней не чѣмъ инымъ,
Какъ только шалостью кокетства
Или затѣями любви.

Какъ баронесса умудрилась
Въ него влюбиться? чѣмъ плѣнилась?
Иль, можетъ быть, у ней въ крови
Везувій тлѣлъ!—Къ чему напрасно
Судить, рядить иль обвинять!
Природа—деспотъ: самовластно
Царитъ и любитъ направлять
Людей на собственныя цѣли,

Чтобы не слишкомъ разжирѣли,
Чтобъ не застаивалась кровь—
И посылаетъ намъ любовь.

И это все герой мой видѣлъ
(Хоть и не скоро увидалъ).
За что жь природу онъ обидѣлъ?
За что, злодѣй, возненавидѣлъ
Ея кокетство? Дурь нашла,
Или природа обожгла
Его за то, что онъ, случайно,
Какъ трусъ, ей въ очи заглянулъ,
Иль по незнанью оттолкнулъ
Онъ чашу съ нектаромъ, и тайно
Раскаивался въ этомъ?—Да,
Была минута, господа...
И онъ домой пришелъ смущенный,
Почти всю ночь не спалъ и, сонный,
Страдалъ, какъ будто кошемаръ
Его давилъ...
Что это значитъ?
Не то ли, что любви запросъ
Того, кто въ бѣдности возросъ,
Всегда сначала озадачитъ?
Не то ли, что сердечный жаръ
Могъ заразить его? Горячка
Не такъ прилипчива, какъ то,
Чего мы скрыть не въ силахъ. Кто
Матросъ, того морская качка
Не можетъ не качать; унять
Ее по щучьему велѣнью
Нельзя: попробуйте придать
Къ любви сомнѣнье, къ увлеченью—

Разсудокъ или долгъ, и васъ
Начнетъ покачивать какъ-разъ.

И долго былъ обуреваемъ
Камковъ, и у него едва
Не закружилась голова.
Онъ устоялъ—мы это знаемъ.
Минервы зоркая сова
Спугнула голубей Венеры,
Онъ заглянулъ въ лицо Химеры...
Я не завидую ему
И не браню, а потому
И ставлю вмѣсто восклицанья
Недоумѣнія крючокъ...

Тамъ, гдѣ блаженство, гдѣ страданье,
Тамъ, гдѣ кипитъ страстей потокъ,—
Что добродѣтель? что порокъ?
Кого винить? чѣмъ восхищаться?
Кого безжалостно казнить?
Предъ кѣмъ безмолвно преклоняться?
Что значитъ въ женщинѣ губить
Покой души иль сердце,—быть
Любимымъ и—не откликаться?
Или, любя ее, не смѣть
Къ ней прикоснуться? маску скинуть
И во-время ее покинуть—
Или, напротивъ, не имѣть
Довольно силъ, чтобъ съ ней разстаться,
Когда мы знаемъ, что она,
Любя другого, намъ вѣрна?
Притворствомъ удовлетворяться,
Иль недовольно притворяться?
Кто лучше, выше наконецъ,

По мнѣнью свѣта, въ вѣкъ нашъ зрѣлый:
Умъ пламенный, въ развратѣ смѣлый,
Иль благороднѣйшій глупецъ?
Та дѣвушка, что отдавалась
Любви и счастію сполна
И, судьями оскорблена,
Наплакалась и настрадалась,—
Или бездушная жена?

Вопросовъ тьма. Кто съ ними сладитъ,
Кто ихъ обсудитъ и рѣшитъ?
Любви и счастья кодексъ вѣренъ
Стариннымъ спискамъ, но давно
Кой-кѣмъ то здѣсь, то тамъ похѣренъ—
Справляться стало мудрено,—
Различно каждый понимаетъ...

Ужель Камковъ воображаетъ,
Что философія должна
Другіе сердцу дать уставы,
Что, наконецъ, рѣшитъ она,
Въ чемъ наша воля, въ чемъ мы правы?
Или намѣренъ онъ создать
Теорію любви сначала,
Чтобъ хоть *идея* оправдала
Его любовь, чтобъ онъ сказать
Могъ смѣло, почему онъ любитъ—
И гибнетъ самъ иль жертву губитъ?
Или онъ думаетъ: любя
Жену другого, подкупая
Лакеевъ, мужа надувая,—
Какъ онъ посмотритъ на себя?
И если правдѣ онъ измѣнитъ—
Чѣмъ онъ въ душѣ ее замѣнитъ?

Не правда ли, для многихъ онъ
И непонятенъ, и смѣшонъ?
А будь онъ просто человѣкомъ,
Такимъ, какъ всѣ, какъ вы да я,
Не спорь въ душѣ съ лукавымъ вѣкомъ
И, наконецъ, не мучь себя
Пустой, но честною борьбою,—
Онъ былъ бы франтъ во всей красѣ,
Ему бъ завидовали всѣ.

Итакъ, Камкову не давалась
Любовь—онъ это видѣлъ самъ
(«Гдѣ тонко, тамъ и рвется»). Вамъ
Самимъ, я думаю, случалось
Такія страсти испытать:
Ихъ, право, можно доконать,
Перекрестившись, въ двѣ недѣли.
Я этотъ срокъ нарочно далъ,
Ибо герой мой, въ самомъ дѣлѣ,
Ихъ въ двѣ недѣли доконалъ.

За что жь, однако, баронессу
Онъ хитрой женщиной назвалъ
И даже уподобилъ бѣсу?
За что? За то ли, что она
Къ нему немножко ревновала?
Кто жь не ревнуетъ! Что княжна
Ее немножко напугала,
Что безтолковый мой герой,
Съ тѣхъ поръ, какъ занятъ сталъ княжной,
Все брови хмуритъ,—увѣряетъ,
Что онъ страдаетъ головой,
Что онъ, быть можетъ, ей мѣшаетъ,
Когда заходитъ по утрамъ

Къ ней въ кабинетъ,—учтивъ и скученъ,
И сталъ замѣтно равнодушенъ
Къ ея радушнымъ четвергамъ?

(А четверги друзьямъ открыты—
Друзьямъ прогресса и молвы,
И лѣтописцами Москвы,
Конечно, будутъ не забыты).

Никто на этихъ вечерахъ
Не могъ читать у ней въ глазахъ...
И сдержанное нетерпѣнье
Въ ней истощилось—перешло
Въ тревожный сонъ, въ недоумѣнье,
Въ желанье дерзкое—на зло
Всему,—во что бы то ни стало,
Имъ овладѣть... Она страдала.

Конечно, ей не привыкать
Страданье смѣхомъ прикрывать;
А кто привыкъ—тому не надо
На это хитрости большой.

Такъ ошибался мой герой;
Но говорила въ немъ досада.
— А! думалъ онъ, когда домой
Шелъ вечеромъ:—вы не щадите
Княжны, вы рады клеветать
На дѣвушку—и вы хотите,
Чтобъ я былъ веселъ!.. Нѣтъ, пора
Мнѣ отрезвѣть! Мнѣ надоѣли,
Мнѣ скучны ваши вечера;
Ни зла въ нихъ нѣту, ни добра.
Какая польза, въ самомъ дѣлѣ,

Предъ этой свѣтскою толпой
Мѣшать науку съ болтовней,
И, никого не убѣждая,
Хозяевъ тѣшить ради чая?
И все, что вызвано трудомъ,
Нуждой, безсонными ночами,
И жаждой знанья, и слезами,
Нести, какъ дань, въ богатый домъ,
Гдѣ всѣ такъ праздны, все такъ ложно...
Но, признаюсь вамъ, невозможно
И передать всего того,
Что лѣзло въ голову его.

На подмороженныя лужи
Ступая всей своей ступней,
Не чувствуя вечерней стужи,
Онъ шелъ съ поникшей головой.
Но... не забылъ онъ объ урокѣ...

Заря блѣднѣла. На востокѣ
Туманъ лиловый холодѣлъ,
Надъ кровлями и надъ крестами
Ночь тихо двигалась. Блестѣлъ
Далекій млечный путь звѣздами.
Москва, подобно небесамъ,
Спѣшила засвѣтить другія,
Таинственныя, но земныя
Созвѣздія—и къ фонарямъ
Послала будочниковъ. Вамъ
Извѣстно, что и съ фонарями
Въ Москвѣ, какъ въ небѣ со звѣздами,
Порой такъ глухо и темно,

Что можно заблудиться; но,
Друзья, примите въ разсужденье:
Чѣмъ пасмурнѣе освѣщенье,
Чѣмъ наши улицы грязнѣй,
Тѣмъ вдвое больше наслажденья
Сидѣть въ семьѣ иль у друзей,
Или съ возлюбленной своей
Передъ шипящимъ самоваромъ
Вести пріятную вдвоемъ
Бесѣду (ворковать), иль ромъ
Въ чай подливая, спорить съ жаромъ.
И жизнь халатная тогда
Милѣе вдвое, господа.
Камковъ не ѣздилъ за границу,
Не видѣлъ газовыхъ пучковъ
Огня при блескѣ зеркаловъ,
И нашу древнюю столицу,
Съ матеріальной стороны,
Считалъ тогда довольно сносной.
Теперешніе крикуны
Тогда ходили съ рожей постной,
И громко ни одинъ изъ нихъ
Не смѣлъ безчестить мостовыхъ...
Ихъ фельетоны были слабы
(То были розы безъ шиповъ).

Но, господа,—бьетъ семь часовъ.
Куда стремится мой Камковъ
На подрѣзяхъ черезъ ухабы?
Вотъ площадь, вотъ гостиный рядъ,
Огни, возы, крестьяне, бабы,
Кадушки, клѣти... вотъ стоятъ
На хвостикахъ, развѣсивъ уши,

Свиней мороженыя туши...
Капустой пахнетъ... вотъ висятъ,
Какъ бусы, прѣсныя баранки;
Стоятъ мальчишки надъ лоткомъ,
И сбитень пьетъ подъ фонаремъ
Приказный...
Ковыляютъ санки—
Камковъ не видитъ ничего,
Міръ будничный предъ нимъ мелькаетъ,
И брызжетъ грязью на него,
Когда онъ въ яму попадаетъ;
То ваньку за кушакъ хватаетъ,
То упирается въ задокъ.

Камковъ стремится на урокъ
(Урокъ—обязанность святая...)
И ѣдетъ онъ, не забывая,
Что ждетъ его семья друзей,
Стаканы съ чаемъ, кренделей
Тарелка, трубка, разговоры
На тысячу ладовъ, мечты,
Пріятельскія остроты,
Философическіе споры,
И Б., и К., и Г., и тотъ,
Кого онъ скоро обойметъ
Въ послѣдній разъ и вдаль проводитъ,
И тотъ, кто Гейне переводитъ,
И тотъ, кто вѣчно всѣхъ смѣшитъ,
И тотъ, кто иногда груститъ
О запертой на ключъ невѣстѣ...

Когда они сбирались вмѣстѣ—
Никто изъ нихъ не козырялъ,
Не напивался: пьянство, карты

Къ инымъ изъ нихъ—увы!—позднѣй
Пришли—уже на склонѣ дней,
Когда Беконы и Декарты
И Гегели отъ насъ ушли,
Какъ волны теплаго тумана,
Что поутру, поднявшись рано,
Плывутъ съ прозябнувшей земли
Черезъ верхушки лѣса въ небо,
Не зная сами, что весной
Подъ ихъ волнистой пеленой
Для зеренъ будущаго хлѣба
Спасительная теплота
Была незримо разлита.

Друзья Камкова собирались
Въ тотъ вечеръ цѣлою семьей
Затѣмъ, что мысленно прощались
Уже другъ съ другомъ; разлетались
Они съ грядущею весной...
Но мы ихъ общество покинемъ
И въ новый, незнакомый домъ
Отправимся.
Пора!—войдемъ,
Суконный занавѣсъ раздвинемъ,
Отворимъ лаковую дверь.
Посмотримъ, гдѣ-то онъ теперь,
Герой нашъ? Вотъ онъ,—новой сферой,
Какъ чародѣйствомъ, окружонъ,
Какъ будто воодушевленъ
Или проникнутъ новой вѣрой
(Таковъ его вечерній видъ),
Въ уютной комнаткѣ сидитъ
Передъ молоденькой княжною,

Съ раскрытой книгой подъ рукою.
И двѣ свѣчи предъ нимъ горятъ,
И дѣвушки глаза блестятъ
Своей прозрачной глубиною.
Въ нихъ отъ рѣсницъ ея порою
Тѣнь неподвижная стоитъ.
Съ наивнымъ, робкимъ изумленьемъ
Она ему въ лицо глядитъ,
Какъ будто все, что говоритъ
Камковъ, какимъ-то страннымъ пѣньемъ
Ей кажется. Ея уста
Полураскрыты... грудь не смѣетъ
Дышать, какъ будто тихо вѣетъ
Предъ ней великая мечта
О жизни... Словно провидѣнье,
А не учитель передъ ней
Сидитъ, и разъясняетъ ей
Души святое назначенье,
На землю сводитъ небеса
И въ этомъ видитъ чудеса.
То прозу, то стихи читаетъ,
Не спрашиваетъ ни о чемъ,
Вопросы самъ подозрѣваетъ,
Молчитъ съ минуту—и потомъ
За ученицу отвѣчаетъ
Такъ просто и съ такимъ лицомъ
Спокойно-яснымъ, что признаться,
Друзья, вамъ можетъ показаться
При этомъ случаѣ, что онъ
Порядочный хамелеонъ.
Куда дѣвалась вся досада?
Гдѣ эта глупая хандра?

Но, господа, уже пора
Давно, чтобъ съ силами собраться,
Мнѣ съ этою главой разстаться.

Какъ змѣй, что сбросивъ чешую,
Объ ней ужь больше не хлопочетъ,
Такъ я четвертую мою
Главу бросаю съ плечъ. Кто хочетъ
Поднять, пусть поднимаетъ; кто
Желаетъ затоптать, пусть топчетъ...
. . . . . .
Зоилъ бранитъ—поэтъ не ропщетъ.

ГЛАВА V.

Зачѣмъ стихи, зачѣмъ не проза?
Зачѣмъ не тополь, а береза?
Зачѣмъ не лѣто, а зима—
Не свѣтъ, а тьма, и вѣчно тьма,
Все покрывающая разомъ:
И тупоуміе, и разумъ,
И честный подвигъ, и обманъ,
И вашъ протестъ, и мой романъ?..

Когда стихи журчатъ и льются,
И свѣжи, какъ потокъ лѣсной,
Или какъ черти надъ водой
Поютъ и воютъ и смѣются,—
Я вслѣдъ за ними уношусь
И ближе къ жизни становлюсь,
И чувствую, что жизнь больная
Мнѣ не чужая, а родная,—
Родная, кровная моя;

Что съ ней невольно связанъ я
То ненавистью, то любовью,
Какъ чуткій нервъ съ живою кровью,
Какъ съ моремъ зыбкая волна,
Или какъ съ арфою струна.

. . . . . .

. . . . Зажигаю вновь
Мою вечернюю лампаду
И вновь пою, врагамъ въ усладу,
Камкова и его любовь.

Итакъ, въ назначенные сроки,
А именно по середамъ
И пятницамъ (по вечерамъ),
Онъ сталъ княжнѣ давать уроки.
Иныхъ—повѣрьте, господа—
Иныхъ дѣвицъ учить бѣда
Тому, кто слишкомъ деликатенъ.

Камковъ былъ вѣжливъ, былъ пріятенъ,
Уступчивъ, но и онъ подчасъ
Былъ раздражителенъ. Неразъ
Больная жолчь его страдала.
Кому пріятно убѣждать,
Что дважды-два совсѣмъ не пять?
Онъ утомлялся—и, бывало,
Съ душой измученной спѣшилъ
Домой, ложился и хандрилъ.

Ужь я не знаю, оттого ли
Камковъ взялся княжну учить,
Что и въ тискахъ суровой доли
Не позабылъ, не могъ забыть

Ту ночь, тотъ балъ, какъ сонъ минувшій,
Тотъ образъ дѣвушки мелькнувшій...
Тотъ образъ ангела безъ крылъ,
Который такъ его плѣнилъ.
Иль мой философъ простодушный
Взялся за подвигъ оттого,
Что оставалось у него
Довольно времени...
Признаться,
Въ послѣднемъ можно сомнѣваться.

Начавъ учить княжну, онъ былъ
Такъ вѣжливъ, что не приступилъ
Къ экзамену; нашелъ, что поздно
Учить грамматикѣ. Серьезно
Онъ это все сообразилъ,
Или, подкупленъ красотою,
Съ своею совѣстью хитрилъ.

Еще не вѣдая, не зная,
Насколько милая княжна
И развита, и смышлена,
Онъ сталъ учить ее, читая
Любимыхъ авторовъ своихъ.
Читая Пушкина, Кольцова,
Онъ разбиралъ ихъ каждый стихъ,
Докапывался до живого,
До сердцевины—и потомъ
Въ теорію вплеталъ картины
Изъ русской жизни, безъ затѣй
Мѣшая были нашихъ дней
Со временами пугавщины *).

*) Въ Москвѣ случалось мнѣ слышать «пугавщина» — вмѣсто *пугачевщина*.

Онъ сталъ бесѣдовать съ княжной
Какъ будто съ очень развитой
Дѣвицей—и негодованья
На общество, на ложь, на зло
Онъ не скрывалъ, и упованья
Свои высказывалъ (зѣло
Онъ вѣрилъ, что заря мерцаетъ,
Что грязь мѣстами подсыхаетъ
И что недаромъ Гоголь насъ
Кололъ не въ бровь, а прямо въ глазъ).
Онъ говорилъ не запинаясь
И ужь, конечно, не стѣсняясь...
Межъ тѣмъ, въ глубокой тишинѣ,
Миссъ Плэдъ сидѣла въ сторонѣ
И, свѣсивъ локонъ, наклоняла
Сѣдую голову—читала,
Писала письма, иль вязала
Предъ лампой съ темнымъ колпакомъ,
Филейнымъ шевеля крючкомъ.

Миссъ Плэдъ—Ларисы гувернантка,
Была отчасти пуританка,
Пять лѣтъ въ Парижѣ провела,
Перевела трактатъ о рабствѣ
И, говорятъ, сестрою въ братствѣ
Евангелическомъ была;
Отлично знала по-французски,
Но... трудно говорить по-русски.
По-русски словъ до десяти
Она могла произнести.
Когда же слушала Камкова—
Не понимала ни полслова,
Что́ не мѣшало ей подчасъ,

Немного щуря лѣвый глазъ,
Поглядывать съ недоумѣньемъ,
О чемъ Камковъ мой говоритъ
Княжнѣ съ такимъ одушевленьемъ
И почему она молчитъ.

Княжны суровая пугливость,
Задумчивая тишина
Ея лица, неторопливость
Ея движенiй, глубина
Очей лазурныхъ, молчаливость,
«Да», «нѣтъ» и больше ничего—
Все это друга моего
Сначала трогало, и было
Ему *такъ ново и такъ мило.*
Потомъ сомнѣнье вдругъ нашло,
Какъ тѣнь, на блѣдное чело
Довѣрчиваго педагога.
Однажды—на грядущiй сонъ—
«Ужь не глупа ль?» подумалъ онъ...
И думалъ онъ объ этомъ много
И долго мучился. «Княжна
Такая странная! кто знаетъ—
Твердилъ онъ—можетъ быть, она
Меня совсѣмъ не понимаетъ.
Но... Господи! какъ хороша!
Мадонна въ дѣтскихъ сновидѣньяхъ
Рафаэля!.. Что за душа
Въ глазахъ, во всѣхъ ея движеньяхъ
Какая прелесть!.. Пусть она
Неразвита и не умна...
За то... и не глупа же очень...»

Въ одну изъ пятницъ, озабоченъ
Такимъ сомнѣньемъ, — «Нѣтъ же, нѣтъ! —
Онъ мысленно себѣ въ отвѣтъ
Твердилъ упрямо: — «нѣтъ, глазами
Такими тупость не глядитъ!
Она меня благодаритъ
И молчаливыми устами,
И этимъ взглядомъ. Боже мой!
Какъ я неправъ передъ княжной!»
И вотъ проклятый Мефистофель
(Московскій, стало — безъ затѣй)
Ему надъ ухомъ шепчетъ: «Эй!
Не слишкомъ вглядывайся въ профиль
Княжны загадочной моей.
Вѣдь это не мечта поэта
И не мадонна, въ безднѣ свѣта
Межъ ангеловъ по облакамъ
Грядущая, и не Психея
Изъ мрамора, среди музея
Поставленная знатокамъ,
Такимъ, какъ ты, на удивленье:
Нѣтъ, это смертное творенье —
Княжна Таптыгина... Простись
Съ надеждами — и отвернись!
Вѣдь ты и чижика подъ сѣтью
Держать не станешь; стало быть,
Тебѣ, мой другъ, обуха плетью
Вовѣки не перешибить!»

Такъ бѣсъ поддразнивалъ Камкова.
Онъ зналъ, съ чего ему начать.
Другое на ухо другого
Онъ, вѣрно, сталъ бы напѣвать.

Въ аристократку педагога
Влюбить—задача недурна,
Особенно для психолога.
Конечно, швейка и княжна,
Мѣщаночка и баронесса—
Для любознательнаго бѣса
Всѣ одинаково равны,
Всѣ для него испечены
Изъ одного того же тѣста;
Но—у людей разряды есть,
У всякаго свое есть мѣсто,
Своя особенная честь,
И надобно, чтобъ грѣхъ попуталъ,
Чтобъ кто-нибудь все это спуталъ...

Пусть говорятъ: «попуталъ грѣхъ!»
Я, господа, грѣха не вижу
Въ томъ, что люблю и ненавижу,
Кого хочу... Но ѣдкій смѣхъ,
Надменный тонъ, расчеты свѣта,
Мертвящій холодъ этикета,
Сердецъ продажныхъ маскарадъ—
Какой любви не охладятъ,
Кого не оттолкнутъ?
Далеко
Отъ шума свѣтскаго жила
Моя княжна. Она ждала,
Какъ развлеченія, урока...
И тишина была кругомъ,
Когда Камковъ являлся въ домъ.
Самъ князь въ ту зиму былъ въ отлучкѣ.
Пустымъ казался бель-этажъ,
Когда Камковъ касался ручки

Звонка. Дверей парадныхъ стражъ,
Швейцаръ являлся безъ ливреи;
Лакей въ душѣ, какъ всѣ лакеи,
Почуя носомъ бѣдняка,
Глядѣлъ немного свысока,
И молча принималъ Камкова,
Какъ господина, нанятого
Въ извѣстный часъ, въ извѣстный день,
Тревожить княжескую лѣнь.
И, какъ обычный посѣтитель,
Шелъ безъ доклада мой учитель.
Сперва по лѣстницѣ шагалъ,
Потомъ черезъ холодный залъ,
Покашливая, направлялъ
Свои шаги онъ къ коридору
Довольно темному, къ дверямъ,
Завѣшеннымъ ковромъ—и тамъ
Встрѣчалъ застѣнчивую Лору
Или Ларису—у окна
Или у лампы съ книгой. Странный
Былъ взглядъ у ней, когда она
Его встрѣчала. Такъ со сна
Глядитъ на васъ ребенокъ, рано
Разбуженный и чѣмъ-нибудь
Пріятно изумленный. Грудь
Прикрывши книжкой, подходила
Она къ столу, не говорила
Ни слова и была блѣдна.
Она къ уроку приступала
Какъ будто къ таинству; она
Какъ будто молча изучала
Камкова. (Мой ученый другъ
Сталъ унывать). Она молчала,

Молчала три недѣли—вдругъ
Пришла въ себя, заговорила,
И такъ Камкова изумила,
Что онъ... и руку протянулъ,
И усмѣхнулся, и вздохнулъ
Отъ радости... И, Боже мой!
Съ какою милой простотой,
Съ какой улыбкою привѣтной,
Съ какою искренней, замѣтной
Довѣрчивостью, начала
Она съ нимъ говорить!.. Призналась,
Какъ въ первый разъ она боялась
Его прихода; какъ была
Она тупа и какъ страдала,
Когда его не понимала.
—«Я думала, что на меня
Вы будете кричать,—сказала
Она, рѣсницы опустя,
Съ зардѣвшимся лицомъ:—вѣдь я,
Сказать по правдѣ, безтолкова.
Такъ напримѣръ, что значитъ слово
«*Сосредоточенность*?..» Потомъ
Княжна, чертя карандашомъ
Какой-то носъ въ пустой тетрадкѣ,
Сказала: «не могу смекнуть,
Что значитъ «*личность*». Брань, нападки?
Или другое что-нибудь?»

Не повторю вамъ объясненій,
Всѣхъ выводовъ и заключеній,
Всего того, что говорилъ
Герой мой и чему училъ:
Нѣтъ, вы сочли бъ за неприличность,

Когда бъ я сталъ вамъ объяснять
Въ стихахъ, какъ надо понимать
«Сосредоточенность» и «личность».
Всё это намъ давнымъ-давно
Журналами объяснено.
Хоть личностью въ толпѣ безличной
Изъ насъ никто не знаменитъ,
Но каждый франтъ иль фатъ столичный
Вамъ все на свѣтѣ объяснитъ.
Онъ лѣтомъ, по дорогѣ съ дачи
На дачу, весело рѣшитъ
Всѣ философскія задачи,
И ужь, конечно, разбранитъ
Идеалистовъ. Въ наше время
Другое наплываетъ племя—
Не любитъ слова «идеалъ».
Ахъ, это слово!.. это слово
Несчастное чуть дышитъ—и
Ждетъ, какъ лѣкарства, отъ Лаврова
Иль отъ Страхова статьи!
Въ тѣ дни, напротивъ, было вновѣ
Оно, и каждый въ этомъ словѣ
Глубокій смыслъ подозрѣвалъ
И, философствуя, мечталъ.
И, можетъ быть, княжна мечтала,
Ждала чего-то впереди,
И думала, что все возможно...
И сердце въ дѣвственной груди
Полнѣе билось; сонъ тревожный,
Смыкая очи, не смыкалъ
Горячихъ устъ... Онъ рисовалъ
Не за предѣлами могилы,

А въ жизни—разума и силы
И чести свѣтлый идеалъ...

Камковъ ей часто намекалъ,
Что есть у всякаго народа
Святая цѣль—его свобода.
По-своему онъ понималъ
Свободу. Быть вполнѣ свободнымъ—
Онъ думалъ—значило связать
Себя во многомъ, сочетать
Свой личный идеалъ съ народнымъ.
Такъ отчего же мой Камковъ
Не сдѣлался славянофиломъ?
Друзья! не тратя лишнихъ словъ,
Скажу, что бѣдный мой Камковъ
Не вѣрилъ потаеннымъ силамъ.
«Нѣтъ! часто думалъ онъ:—пока
Нашъ мужичекъ безъ языка,—
Славянофильство невозможно
И преждевременно, и ложно...»

Но что онъ думалъ, я писать
Подробно вовсе не намѣренъ;
Я, господа, вполнѣ увѣренъ,
Что изъ подобныхъ думъ создать
Лицо—напрасный трудъ. Едва ли
И тѣ, которые читали
Его статьи (осьмнадцать лѣтъ
Тому назадъ), воображали,
Что онъ *лицо*... Полупоэтъ,
Полуфилософъ, часто съ видомъ
Насмѣшки надъ самимъ собой,
Онъ говорилъ: «Э, Боже мой!
Ни разу не вступивши въ бой,

Какимъ гляжу я инвалидомъ!
Пора на лаврахъ отдыхать!
На содержанье поступать,
Пора усердно притворяться
Влюбленнымъ въ баронессу, стать
Ея собачкой, къ ней ласкаться
И передъ ней хвостомъ вилять...»

А баронесса начинала
Не въ шутку волноваться; знала
Она, чтó съ ней, но не могла
Понять, чтó съ нимъ: онъ сталъ желтѣе,
Разсѣяннѣе, холоднѣе,
Скорѣй придирчивъ, чѣмъ остеръ.
—Ужель, княжна!.. Нѣтъ, это вздоръ!
Нѣтъ, это только подъ сомнѣньемъ...
(«Ужь если я не увлекла!»)...
И баронесса съ нетерпѣньемъ
Влюбленной женщины ждала
Развязки...
Въ маѣ, за границу
Она съ собой его звала;
Она звала Камкова въ Ниццу,
Въ Венецію, въ Неаполь, въ Римъ,—
Столицу папы, идіотовъ—
Поповъ, натурщицъ, патріотовъ
И мраморныхъ боговъ. Предъ нимъ
Она хвастливо раскрывала
Большой съ рисунками альбомъ,
Разсказывала, намекала
Гдѣ *можно умереть вдвоемъ*... *)

*) Стихъ А. Н. Майкова.

Камковъ шутилъ, и бѣсъ лукавый
Въ ней колебалъ разсудокъ здравый.
На что ужь, кажется, она
Была умна и учена.

Въ тотъ день, когда княжна Камкова
Такъ удивила, ужь никакъ
Не ждалъ сюрприза онъ другого.
Домой вернувшись, мой чудакъ—
Нашелъ записку; распечаталъ,
Прочелъ... еще прочелъ—и спряталъ.
Писала женская рука,
Но не по женски коротка
Была записка. Лаконична,
Насколько можно, и ясна,
Насколько должно. Я отлично
Ее запомнилъ.
Вотъ она:

ЗАПИСКА БАРОНЕССЫ.

«За что вы стали избѣгать
Друзей? Чудакъ вы!.. Развѣ честно
Такъ съ женщинами поступать?
Позвольте прямо вамъ сказать:
То, что изволитъ васъ пугать,
Не можетъ быть для васъ нелестно...
Мнѣ ваше сердце неизвѣстно;
Свое я не хочу скрывать...
Къ чему скрывать! вѣдь я страдаю
Не оттого, что я люблю,
А оттого, что я не знаю:

Любима ли? Я васъ молю
Меня не мучить!... Дайте слово,
Что завтра въ *десять* вы у насъ.
Я для другихъ больна: для васъ
Я буду вечеромъ здорова...»

И только!.. Если не считать
За этимъ—точекъ... Точки эти
Затѣмъ и выдуманы въ свѣтѣ,
Чтобъ непонятно выражать
Понятное. Блаженъ, кто можетъ
По нимъ о счастіи гадать,
Кого ихъ тайный смыслъ тревожитъ!

И эти точки мой герой
Невольно принялъ къ сердцу близко.
Но откровенная записка—
Увы! не сердце, а покой
Больной души его смутила...
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
И вотъ, не безъ душевныхъ слезъ,
Припалъ онъ жаркой головою
Къ своей подушкѣ, не раздѣтъ
И не разутъ, точь въ точь поэтъ,
Неумолимою судьбою
Въ темницу брошенный, и тамъ,
На жертву крысамъ и мечтамъ,
Покинутый...
Свѣча горѣла
И догорала... Онъ лежалъ,

Лежалъ... потомъ лѣниво всталъ,
Раздѣлся... Полночь прогудѣла
На дальней башнѣ; онъ задулъ
Свѣчу и, наконецъ, заснулъ.

Герой мой спитъ.—Чу! зачиликалъ
На мокрой кровлѣ воробей:
Не солнце, а весну онъ кликалъ.
Заря все шире, все теплѣй
Вставала... въ полдень дождикъ капалъ
Съ дощатыхъ кровель; рыхлый снѣгъ
Былъ смѣшанъ съ грязью; санный бѣгъ
Каменья мостовой царапалъ;
Колесъ глубокіе слѣды
Сплывались; не было ѣзды
Ни на саняхъ, ни на колесахъ.
Весна протягивала посохъ
И слышался со всѣхъ сторонъ
Въ Москвѣ великопостный звонъ.

Еще довольно было рано,
Чтобъ ѣхать въ гости къ холостымъ;
Но мы старушкѣ извинимъ.
Въ ворота въѣхала Ульяна
Ивановна, спѣша застать
Камкова, и была серьезно
Удивлена, что онъ такъ поздно
Еще изволитъ почивать.
Она пріѣхала съ служанкой,
Съ своимъ мѣшочкомъ и съ вязанкой
Баранокъ.—«А когда жь онъ встать
Изволитъ? скоро будетъ восемь
Часовъ; мы разбудить попросимъ».

Пошла кухарка отворять
Скрипучій ставень. Всталъ съ постели
Герой мой и глаза протеръ,
И удивился:
—Неужели
Княгиня?.. гдѣ? съ которыхъ поръ?..
Сейчасъ одѣнусь.—
—«Не сердитесь,
Отецъ мой: ѣду изъ Москвы
Молиться къ Троицѣ...»
—Ужь вы
И за меня тамъ помолитесь,—
Сказалъ онъ, отворяя дверь.

Она вошла...
—«Ну да, конечно,
Мой милый Петръ Ильичъ; теперь
Угоднику поклоны вѣчно
Я буду класть и за тебя».
—За что жь такъ долго за меня
Вы будете трудиться? Я
Такихъ моленій недостоинъ...

—«Ну, милый, ты ужь будь покоенъ
На этотъ счетъ. Вѣдь это я
Уладила, что ты уроки
Даешь моей княжнѣ. Была
У родственницы и дала
Твой адресъ. Я тебя въ пророки
Какіе-то произвела:
Сказала... ну, что я сказала,
Про то молчу. Вѣдь я слыхала,
Какой ты мастеръ: говоришь
Какъ книга—и не улетишь

Вслѣдъ за тобой, и не поймаешь:
Такъ высоко ты забираешь!
Недаромъ ты одну изъ дамъ
Приворожилъ; чуть не свихнула
Съ ума... ну да!»—И по губамъ
Старушки блѣдной проскользнула
Усмѣшка. Впрочемъ, не кольнуть
Камкова и не намекнуть
Хотѣлось ей на что-нибудь:
Напротивъ, бѣдная хотѣла
Ему польстить и не умѣла.

«О!»—выслушавъ ея слова,
Камковъ подумалъ:—«о, Москва!
Москва!..» (Вчерашнее посланье
Мелькнуло въ головѣ его).
Неужели твое призванье—
Все знать, не дѣлать ничего
И сплетничать?..
Совсѣмъ иное
Происходило въ головѣ
Старушки, и не о Москвѣ
Напоминало ей больное
Въ душѣ мѣстечко! Можетъ быть,
Довольная своимъ вступленьемъ,
Она, съ замѣтнымъ нетерпѣньемъ,
Рѣшилась вдругъ его спросить:
—«Что дочка? и чему ты учишь?
И скоро ли ее пріучишь
Меня за вѣдьму не считать?
Вѣдь я люблю ее... я мать!»

Камковъ очнулся. Не съ ума ли
Она сошла?..—Что вы сказали?

Какая вѣдьма?..—
—«Отчего жь,
Когда она меня встрѣчаетъ,
Ее, голубушку, бросаетъ
Всю въ лихорадочную дрожь?
Ты ей скажи, я не желаю
Пугать... не подойду... Я знаю,
Какъ тяжело и страшно ей
Встрѣчаться съ матерью своей.
Вотъ и на-дняхъ она каталась
Съ своей мадамой, и на ней
Былъ бархатный салопчикъ; ей
Остановиться бъ... Сильно сжалось
Во мнѣ сердечушко, когда
Она какъ вѣтерокъ промчалась.
И то сказать, прошли года
Съ тѣхъ поръ, какъ я съ княжной разсталась!
Тогда еще и трехъ годковъ
Ей не было. Отецъ боялся,
Что я приду за ней: суровъ
Онъ былъ со мной и горькихъ словъ
Моихъ не слушалъ. Богу клялся,
Что мнѣ, какъ собственныхъ ушей,
Не видѣть дочери моей...»

Княгини голосъ оборвался.
Камковъ съ усиліемъ молчалъ.

—«Ну вотъ, онъ клятву и сдержалъ!..»
Она съ тоской договорила,
И съ безпокойствомъ поводила
Платкомъ по подбородку...
—«Зла
Я не желаю»,—начала

Опять княгиня:—«только знаешь,
Какія дѣются дѣла
На свѣтѣ! и не разгадаешь,
Какъ поступать...»
—Что жь было съ вами?
Спросилъ Камковъ, моргнувъ глазами.
—«Не вынесла, мой другъ. Въ нашъ домъ
Князь помѣстилъ свою Любашу,
Цыганку. Заваривши кашу,
Хотѣлъ онъ скрыть ее—и скрылъ!..
И гдѣ жь ее онъ помѣстилъ?
Съ княжною рядомъ—подлѣ дѣтской!!
«Я няньку нанялъ,—говоритъ:—
Привезъ изъ слободы нѣмецкой».
Да съ этой нянькой и кутитъ...
Что будешь дѣлать? Я ни слова,
Ни полсловечка... Я взяла
Да и ушла. Ну да, ушла,
Въ день Воскресенія Христова,
Изъ церкви прямо, какъ была,
Въ нарядномъ платьѣ, наняла
Карету, да и покатила
Вонъ изъ Москвы—да и забыла
Про колыбельку!»
—Не могли
Вы поступить иначе—и
Недурно поступили.—
—«Свято
Я исполняла долгъ мой... Но
Тутъ, извини: я виновата.
И не оправдывай!.. Грѣшно
Мнѣ было въ этакомъ содомѣ
Покинуть дочку. Наказалъ

Меня Господь!.. Всѣхъ въ нашемъ домѣ,
Всѣхъ муженекъ мой разогналъ;
И няню... и ее отправилъ
Въ деревню; при себѣ оставилъ
Двухъ поваровъ, да изъ людей
Какимъ-то чудомъ лишь Матвѣй
Мой уцѣлѣлъ—старикъ усердный.
Онъ недоимки собирать
Былъ посланъ. Любитъ куликать,
А впрочемъ честности примѣрной.
Конечно, въ домъ меня пускать
И онъ не смѣлъ: за мной слѣдили.
Я знаю, старика водили
Въ полицію за то, что онъ,
Вишь, отъ меня принесъ поклонъ
Малюткѣ...
—Какъ же поступили
Съ нимъ полицейскіе?
—«Ну, какъ!
Извѣстно какъ—обыкновенно».
—Что жь онъ?
«Да ничего»,—смиренно
Отвѣтила княгиня.—«Такъ
Несчастнаго и наказали
Изъ-за меня... Съ тѣхъ поръ, мой другъ,
Чтобъ люди-то не пострадали,
И на меня нашелъ испугъ;
Въ особенности за Матвѣя
Мнѣ было тягостно...»
Краснѣя
До самыхъ, такъ сказать, бровей,
Хозяинъ мой внималъ своей
Печальной гостьѣ. Ничего-то

Не зналъ онъ, хоть и жилъ въ Москвѣ.
Въ его горячей головѣ
Былъ міръ иныхъ идей—работа
Ученая... Мой педагогъ
Никакъ вообразить не могъ
Своей наивной ученицы
Въ такой средѣ... среди такой
Житейской грязи. Такъ царицы
Иль нимфы посреди гнилой
Трясины мы никакъ не можемъ
Себѣ представить.
Но отложимъ
Фантазію, не утомимъ
Читателя и сократимъ
Разсказъ княгини.

—«Я добиться
Хотѣла правъ своихъ... мириться
Хотѣла—гордости своей
Не слушала—и что жь? меня же
За это обвинили! Даже
И репутаціи моей
Не стали вѣрить... Онъ, злодѣй,
Не пощадилъ меня нисколько...
«Убью! кричалъ... Попробуй только!»
Вотъ, начала и подростать
Моя княжна, и стали мать
Ей людоѣдкой представлять.
Чего ужь ей не говорили,
Чѣмъ не пугали, не мутили
Разсудка дѣтскаго!.. При ней
Хорошихъ не было людей.
Еще не знаешь ты, какъ люди

Жестокосердны. Впрочемъ, буди
Его святая воля! Все
Перетерплю—и что мое,
То не уйдетъ. Ушло—вернется,
У Бога очередь ведется...»

—Но,—перервалъ ее Камковъ—
Положимъ, трехъ-пяти годовъ
Ребенокъ былъ напуганъ вами!

— «Ну да, напуганъ. Онъ слезами
Меня встрѣчалъ, рвался изъ рукъ,
Головку пряталъ...»
— Увѣряю,
Княгиня, еслибъ кто другой
Разсказывалъ... Но, Боже мой!
Я все еще не понимаю:
Ребенокъ могъ бояться васъ.
Ну, а теперь?
— «Теперь?—не знаю,
Отецъ мой! Только всякій разъ,
Когда случайно я встрѣчаю
Мою красавицу,—она,
Какъ платъ, становится блѣдна,
Ну, словно видѣть хладнокровно
Меня не можетъ... ну... ну, словно
Я врагъ заклятый. Да и я
Сама къ ней подступить не смѣю:
Что, если оттолкнетъ меня?..»

— А если бросится на шею...
Чего же вы боитесь?
— «Нѣтъ,
Боюсь я...» былъ ея отвѣтъ.

И блѣдная старушка стала
Еще блѣднѣй. Богъ вѣсть о чемъ
Она потупясь размышляла,
И въ этотъ мигъ ея черты,
Что горе и года измяли,
Какъ-бы живѣй напоминали
Остатки прежней красоты;
Приглядываясь, можно было
Узнать въ ней мать княжны. (Въ сухомъ
Цвѣткѣ мы узнаемъ съ трудомъ
Его родню, что съ вѣтеркомъ
Играетъ свѣжимъ лепесткомъ).
И мысль свести ихъ соблазнила
Камкова...
— Я васъ помирю,
Сказалъ онъ хмурясь,—говорю
Какъ честный человѣкъ.
— «Неужто?
Отозвалась она:—а мужъ-то
Мой благовѣрный,—развѣ онъ
Допуститъ!»
— Полноте бояться,
Онъ гдѣ-то рыщетъ.
— «Я, признаться,
Сама хотѣла... Ты поклонъ
Мой отнеси сначала. Ѣду
Сегодня къ Троицѣ; ну, да
Авось Господь пошлетъ побѣду
Надъ сопротивными... Когда
Я ворочусь,—ты ей, мой милый,
Просвирку отнесешь: повѣрь,
Что это будетъ хорошо. Теперь,
Прощай пока!»

И заспѣшила
Старуха—и, перекрестясь,
Уѣхала.
Десятый часъ
Былъ на часахъ Камкова. Онъ
Невольно вспомнилъ вечеръ. Легъ онъ
На свой диванъ между двухъ оконъ,
И, грустный, вслушивался въ звонъ:
Колоколà протяжно пѣли,
Тянули душу, но не грѣли;
Одна мечта была тепла,
И та—мучительна была...

ГЛАВА VI.

Извѣдано, что хитрость есть
Умъ дураковъ, и—несвободныхъ,
Добавлю я,—и всѣхъ, чья честь
Вращается среди природныхъ
Ея враговъ. Врагамъ же нѣсть
Числа—ихъ больше, чѣмъ голодныхъ
Волковъ въ лѣсу, чѣмъ хищныхъ птицъ
Въ степи; что шагъ, то и возможность
Сгубить всю жизнь свою... Въ лисицъ
Насъ превращаетъ осторожность...
Мы, люди съ правилами, такъ
Искажены, такъ лицемѣримъ,
Что поневолѣ только вѣримъ
Чистосердечію собакъ.

Мужъ баронессы былъ скорѣе
Баранъ, чѣмъ волкъ; но съ нимъ хитрѣе
Она была, чѣмъ съ кѣмъ-нибудь:

Она не слишкомъ опасалась
Его роговъ,—она боялась
Своей измѣною кольнуть
Его достоинство баранье,
Утратить все свое вліянье,
И быть осмѣянной пустой
Великосвѣтскою толпой,
Къ которой ни по состоянью,
Ни по связямъ, ни по призванью,
Никакъ принадлежать не могъ
Мой благородный педагогъ.
Но баронессѣ мало было
Хитрить съ барономъ! нѣтъ, она
Сама съ собой осуждена
Была хитрить, и такъ хитрила,
Какъ никогда...
Въ условный день
Свиданья, долго притворялась
Она поутру спящей; лѣнь
Ей было встать. Она терялась
Въ своихъ сомнѣньяхъ, зарывалась
Въ подушки... «Вечеръ все рѣшитъ!»
Она мечтала.
Люди встали,
Скребли, мели и—перестали.
Всѣ думали, хозяйка спитъ.
А между тѣмъ она твердила,
Твердила: «вечеръ все рѣшитъ».
Но вотъ, одѣвшись, побранила
Она себя за этотъ бредъ,
И за вчерашнее посланье
Къ Камкову.—Кажется, признанья

Въ немъ не было... Конечно, нѣтъ!
Лукавый ей шепнулъ въ отвѣтъ.

Потомъ за чаемъ разсудила
Она, что глупо поступила;
А впрочемъ, врядъ ли онъ пойметъ—
Въ чемъ дѣло... Нѐчего напрасно
Тревожиться, и онъ прекрасно
Поступитъ, если не придетъ:
Да и она его не ждетъ,
Совсѣмъ не ждетъ и имъ не бредитъ:
Напротивъ, очень можетъ быть,
Что и сама она уѣдетъ
На цѣлый вечеръ. Заложить
Велитъ двухмѣстную карету
И ко всенощной къ Филарету
Отправится. Пускай придетъ
И не застанетъ дома... Боже,
Какъ онъ разсердится!

— За что же
Вы сердитесь, философъ мой!
Могла ль я думать, что рѣшитесь
Вы на свиданіе со мной?
Нѣтъ, вы сперва въ меня влюбитесь,
Потомъ уже... О, вы чудакъ
Такой, какихъ на свѣтѣ мало!
Что за бѣда, что я не стала
Васъ дожидаться? Если такъ
Васъ это сердитъ,—чѣмъ хотите
Я искуплю мою вину...
Желайте, требуйте, просите...

И я... я васъ не обману.
Отбросьте недоразумѣнья!

Такъ въ области воображенья
Она бесѣдовала съ нимъ:
Герой былъ счастливъ, и—незримъ;
Она была боготворима
И такъ же, какъ и онъ, незрима...
Пускай глядятъ—пусть смотритъ сынъ...
Пусть смотритъ мужъ...
И за обѣдомъ,
Съ однимъ помѣщикомъ-сосѣдомъ
Она кокетничала; винъ
Ему заморскихъ предлагала,
Сама въ стаканы наливала
И тѣшилась: пусть ни одинъ
Изъ нихъ не видитъ, что тамъ бродитъ
У ней въ мозгу, что происходитъ
Въ душѣ... Въ смѣющихся глазахъ
У ней темнѣе было вдвое,
Чѣмъ ночью въ черныхъ облакахъ
Иль въ омутѣ на днѣ. Какое
Намѣренье скрывалось въ ней,
Когда она своихъ гостей
Такъ угощала за обѣдомъ?—
Кто понялъ?.. Но съ ея сосѣдомъ,
Едва изъ-за стола онъ всталъ,
Случилось диво: онъ повѣсилъ
Свой красный носъ и задремалъ...
Потомъ привсталъ, поклонъ отвѣсилъ,
Потомъ, чтобъ больше не дремать,
Въ гостинницу поѣхалъ—спать.

Съ утра болтающіе гости
Ее терзали. Тайной злости
Полна, она лишь объ одномъ
И думала, и говорила
При всѣхъ, открыто, за столомъ,
Что хочетъ выѣхать; потомъ,
Когда она самъ-другъ осталась
Съ барономъ, вдругъ ей показалось,
Что въ спину колетъ, что она
И простудилась, и больна...
Что ей такъ хочется къ графинѣ
Заѣхать... и... увы! должна
Скучать...

«Ахъ!—вспомнила она
При мужѣ—буду по-латынѣ
Учиться... кажется, звала
Сегодня я Камкова. Зла
Я на него. Да, никакого
Въ немъ такта нѣтъ: по четвергамъ
Зову, зову... даетъ мнѣ слово—
И надуваетъ! Вѣчно къ намъ
Придетъ не во-время. Намедни
Пришелъ поутру; я къ обѣдни
Сбиралась... вѣчно невпопадъ!
Такой чудакъ!»

— Ну, что жь? я радъ!—
Тряхнувши гладенькой головкой,
Сказалъ баронъ,—онъ малый ловкій
И, нечего сказать, ученъ,
Ученъ, собака!
Вотъ, разсталась
Она съ супругомъ и пошла

Въ свой будуаръ. Уже смеркалось;
Заря по окнамъ пронесла
Огни свои и за гардиной
Куда-то спряталась. Въ гостиной
Часы пробили девять. Свѣтъ
Прощальный въ сумеркахъ печальныхъ
Еще кой-гдѣ мелькалъ въ зеркальныхъ
Померкшихъ стеклахъ. Въ кабинетъ
Къ барону лампу осторожно
Пронесъ лакей, но будуаръ
Былъ теменъ: щекъ румяныхъ жаръ
Не озарялъ его... Тревожно
Она оглядывалась; слухъ
Ея былъ напряженъ.—Возможно ль,
Чтобъ время медленное вдругъ
Подкралось къ ночи! Не безбожно ль
Оно обманываетъ насъ?
Неужели условный часъ
Такъ близокъ?.. Сдержанно и бурно
Дышала грудь ея... звонокъ—
И онъ войдетъ...
Чу! молотокъ
Позолоченнаго Сатурна,
У Гименея не спросясь,
Протяжно, съ разстановкой, разъ...
Ударилъ... два... и сосчитала
Она удары: десять!.. Встала
И, блѣдная, пошла къ дверямъ
Передней.
«Ты сегодня въ клубѣ?»
—Ну, да, мой другъ, конечно тамъ,
Сказалъ баронъ.

Баронъ былъ въ шубѣ
И ждалъ кареты; кучерамъ
Былъ посланъ нагоняй. Терпѣнье
Въ немъ лопнуло.—«Какой подлецъ
Закладываетъ!» въ заключенье
Ворчалъ онъ подъ носъ. Наконецъ
Къ крыльцу карета подкатилась
И въ клубъ барона увезла.
Жена въ переднюю вошла
И на швейцара покосилась;
Но—не къ швейцару обратилась,
А къ камердинеру:
«Позвать
Мнѣ сына».
—Онъ никакъ изволилъ
Въ концертъ уѣхать...
«Кто позволилъ?
Баронъ? Какъ мальчика пускать
Въ такія лѣта, одного! Спросите,
Кто изъ людей поѣхалъ съ нимъ!
Какая мука!.. Доложите,
Коли придетъ Камковъ. Другимъ
Отказывайте: говорите,
Что я больна и спать легла».
Сказала, бровью повела—
И вышла.
Боги! нѣтъ страданья
Несноснѣе, какъ ожиданье
Влюбленныхъ. Тотъ, кто испыталъ
Его,—тотъ медленно глоталъ
Сокъ приторный изъ чаши самой
Противной скуки. Надо быть
Не женщиной, не свѣтской дамой,

Чтобъ до конца ее допить
И на другой же день въ постелю
Не слечь на цѣлую недѣлю.

Еще довольно весела
Она была, когда вошла
Въ свой кабинетъ. Нашла, что мало
Огня въ каминѣ. Набросала
Туда щипцами угольковъ,
Подумала: придетъ Камковъ
И что-то скажетъ?..—Не дождаться
Ему признанья новыхъ словъ!
Нѣтъ, я вторично унижаться
Не стану. Нѣтъ!—И ей заняться
Хотѣлось. Спичкою зажгла
Она свѣчу, достала книжку,
Читать хотѣла—прилегла
И встала... Вспомнила Амишку,
Свою собачку, и пошла
Ее укладывать, а кстати
Узнать объ горничной, объ Катѣ,
Которая вчера слегла
Отъ головной простудной боли:
Ей нужно къ икрамъ привязать
Горчишники. Нехудо знать,
Что дѣлается... Словомъ, все ли
Въ порядкѣ.

— Боже мой!.. Камковъ!
Ты, можетъ быть, своихъ часовъ
Не заводилъ—или пропала
Моя записка... или... но
Мнѣ совершенно все равно...
И баронесса повторяла,

Что никого она не ждетъ
И ждать не хочетъ. Пусть придетъ,
Пусть не придетъ,—ей дѣла мало,
Ей все равно!.. Изъ-за него
Она терзать себя не станетъ.
Что онъ такое? ничего!
Плебей, учитель! Вѣчно занятъ,
Чтобъ хлѣбъ насущный добывать...
Ему ль цѣнить! Ему ль понять!
И прочее.—Нѣтъ, нѣтъ! Вѣрнѣе,
Всего вѣрнѣе, что Камковъ
Не заводилъ своихъ часовъ,
И непремѣнно онъ позднѣе
Придетъ... Не получить не могъ
Онъ моего письма... У ногъ
Моихъ онъ выпроситъ прощенье
И за минуту промедленья,
Не только за десять минутъ!

А между тѣмъ часы бѣгутъ.
Замѣтно исчезаютъ краски
Съ ея лица, глаза не лгутъ:
Они горятъ... Лицо безъ маски
Омрачено уже такой
Досадою, такой тоской,
Что... если умъ съ душою бѣдной
Еще по прежнему хитритъ,
— Ты, баронесса,—говоритъ
Ей зеркало:—такою блѣдной,
Такою смутной не была
Съ тѣхъ поръ, какъ сына родила.
И покачнувшись, отошла
Она отъ зеркала, и руки

Скрестила, и опять легла,
И долго вслушивалась въ звуки
Иль въ гулъ шаговъ, колесъ, саней
На улицѣ... Войди онъ къ ней
Сейчасъ,—она бы не сумѣла
Подняться: такъ оцѣпенѣла
Всѣмъ тѣломъ, такъ была она
Вся въ чуткій слухъ превращена.
Войди онъ къ ней сейчасъ,—и въ зрѣнье
Въ такое жь чуткое, какъ слухъ,
Она бы превратилась вдругъ;
И ни одно его движенье
Не ускользнуло бы; въ одно
Неуловимое мгновенье
Все было бъ понято.
Грѣшно
Ему такъ медлить! Какъ! ужели
Одиннадцать?! Какъ бой часовъ
Далеко слышенъ! Прогудѣли
Удары... кончено! Камковъ
Не будетъ...
Въ залу устремила
Она свой взоръ—тамъ тьма была,
И въ темную она вошла
Гостиную, и показалось
Ей тамъ, что будто помѣшалась
Она, что бредитъ наяву—
Къ невидимому существу
Идетъ навстрѣчу... Испугалась
Она такой мечты; осталась
Однакоже впотьмахъ, потомъ
Къ окошку подошла, и лбомъ
Прижавшись къ темной рамѣ, стала

Глядѣть на улицу. Съ угла
Отъ фонарей была свѣтла
Большая улица. Мелькали
То здѣсь, то тамъ, то выростали,
То съеживались тѣни. Вотъ
Какая-то мамзель идетъ,
Какой-то кавалеръ за нею
Спѣшитъ, вытягиваетъ шею—
Картузъ клеенчатый блеститъ
И пропадаетъ... Вонъ, въ овчинной
Шубейкѣ баба штофъ несетъ.
Вотъ, ѣдетъ рысью съ пикой длинной
Казакъ и, можетъ быть, везетъ
Депеши... Вотъ и неуклюжій
Фонарщикъ: съ лѣстницей надъ лужей,
Должно быть, вздумалъ помечтать,
Остановился... и опять,
Опять все пусто... Вотъ изъ мрака
Къ столбу фонарному собака
Идетъ, за ней изъ-за угла
Другая, третья... и прошла
Собачья свадьба... Раздается
Задорный лай... Что это сонъ
Проклятый, или жизнь? А онъ!..
Онъ, можетъ быть, теперь смѣется,
Иль началъ Гегеля читать...
Увы, мечтою не догнать
Того, что въ руки не дается!..
Чего жь ты ждешь? Какой любви,
Какихъ чудесъ изъ-подъ земли?
Повѣрь, никто въ плащѣ не встанетъ
Съ гитарой подъ окномъ твоимъ

И серенады пѣть не станетъ!
Тутъ не Испанія, не Римъ!
. . . . . .
И баронесса воротилась
Въ свой кабинетъ и ухватилась
За колокольчикъ... Боже мой!
Какой нервической рукой
Она звонила, дозывалась
Кого-нибудь—и вотъ ужь къ ней
Идетъ по коврикамъ лакей.
—«Кто былъ у насъ? мнѣ показалось,
Что кто-то позвонилъ?»
—Чего-съ?
—«Кто былъ за полчаса?»
—Никто-съ.
—«Ступай».
Теперь пора сознаться,
Что никогда еще она
Такъ не была оскорблена.
Она хотѣла засмѣяться
И стала плакать... (нѣжный полъ
Красиво плачетъ). Огоньками
Сверкали на ея ушахъ
Алмазы; все лицо руками
Она закрыла и съ висковъ
На локти черными волнами
Сбѣгали косы... Не Камковъ
Ужь былъ въ умѣ у ней... Что значитъ
Камковъ? И не любовь въ ней плачетъ,
А плачетъ гордость. Ужь до тла
Въ ней догорѣла страсть; желанья
Потухли... баронесса зла—
И только!.. Тихія рыданья,

— Истерики припадокъ...
Но
Что долго плакать! Ужь давно
И спать пора! «Давно ль я стала
Такой нервической?» сказала
Она, и локти отняла
Отъ столика и подняла
Свѣчу, и въ спальню отворила
Дверь полированную.—Спать,
Такъ спать! Другую засвѣтила
Она свѣчу, но раздѣвать
Себя не кликнула ни Кати,
Ни Дуни; а замѣчу кстати,
Что баронесса никогда
Сама не раздѣвалась; это
Событье съ нею, господа,
Случилось въ первый разъ... Ну да,
Событье! Впрочемъ безъ корсета
Она была и, стало быть,
Ей не предвидѣлось большого
Труда себя разоблачить.
Къ тому же Катя нездорова,
А Дуня спитъ—къ чему будить!
Неторопливо раздѣвалась
Она и, наконецъ, осталась
Въ одной сорочкѣ. «Боже мой!
Какой однакоже больной
Кажусь я въ зеркалѣ! уныло
Подумала.—А прошлый годъ
Я такъ свѣжа была!..» И вотъ
Она вниманье обратила
На томные свои глаза,
На пятна слезъ (замѣтно было,

Что по лицу прошла гроза)...
Раздѣтая, она осталась
Передъ трюмо; сперва созналась
Съ невольной грустью, что она
Безъ платья ужь не такъ стройна,
Какъ въ платьѣ, что на пьедесталѣ
Поставленную, можетъ быть,
Ее не стали бы цѣнить
И восхищаться бы не стали.
И баронесса начала
Себя осматривать: нашла,
Что плечи пышны, грудь бѣла
И высока, и руки стройны,
И волосы роскошны, и
Все, все, что нужно для любви
И нѣги... Но благопристойны
Мы будемъ, и не скажемъ вамъ
Всего, что въ зеркалѣ предстало
При двухъ свѣчахъ, безъ покрывала,
Ея заплаканнымъ глазамъ.
«Дуракъ Камковъ!» она сказала
Почти съ презрѣньемъ, и въ сердцахъ
Задула свѣчи. Вотъ, впотьмахъ
Отдернутая занавѣса
Опять задернулась и спать
Легла спокойно баронесса.
Ей тихой ночи пожелать
И мы не прочь: вѣдь ей досталась
Довольно трудная игра.
Она, несчастная, съ утра
Страдала, вдоволь настрадалась,—
Пора заснуть! Но не спалось
Ей, бѣдной: въ жизнь ея былую,

Блистательную, молодую,
Воображенье унеслось,
И унесло съ собой до слезъ
Обиженное сердце... Было
Надъ чѣмъ подумать! Но забыла
Она, какъ вѣтрено губила
Она сердца, когда была
Моложе. Память говорила
Ей о другомъ: она плыла
На пароходѣ за границу;
Была въ Миланѣ... какъ царицу
Ее встрѣчали тамъ: она
Всей тамошнею молодежью,
Какъ василекъ шумящей рожью,
Съ утра была окружена.
За ней ухаживалъ посланникъ,
И лордъ въ гороховомъ пальто,
И политическій изгнанникъ,
И пламенный артистъ—и кто,
Кто былъ тогда ея избранникъ?
Кто былъ у ногъ ея?—Никто
И—всѣ до одного!.. И каждый
Изъ нихъ, томясь ревнивой жаждой,
Готовъ былъ жертвовать собой
За мигъ любви, и—Боже мой!
Все позабыть, и гдѣ жь влюбиться!
Въ Москвѣ!.. И можетъ это быть!
И можетъ вздоръ такой присниться!
И кто повѣритъ, что она
Была въ Камкова влюблена!..
Плебей! Учитель!—Нѣтъ, Россія,
Еще ты дикая страна!
Невѣждами населена,

Медвѣдями! И молодые
Какъ старики, и старики
Какъ дѣти... Можно отъ тоски
Здѣсь умереть. Пора въ Тоскану,
Въ Миланъ, въ Венецію. Не стану
Я больше медлить здѣсь... Прощай,
Прощай, Москва! съ тобой прощаться
Я рада, только пожелай
Мнѣ никогда не возвращаться.
Конечно, можно кой-кого
Здѣсь уважать: литература
Цвѣсть начинаетъ: я не дура
И понимаю... для чего
Пристрастной быть?—ужь за науки
Россія принялась отъ скуки,
И въ этомъ можно принимать
Участье, но... но—не дышать,
Не жить!
Такія-то блуждали
Въ ней мысли и мѣшали спать.
И до нея не долетали
Ночные звуки: такъ она
Была въ себя погружена.
Но вотъ Амишка заворчала,
И баронесса услыхала,
Что кто-то въ спальню къ ней вошелъ.
То былъ баронъ; онъ былъ въ халатѣ,
И шаркалъ туфлями; на столъ
Ночникъ поставилъ и къ кровати
Придвинулся.
—«Ты спишь, другъ мой?»...
Блѣдна, какъ мраморъ гробовой,
Она въ подушкахъ чуть дышала.

«Ты спишь?» Она не отвѣчала,
И не хотѣла отвѣчать.
«А я хотѣлъ тебѣ сказать,
Что я сегодня двадцать тысячъ
Привезъ изъ клуба; а тебя
И не разбудишь!» «Еслибъ высѣчь
Тебя могла я»,—про себя
Она подумала,—«признаться,
Была бъ отъ этого не прочь.
Какъ жаль, баронъ, что въ эту ночь
Ты не изволилъ проиграться».
Такъ, чуть дыша, въ объятьяхъ сна
Притворно-сладкаго, она
Кипѣла. Видно, притворяться
Ей не наскучило... И онъ
Не разбудилъ ея... Баронъ
Былъ деликатенъ. Но закроемъ
Ихъ ложе пологомъ: авось,
Соединивъ ихъ, успокоимъ
Сердца ихъ, бьющіяся врозь.

И на другой день въ праздникъ (въ будни
Для баронессы) ровно въ часъ
Она проснулась пополудни.
Явилась Катя.—«Что ты?»—«Васъ
Я разбудить не смѣла; надо
Вамъ въ магазинъ; уже давно
Заложена карета».—«Но
Я нездорова... впрочемъ рада
Я выѣхать. А какова
Погода?..»

Баронесса встала
Усталой, впрочемъ голова
Была свѣжа. И причесала
Ей Катя волосы. Корсетъ
Ужь баронесса надѣвала,
Когда ей подали пакетъ
Съ печатью. Тихо положила
Она письмо на туалетъ,
Задумалась, но не спросила:
Откуда, отъ кого? Заныло
Въ ней сердце. Можетъ быть, Камковъ
Вчера былъ очень нездоровъ,
Не могъ пріѣхать?—никакого
И оправданья нѣтъ другого.
Но если только умирать
Не вздумалъ онъ, я и читать
Не стану! Долго колебалась
Она: назадъ ли ей послать
Письмо, или прочесть? Осталась
Одна и—сорвала печать.

ПОСЛАНІЕ КАМКОВА.

«Когда бъ въ условный часъ свиданья,
Давъ волю роковымъ мечтамъ,
Прочелъ я по твоимъ глазамъ
О тайнахъ твоего страданья,—
Клянусь, я бъ палъ къ твоимъ ногамъ,
И, сердцемъ нищій, всѣ богатства
Его тебѣ бы обѣщалъ,
Твое бы сердце обокралъ,
И совершилъ бы святотатство.
Клянусь! я бъ обманулъ тебя,

Себя, и Бога, и природу,
Я бъ исказилъ свою свободу
И обладалъ бы, не любя.
Нѣтъ, передъ любящей душою,
Передъ страданіемъ твоимъ
Я прохожу, склонясь главою,
Какъ передъ чашею святою,
Глухимъ отчаяньемъ томимъ.
Запуганъ жизнью, я страдаю,
Когда люблю и не люблю;
Но о прощеньи не молю
И ничего не принимаю
Отъ тѣхъ, которымъ не даю.
Скажи—и справедливо будетъ,
Когда ты скажешь обо мнѣ:
Несчастный! онъ меня не любитъ,
А могъ бы счастливъ быть вполнѣ!»...

И баронесса прочитала
Стихи, и тутъ же разорвать
Хотѣла ихъ, но воздержала
Себя отъ гнѣва, чтобъ опять
Ихъ на досугѣ прочитать...

Какъ вамъ понравились, читатель,
Стихи героя моего?
—Да что, помилуйте! мечтатель!—
Мечтатель, больше ничего!
Писалъ онъ искренно, быть можетъ,
Но... но и это не поможетъ.
Въ нашъ вѣкъ въ поэзіи смѣшонъ
Восторженный какой-то тонъ...
Крикъ сердца насъ ужь не тревожитъ,
И все мы это сознаемъ...

Но мы на судъ не позовемъ
Ничѣмъ невиннаго Камкова.
Въ тѣ дни, когда онъ обиталъ,
Училъ, учился и мечталъ
И землю бременилъ,—едва ли
Друзья больнымъ его считали:
Для нихъ служилъ онъ образцомъ
Души и мысли непреклонной.
Въ средѣ холодной, дряблой, сонной
Онъ выросъ; но глядѣлъ бойцомъ,
Когда его впервые встрѣтилъ
Студентъ Бѣлинскій, и Камковъ,
Быть можетъ, прежде всѣхъ замѣтилъ
Въ немъ искру Божью, и отвѣтилъ
На первый пылъ его идей
Живою дружбою своей...
Бѣлинскій долго оставался
Къ нему пристрастнымъ (господа!
Скажу вамъ на ухо) тогда...
Нашъ первый критикъ восхищался
Стихами друга моего,
И даже видѣлъ въ немъ поэта...
Камковъ, напротивъ, на него
Нерѣдко нападалъ за это.
Своихъ стиховъ онъ не цѣнилъ;
Когда же Лермонтова скорбный
Раздался голосъ, онъ почтилъ
Свою поэзію надгробной,
Безъ слезъ и жалобъ... Не упалъ
Онъ духомъ, только разъ, угрюмый,
Поникъ надъ лермонтовской думой:
— «Мы здѣсь пропущены», сказалъ.

ПОСЛАНІЕ КЪ КАМКОВУ

ОДНОГО ИЗЪ ДРУЗЕЙ ЕГО.

въ 1846 году.

Ты былъ угрюмъ, но тихъ и блѣденъ,
Привѣтливъ, но невеселъ, — бѣденъ,
Но въ людяхъ счастья не искалъ;
А я былъ юноша-мечтатель,
Тщеславный, вѣтренный искатель
Удачъ, разгула и похвалъ.

Душой мельчая съ каждымъ годомъ,
Тебѣ внималъ я мимоходомъ;
Со мной ты мало говорилъ,
Наставникъ нашъ краснорѣчивый!
Но и внѣ школы—твой пытливый,
Твой свѣтлый взоръ за мной слѣдилъ.

Ты выжидалъ. Настало время,
Жизнь на меня легла, какъ бремя;
Изнылъ я отъ пустыхъ страстей,
Отъ пересудовъ, пошлыхъ мнѣній,
Отъ вѣковыхъ предубѣжденій,
Не сознавая ихъ цѣпей.

И я пришелъ къ тебѣ — невольно
Меня къ себѣ ты влекъ — и больно
Признаться было мнѣ... но ты
Не дождался моихъ признаній:
Ты понялъ *суть* моихъ страданій
И обновилъ мои мечты.

Тебя я слушалъ, какъ пророка;
Ты предо мной раскрылъ широко
Иную жизнь, учитель мой.
Твой умъ сіялъ — ты смѣло ставилъ
Иную цѣль, свободу славилъ...
Пылало сердце — факелъ твой...

Вникать я сталъ—и, какъ туманы,
Рѣдѣли предо мной обманы
Всѣхъ странъ земли и всѣхъ вѣковъ,
Кумиры падали — народы
Внимали голосу свободы,
И выходили изъ оковъ.

И вотъ, въ углу для всѣхъ сокрытомъ,
Какъ ты, я сталъ космополитомъ,—
Сталъ гражданиномъ міровымъ:
Порою въ лѣсъ иду,—порою
Стою задумчивъ надъ рѣкою—
Увы! что дѣлать мнѣ съ моимъ,

Никѣмъ не понятымъ гражданствомъ?
Здѣсь, передъ рабствомъ и тиранствомъ,
Равно я жалокъ и смѣшонъ.
Пишу къ тебѣ средь ночи бурной,
Средь копоти избенки курной,
Буграми снѣга занесенъ.

Хозяева мертвецки пьяны,
И тараканы — тараканы...
Средь обитателей степныхъ
Они одни — хоть и трусливы —
Свободны, трезвы и счастливы,
И молча я гляжу на нихъ.

Ползутъ на грудь, ползутъ за шею,
И я — я силы не имѣю
Давить ихъ на моей груди.
Такъ я гуманенъ! такъ доволенъ
Своимъ гражданствомъ! но я боленъ...
Больной пишу — не осуди!

Въ напечатанныхъ шести главахъ «Свѣжаго преданія» далеко не исчерпывается содержаніе задуманнаго мной романа. Тѣмъ изъ моихъ читателей, которые, пробѣжавъ эти главы, найдутъ въ нихъ хоть нѣсколько страницъ достойныхъ ихъ вниманія, или не поглядятъ на посильный трудъ мой съ высоты своего величія, намѣренъ я въ краткихъ словахъ досказать романъ, мною когда-то задуманный, и такимъ образомъ познакомить ихъ съ его содержаніемъ.

Вотъ планъ романа начиная съ 6 главы до 20.

Камковъ относитъ княжнѣ Лорѣ просвиру отъ ея матери, воротившейся съ богомолья, и доказываетъ ей всю ненормальность ея отношеній къ матери,—отношеній, созданныхъ невѣжествомъ и грубой силой. Лора въ первый разъ отъ роду слышитъ, что мать ея добрая и честная женщина, что она любитъ ее и даже не перестаетъ о ней заботиться. Настаетъ ночь Свѣтлаго Христова Воскресенья. Описаніе этой ночи въ московскомъ Кремлѣ. Въ эту ночь Лора уходитъ отъ своей гувернантки, и, сопровождаемая Камковымъ, на паперти Чудова монастыря, въ первый разъ встрѣчаетъ и обнимаетъ мать свою. Камковъ становится ближе къ Лорѣ—она подчиняется его нравственному вліянію. Мысли Камкова о религіи.

Весна.—Сокольники.—1 мая.—Камковъ рѣшается сказать Лорѣ, что онъ ее любитъ, но безъ всякихъ претензій на взаимность—безъ всякой надежды на свое личное счастіе. Онъ только проситъ позволенія любить ее. Княжна не безъ волненій выслушиваетъ его признанія, но прямо говоритъ ему: вы не мой герой. Тотъ, кого я полюблю, долженъ походить на тотъ идеалъ мужчины и гражданина, который вы не разъ рисовали передо мной, читая мнѣ исторію или толкуя великихъ поэтовъ. Я люблю васъ, какъ друга, какъ брата. Впрочемъ, будущее зависитъ отъ васъ—не теряйте надежды.

Въ маѣ баронесса уѣзжаетъ за границу, не простясь съ Камковымъ. Изъ деревни возвращается въ Москву князь Таптыгинъ—отецъ Лоры. Онъ пріѣхалъ, вызванный судомъ по какому-то уголовному дѣлу, отъ всѣхъ тщательно скрываемому, и отдѣлывается отъ суда, давая взятки и плѣняя всѣхъ своей благонамѣренностью. Это салонный герой со всѣми утонченностями свѣтской любезности, когда онъ во фракѣ и—безпощадный самодуръ, грязный кутила и развратникъ, когда онъ дома, въ бархатныхъ шароварахъ и въ красной, канаусовой рубашкѣ съ косымъ воротомъ. Встрѣтившись съ Камковымъ, онъ сразу не полюбилъ его—глядитъ на него высокомѣрно и съ недовѣріемъ, подмѣчаетъ его дружескія отношенія къ княжнѣ—и возмущается. Камковъ впервые лицомъ къ лицу встрѣчается съ силой, враждебной всѣмъ его убѣжденіямъ, враждебной наукѣ, любви, прогрессу и проч. Кончается тѣмъ, что князь зоветъ его къ себѣ обѣдать и хочетъ при дочери напоить допьяна ея наставника. Камковъ на это не поддается. Черезъ нѣсколько дней князь начинаетъ грубить ему.—Какъ вы смѣете,—говоритъ онъ,—воображать, что стоите на одной доскѣ со мною или съ моей дочерью?

Кончаете урокъ—и гайда! Руки по швамъ! если не хотите, чтобъ я выгналъ васъ. Камковъ отвѣчаетъ ему, что онъ и не ставитъ себя на одну съ нимъ доску, потому что считаетъ себя безконечно выше его во всѣхъ отношеніяхъ. Взбѣшенный князь призываетъ людей и приказываетъ имъ вытолкать Камкова въ шею и выбросить его на улицу. Сцена возмутительная и безобразная.

Оскорбленный Камковъ чувствуетъ вполнѣ все свое безсиліе. Онъ придумываетъ мщеніе и не можетъ ничего выдумать. Знаетъ, что жалоба въ судъ будетъ совершенно безполезна: его обвинятъ за непочтительность къ князю—князя оправдаютъ. Теоретикъ и философъ Камковъ низко падаетъ въ собственныхъ глазахъ своихъ; онъ считаетъ себя уже недостойнымъ не только любви, недостойнымъ дружбы имъ любимой дѣвушки. Онъ рѣшается не видѣть ея и въ умственномъ трудѣ ищетъ себѣ успокоенія. Князь Таптыгинъ увозитъ дочь свою въ деревню. Камковъ случайно видитъ Лору въ окнѣ дорожной кареты. Лора выбрасываетъ ему платокъ свой. Слезы и отчаяніе матери.

Сельцо Таптыгино.—Деревенская жизнь княжны.—Характеръ князя и его подвиги, какъ богатаго помѣщика.—Его пирушки.—Его отношенія къ крестьянамъ, къ сосѣдямъ-помѣщикамъ и къ своимъ любовницамъ.—Княжна изучаетъ эту жизнь.—Пассивное, молчаливое непокорство.—Выплаканное уединеніе.—Тоска. Боязнь передъ насильственнымъ бракомъ. Чтобъ наполнить жизнь свою, она принимается за воспитаніе крѣпостного мальчика Илюши, сына ея бывшей няни, сосланной въ деревню за привязанность къ ея матери.—Мальчикъ, способный къ развитію. — Княжна привязывается къ нему, хотя и скрываетъ свою привязанность. Выучивъ

его грамотѣ, она разсказываетъ ему разныя историческія событія; толкуетъ священное писаніе—и мало-помалу старается привить къ нему чувство человѣческаго достоинства. Такъ проходятъ два года, Илюшѣ наступаетъ четырнадцатый годъ.

Князь находитъ Илюшу празднымъ и дѣлаетъ его своимъ казачкомъ. Илюша прочищаетъ и набиваетъ трубки, гостямъ подноситъ водку; но по ночамъ читаетъ и молится. Княжна же затѣваетъ тайную переписку съ Камковымъ. Изъ ея степного далека, среди вопіющаго невѣжества, грубости и низкопоклонства, среди картежниковъ и псарей, Камковъ кажется ей чуть не великимъ человѣкомъ, чуть не геніемъ. — «Если онъ меня еще любитъ», думаетъ княжна: «онъ сжалится надо мной и увезетъ меня».—Камковъ отвѣчаетъ ей остроумными письмами, но ни слова не говоритъ о любви своей.

У Илюши есть сестра Маша, дѣвушка лѣтъ 17-ти; она живетъ въ селѣ у своего дяди, выборнаго—и ходитъ съ дочерьми его на поденщину. Илюша встрѣчается съ сестрой своей на огородѣ и совѣтуетъ ей не попадаться на глаза барину. Но за Машу сватается кузнецъ Ѳома, и такъ какъ безъ позволенія барина выйти ей замужъ нельзя, то она и должна, по заведенному обычаю, идти къ князю и просить его разрѣшенія. Проходитъ мѣсяцъ. Илюша узнаетъ, что сестра его сильно понравилась его барину. Князь приказывалъ старостѣ къ нему привести ее. Позволеніе на бракъ Маша должна прежде всего купить цѣною своей невинности. Князь считаетъ своимъ правомъ на извѣстный срокъ обладать тѣми, кто имѣетъ счастіе ему понравиться и страшно наказываетъ тѣхъ парней, которые позволяютъ себѣ съ нимъ соперничать.

Илюша худѣетъ, молится, и въ свободныя минуты, когда князь спитъ послѣ обѣда, прокрадывается въ комнату Лоры. Онъ допытывается у ней что бы она сдѣлала, если бы попалась въ руки къ разбойнику, что если бы кто-нибудь насильно ее взялъ къ себѣ вмѣсто жены.—Я бы скорѣй утопилась, отвѣчаетъ Лора. Лѣтняя ночь. Берегъ пруда. Илюша совѣтуетъ сестрѣ своей утопиться. Та не хочетъ.—Моя, знать, такая судьба, говоритъ она.—Чѣмъ я лучше другихъ? Вонъ и Матрена прошлаго года цѣлый мѣсяцъ пожила съ бариномъ—не съѣлъ. Машѣ хочется однакожь тайно отъ барина хоть въ овинѣ повидаться съ кузнецомъ Ѳомой. Она его любитъ и проситъ Илюшу помочь ей.—Нѣтъ, отвѣчаетъ Илюша, не могу я помогать тебѣ. Кузнецъ Ѳома говоритъ, что лучше теперь въ солдаты пойдетъ, чѣмъ на тебѣ женится, и барина, говоритъ, не послушаюсь, пусть дѣлаетъ со мной что хочетъ. Маша уходитъ опечаленная. Илюша мечтаетъ о побѣгѣ.

Княжна пишетъ къ Камкову, что еслибъ не онъ, ей бы и въ голову не пришло заняться воспитаніемъ крѣпостного мальчика—что она при первой возможности заведетъ школу и Илюша будетъ помогать ей, когда выростетъ. Если бы не вы,—пишетъ ему княжна,—мнѣ кажется, я была бы не прочь плясать на пирушкахъ моего отца въ угоду его полуночныхъ собесѣдниковъ и вышла бы замужъ за перваго негодяя. Мнѣ, впрочемъ, тяжело здѣсь. Отецъ подозрителенъ, безпрестанно мѣняетъ мою прислугу и ревниво стережетъ меня; но я сама виновата, я сказала ему: что найду средство бѣжать, если меня не оставятъ въ покоѣ.—Въ это время за окномъ она слышитъ голосъ Илюши:—«Его сѣкутъ!»—Кого? спрашиваетъ княжна.—Ѳому, за то, что онъ не хочетъ жениться на сестрѣ моей.

Князь Таптыгинъ имѣетъ обыкновеніе послѣ ужина прогуливаться за садомъ по гати, откуда видна ему вся деревня. Онъ наблюдаетъ, во всѣхъ ли избахъ погашенъ огонь и не везутъ ли съ поля снопы, тогда какъ послѣ зари возить на гумно снопы князь запретилъ по какимъ-то своимъ собственнымъ соображеніямъ. Обыкновенно въ это время въ селѣ царствуетъ мертвая тишина. По гати мимо барскаго дома никто не смѣетъ ни ходить, ни ѣздить. Одинъ Илюша имѣетъ право приносить своему барину кисетъ, высѣкать огонь или съ трубкой дожидаться его на концѣ плотины. Описаніе темной ночи. Илюша выходитъ на плотину съ топоромъ подъ мышкой, видитъ: по гати ходитъ не одинъ, а цѣлыхъ три барина; на него находитъ страхъ и онъ убѣгаетъ. Всю ночь до утра онъ молится. На другую ночь онъ опять выходитъ съ топоромъ. На этотъ разъ онъ видитъ только двухъ, вмѣсто одного барина; но онъ опять уходитъ и опять всю ночь молится. На третью ночь онъ убиваетъ князя Таптыгина. (Сообщить подробности объ этомъ уголовномъ дѣлѣ мнѣ было обѣщано... Галлюцинаціи мальчика также не выдуманы).

Илюша на зарѣ пошелъ по деревнѣ, и самъ повинился въ своемъ преступленіи. Его связали, послали за становымъ и дали знать въ ближайшій городъ. Ужасъ княжны, когда на другой день, проснувшись, она увидала отца своего съ разрубленной головой.— Панихиды. Сельскій причтъ. Чтеніе псалтыря. Ночныя прогулки княжны по саду. Ея душевное настроеніе. Толки по деревнѣ.—Хорошо еще, что сознался, говорятъ крестьяне,—что, кабы не сознался? Сколько бы изъ насъ просидѣло въ острогѣ за одно подозрѣніе! Илюшу везутъ въ городъ. Его посадили въ телѣгу, вся деревня

сошлась провожать его. Мать, рыдая, подбѣгаетъ къ телѣгѣ и обнимаетъ сына. Кузнецъ также его цѣлуетъ.— Что ты сдѣлалъ? слышится голосъ княжны. Илюша молча глядитъ на нее, но ничего не отвѣчаетъ. Его увозятъ. Благослови его Господи, отпусти ему прегрѣшеніе его! слышится въ толпѣ. Княжна чувствуетъ въ глубинѣ души своей, что не можетъ проклинать убійцы, и—заболѣваетъ.

Спустя мѣсяцъ, осенью, княжна пріѣзжаетъ въ Москву и останавливается у матери. Тутъ авторъ въ первый разъ ее видитъ и провожаетъ ее къ Камкову въ больницу. Камковъ заболѣлъ отъ унынія и усиленныхъ занятій. Болѣзнь лишила его уроковъ и затѣмъ куска хлѣба. Не видя ничего впереди, онъ заболѣлъ еще сильнѣе и хозяйкой своей квартиры отвезенъ въ больницу. Княжна застаетъ его въ памяти, съ письмомъ отъ одного изъ бывшихъ учениковъ его. Она разсказываетъ ему о послѣднихъ деревенскихъ событіяхъ. Камковъ говоритъ ей: «безсильный я былъ человѣкъ; но вижу, слова мои были сильны. Черезъ васъ прошли они въ душу какого-то деревенскаго мальчика и за меня онъ отомстилъ ему. Не могъ я за себя вступиться, онъ за меня вступился. Не могъ я освободить васъ, онъ васъ освободилъ. Мой духъ говорилъ съ нимъ вашими устами. Убійца не этотъ мальчикъ, а я—бѣдный, слабый, умирающій; не онъ, а вы, потому что развивали въ немъ благородныя чувства, тогда какъ кругомъ него была мерзость запустѣнія и ничего человѣческаго. Придетъ время, и оно близко, когда крѣпостное право рухнетъ, и если царь не сокрушитъ его, оно сокрушитъ Россію. Я умираю, но знайте, что тѣнь моя придетъ потревожить васъ, если вы хоть одного человѣка назовете рабомъ своимъ».

Предсмертныя слова Камкова потрясли Лору, поселили въ ея совѣсти такую тревогу, изъ которой она не находитъ выхода.

Старушка, мать ея, поселилась съ ней въ Москвѣ. Она безпрестанно молится за упокой своего мужа и ѣздитъ на могилу Камкова молиться за упокой души его. Княжна отдѣлывается отъ жениховъ и поступаетъ въ сестры милосердія. Баронесса возвращается изъ-за границы съ новымъ любимцемъ. Это какой-то французъ-фортепіанистъ съ артистическими ухватками. Она вводитъ его въ свѣтъ и свѣтъ носитъ его на рукахъ,— рекомендуетъ его какъ учителя музыки и на его концерты сама развозитъ билеты. На вопросъ же: живъ ли еще Камковъ и что онъ дѣлаетъ? отвѣчаетъ: Вѣроятно живъ, но невидимъ, какъ идея совершенно отвлеченная.

Это «Свѣжее преданіе», къ счастію для насъ, потеряло уже свою свѣжесть и нужно слишкомъ много условій для того, чтобъ такое произведеніе въ стихахъ могло въ настоящее время приковать къ себѣ вниманіе читающей публики. Начало же его (помѣщаемое въ этомъ изданіи) не удалось мнѣ. Я обременилъ его подробностями, и, быть можетъ, увлекся своими личными воспоминаніями. Продолжать неудавшееся начало не имѣю силъ... Зачѣмъ же я его печатаю? Печатаю изъ одного предположенія, что нѣкоторыя черты тогдашняго московскаго общества, воспринятыя моей юношеской впечатлительностью, мною довольно вѣрно схвачены; но, разумѣется, это только предположеніе.

Ночь въ Лѣтнемъ саду.

Въ самый день столѣтняго юбилея нашего знаменитаго баснописца И. А. Крылова—а именно, 2 февраля 1868 года, въ три часа пополудни, получилъ я пакетъ отъ неизвѣстнаго, — и въ этомъ пакетѣ рукопись, при запискѣ слѣдующаго содержанія:

«М. Г. Посылаю вамъ мое первое произведеніе, можете нынѣ же вечеромъ публично прочитать его, можете напечатать, можете сжечь,—однимъ словомъ, поступите, какъ заблагоразсудите. Извините, что не подписываю моей фамиліи».

Прочитать публично это произведеніе я никакъ не могъ: слишкомъ поздно уже было хлопотать о дозволеніи; но еслибъ и не было поздно, еслибъ даже и дано мнѣ было это дозволеніе, я все-таки не сталъ бы читать его: полуфантастическій, полупрозаическій, полуполемическій—и, такъ сказать, фельетонный тонъ всего этого произведенія далеко не соотвѣтствуетъ академической торжественности какого бы то ни было юбилейнаго праздника.

Сжечь плоды чужой фантазіи я не захотѣлъ,—сжечь

ихъ — значило бы слишкомъ понадѣяться на свой собственный вкусъ, — и я разсудилъ, что всего лучше плоды эти предложить на пробу — на похвалу или порицаніе достопочтеннѣйшей публикѣ, — иначе сказать, я разсудилъ, что всего лучше, скрѣпя сердце, напечатать эту рукопись.

РУКОПИСЬ.

Моя фамилія... но зачѣмъ вамъ знать мою фамилію? — 28 февраля мнѣ было ровно 28 лѣтъ — значитъ, годика чрезъ два мнѣ стукнетъ тридцать, — и что же! У меня ни порядочнаго мѣста, ни доходнаго труда, ни извѣстности, ни преданнаго друга, ни близкихъ знакомыхъ, ни жены, ни даже возлюбленной (тогда какъ послѣдній будочникъ не обходится безъ возлюбленной), и все это до такой степени меня унижаетъ, огорчаетъ, ожесточаетъ, — однимъ словомъ, до такой степени портитъ характеръ мой, что я вѣтреничалъ, вѣтреничаю и буду вѣтреничать.

До 1862 года, я былъ вольнослушающимъ въ университетѣ, и, разумѣется, надѣялся держать кандидатскій экзаменъ; но держать экзаменъ помѣшали мнѣ кой-какія непредвидѣнныя и неотразимыя обстоятельства — и я поступилъ на службу чуть не писаремъ (вынужденъ былъ поступить для того, чтобъ не истощать съ голоду и, что́ еще ужаснѣе, не сдѣлаться чьимъ-либо нахлѣбникомъ). Каждый день я хожу въ канцелярію и переписываю бумаги. Моимъ сослуживцамъ не нравится моя гордая — якобы нигилистическая физіономія, и никто изъ нихъ не знаетъ, не вѣдаетъ, что я просто вѣтреничаю и буду вѣтреничать.

Будь я разсчетливъ, я женился бы на деньгахъ

(были такіе случаи) и пересталъ бы вѣтреничать (а можетъ быть, и не пересталъ бы); будь я не разсчетливъ, я женился бы на бѣдной дѣвушкѣ, и тогда вѣрнѣе пересталъ бы вѣтреничать; но я слишкомъ гордъ, чтобъ поступить къ женѣ своей на содержаніе, и не настолько самонадѣянъ, чтобы жениться на бѣдной, тогда какъ все мое богатство заключается въ бекешѣ съ потертымъ бобровымъ воротникомъ моего покойнаго батюшки, въ серебряной папиросницѣ съ его гербомъ, въ моей благопріобрѣтенной библіотекѣ (девяносто семь заглавій), въ моемъ жалованьи (25 рублей съ копѣечками въ мѣсяцъ) и, наконецъ, въ отрадномъ воспоминаніи о тѣхъ десяткахъ тысячъ, которые прожили мои почтенные родители, скитаясь по Европѣ изъ столицы въ столицу и съ водъ на воды, подъ тѣмъ предлогомъ, что я золотушенъ, и что въ Россіи они не надѣются порядочно воспитать меня.

Я вѣтреничаю еще и потому, что въ наслѣдство отъ моихъ родителей получилъ я горячій темпераментъ, и, быть можетъ, ту самую игривую фантазію, которая заставила ихъ, ради моей какой-то сыпи за ушами, прожить остатки всего своего состоянія, задолжать и умереть, мечтая, что по смерти ихъ я выиграю 200,000 рублей на два билета перваго внутренняго займа, которыми старушка мать моя заблагоразсудила благословить меня;—но миръ ихъ праху—я на нихъ не ропщу, я на нихъ не жалуюсь, я только вѣтреничаю и буду вѣтреничать.

Было время, когда я чуть-чуть было не сдѣлался литераторомъ, такъ какъ я уже сказалъ вамъ, что у меня игривая фантазія.

Началъ я, разумѣется, стихи писать: авось, думалъ, вдохновеніе выручитъ; исписалъ цѣлую тетрадь — по-

несъ ихъ въ одну редакцію — прочли, сказали: — это поэзія, чистая поэзія, въ наше время порядочные люди такимъ вздоромъ не занимаются! — Понесъ въ другую редакцію — прочли, нашли, что въ стихахъ моихъ все какія-то модныя тенденціи, все какая-то скорбь гражданская — и ни на каплю поэзіи, ни на грошъ искусства! — Вотъ-те и знай — то зачѣмъ поэзія — то зачѣмъ нѣтъ поэзіи!... Проклялъ я стихи и принялся за прозу.

Задумалъ статью — и дорого она мнѣ стоила. Я взялся за задачу очень трудную, а именно — доказать насколько статистическія данныя задерживаютъ развитіе однѣхъ идей — и даютъ ходъ другимъ, — какія соціальныя теоріи вытекаютъ изъ самой жизни—и какія ей предшествуютъ и ей навязываются? Согласитесь сами, что задача трудная, и я надъ моей статьей работалъ чуть ли не полгода, чуть было изъ-за нея не лишился мѣста и не потерялъ моихъ послѣднихъ 25 рублей жалованья. Для этой статьи книгъ моихъ было слишкомъ недостаточно — я сталъ ходить въ Публичную библіотеку, пренебрегалъ службой, и уже на мое мѣсто экзекуторъ чуть было не рекомендовалъ какого-то своего родственника. Вотъ что значитъ заняться умственнымъ трудомъ и на цѣлые полгода перестать вѣтреничать!

Понесъ я статью свою въ одну редакцію: прочли, сказали, что эта статья не дурная, но *ретроградная*— и при этомъ многознаменательно нахмурились.

Понесъ въ другую редакцію—слава Богу, взяли, только покосились немного,—прочли, нашли, что статья моя до такой степени *красная*, что помѣстить ее нѣтъ никакой возможности—и воротили мнѣ ее чуть не съ негодованіемъ.

Помню, какъ я, съ этой несчастной статьей, изъ

редакціи вышелъ на тротуаръ—остановился... и не узналъ улицы... Долго стоялъ я убитый, и какъ бы оплеванный. Наконецъ, быстро, порывисто сдвинулся съ мѣста и такъ задвигалъ ногами, какъ будто кто бѣжалъ за мной... Встрѣтился съ какою-то прехорошенькой дѣвушкой—и пренебрегъ: мнѣ все было противно, и редакторы, и хорошенькія дѣвушки.

Итакъ, надежда литературнымъ трудомъ добиться въ жизни кое-какого благосостоянія—навсегда для меня погибла. Какое же такое есть на свѣтѣ дѣло, которое казалось бы мнѣ самому серьезнымъ, и, въ то же время, не только могло бы быть по мѣрѣ моихъ силъ и способностей, но и удовлетворять меня, мой умъ, мою совѣсть—и, наконецъ, хоть немножко льстить моему самолюбію? Столяръ меня не приметъ, башмачникъ не приметъ, кузнецъ не приметъ, не потому, что я ретроградъ или либералъ, а потому, что я не въ столярной, не въ башмачной и не въ кузницѣ—а въ университетѣ получилъ свое образованіе.

Я опять началъ вѣтреничать, и въ искусствѣ на улицахъ волочиться за юными незнакомками достигъ такого совершенства, что—мое почтеніе! Но я ни себя, ни другихъ не хотѣлъ серьезно обманывать, и вотъ почему моя вѣтренность ни къ чему не привела меня...

Виноватъ, она привела меня къ тому, что разъ, въ концѣ августа, всю ночь напролетъ — одинъ-одинешенекъ провелъ я,—гдѣ бы вы думали? въ Лѣтнемъ саду на скамеечкѣ.

Не стану описывать вамъ моей послѣдней встрѣчи, послѣдней, самой безумной любви моей. Со мной кокетничали—и я вѣрилъ. Мнѣ назначили свиданіе въ Лѣтнемъ саду въ 9 часовъ вечера,—и въ этомъ саду, исходивши его вдоль и поперекъ, я не нашелъ моей

красавицы, сѣлъ на скамейку—и до того задумался, что не слыхалъ, какъ всѣ вышли, и какъ съ обоихъ концовъ ворота заперли.

Мое горе было такъ велико, кой-какія подозрѣнія и обманутое ожиданіе до такой степени потрясли мои нервы и разбередили мое сто тысячъ разъ уязвленное самолюбіе, что я, убѣдившись, что нѣтъ мнѣ выхода, преспокойно воротился на прежнее мѣсто, на чугунную, сырую скамеечку, что противъ монумента дѣдушки Крылова, завернулся въ пледъ, протянулъ ноги, закрылъ глаза и какъ бы забылъ гдѣ я—и что будетъ, если сторожа или солдаты найдутъ и примутъ меня за вора или за пьянаго?..

Около часу ночи стало порядкомъ сыро и холодно, дрожь пробрала меня—захотѣлось курить—увы! въ моей папиросницѣ нашлась одна, и то измятая папироска, но не нашлось ни одной фосфорной спички. Тутъ только я съ досадой почувствовалъ, что я не дома, и пожалѣлъ, сильно пожалѣлъ, что лежу не въ своей бѣдной каморкѣ и не на своей постели. Наконецъ-то я совершенно, такъ сказать, вникъ въ мое положеніе и сталъ озираться, какъ бы стараясь приглядѣться къ ночной обстановкѣ своего новаго ночлега. Далеко кругомъ шумѣла столица; но въ саду все было тихо, и, казалось, ни одинъ листикъ не шевелился; поднимался туманъ и, какъ бы увязнувъ между вѣковыми липами, стоялъ по куртинамъ въ какихъ-то бѣлесоватыхъ, неопредѣленно смутныхъ очертаніяхъ. Иныя липы росли точно на воздухѣ, иныя не были видны до самыхъ верхушекъ, и эти верхушки казались мнѣ темными островами, поросшими невысокимъ кустарникомъ. Не знаю, былъ ли на небѣ мѣсяцъ; но лунный свѣтъ явно во всемъ принималъ свое таинственное участіе, и нѣтъ

сомнѣнія, даже мозгъ мой настраивалъ на то, чтобъ я во всемъ видѣлъ что-то фантастическое, моимъ разсудкомъ ни на одну минуту не допускаемое. Монументъ Крылова чернѣлъ передо мной какою-то массой безъ рукъ, безъ ногъ, съ чѣмъ-то круглымъ вмѣсто головы,— и я, волей-неволей, раскрывая глаза, глядѣлъ на его очертанія:

— Ишь, сидитъ! хорошо ему тутъ! думалъ я, и, казалось, былъ золъ въ эту минуту не на *нее*, и не на себя, а на дѣдушку Крылова за то, что отъ его такого близкаго сосѣдства мнѣ ничуть не теплѣе, не веселѣе, не мягче и не удобнѣе. Ему все равно—все равно, продолжалъ я думать, какъ велики мои потребности, сколько я получаю жалованья, и насколько при этомъ моя откровенность губитъ мои сердечныя отношенія.

Легкая дремота стала одолѣвать меня, я какъ можно крѣпче надвинулъ на лобъ свою неловкую шляпу, закрылъ глаза и забылся, погруженный въ созерцаніе своего безвыходнаго и грустнаго одиночества,—(не въ Лѣтнемъ саду и не въ эту ночь, а во всемъ городѣ съ его полумилліоннымъ населеніемъ)... Вдругъ подулъ легкій вѣтеръ—скрипнуло какое-то дерево, что-то мокрое скользнуло у меня по лицу—и я очнулся. Туманъ уже ползъ, подъ нимъ шелестили и словно катились—волочились по слѣдамъ его опавшіе листья, вершины шумѣли; надъ головой бронзоваго дѣдушки, какъ летучій дымъ, пронеслось какое-то безпрестанно обрывающееся облако, и вслѣдъ за тѣмъ на его лицѣ вдругъ показались свѣтлые блики, обозначались его колѣни, руки, и даже кое-какія складки мѣшковатаго сюртука его. Съ тою же затаенной досадой, сталъ я всматриваться въ знакомыя мнѣ черты хмураго, неподвижнаго лица его и

невольно вздрогнулъ: мнѣ показалось, что дѣдушка шевелитъ губами...

— Шалишь! подумалъ я,—не напугаешь! просто, при лунномъ свѣтѣ качаются вѣтки, тѣни отъ нихъ ходятъ по губамъ его; а мнѣ и кажется, будто они шевелятся—оптическій обманъ и больше ничего!

Я закрылъ глаза и сталъ думать: а что, если бы дѣйствительно показалось мнѣ, что бронзовая статуя дѣдушки не только губами шевелитъ, но и дѣйствительно говоритъ со мной, что тогда?

И, поправивши на головѣ шляпу (она, проклятая, безпрестанно съѣзжала у меня на одинъ високъ), я спустилъ ноги на землю, на груди à la Napoléon сложилъ свои руки, и сталъ думать о дѣдушкѣ, о его житьѣ-бытьѣ, о его прямодушныхъ и дружескихъ связяхъ съ тогдашними литераторами, о его басняхъ, когда-то въ дѣтствѣ на половину мною изученныхъ, и не странно ли, пока я все это думалъ, я боялся поднять голову, боялся опять увидать шевелящіяся губы, и, несмотря на этотъ неопредѣлимый страхъ, все-таки поднялъ голову—губы шевелились по прежнему.—О! чортъ возьми! чуть не вскрикнулъ я,—ну говори... ну! что ты ничего не говоришь, говори, коли можешь!—Я закрылъ глаза, и, вообразите, дѣдушка Крыловъ своимъ старческимъ, добродушно-ироническимъ голосомъ, не шутя заговорилъ со мной. Показалось даже — самое лицо его склонилось надо мной, какъ лицо старой няни надъ изголовьемъ засыпающаго ребенка. Не поднимая рѣсницъ, я сталъ вслушиваться, вслушиваться, и ясно услыхалъ стихотворную, прямо ко мнѣ обращенную рѣчь его:

— Попался! заперли дружка!
Ну, не сердись—бѣда не велика...
Проглянетъ солнышко—и отопрутъ ворóта;
Но помни, милый, врагъ силенъ,
И въ жизни, что ни шагъ—капканъ или тенёта...
Не думаю, чтобъ ты былъ искренно влюбленъ,
Хоть и сидишь, надувши губы.
А ночь-то сиверка—я за тебя боюсь:
Того гляди, получишь флюсъ,
Иль какъ-нибудь простудишь зубы.
Закутайся, съ меня примѣра не бери,
Я и зимой сижу безъ шапки да безъ шубы:
Чтобъ такъ сидѣть, сперва умри...
Ты морщишься—ты думаешь, быть можетъ,
Что баснями не кормятъ соловья,—
И злой, какъ маленькій щенокъ, который гложетъ
Пустую кость, косишься на меня;
А я чѣмъ виноватъ, что молодца надули,—
И я, какъ ты, была пора,—
У *Кумушки-Лисы* стоялъ на караулѣ,
И какъ *Пустынникъ* ждалъ отъ *Мишеньки* добра.
И я не разъ, какъ глупая *Плотичка*
Въ водѣ, хватался за крючокъ,—
Былъ волокита, былъ игрокъ...
Но у меня была привычка
Въ самомъ себѣ подглядывать порокъ,—
Себя сначала
Отъ путъ его освобождать,
А ужь потомъ и уличать
Кого попало...

Такъ началъ дѣдушка—и странно, я вдругъ пересталъ его бояться—и это одно заставляетъ меня отчасти

предполагать, что я дремалъ и грезилъ. Будь это наяву—я непремѣнно бы заоралъ: караулъ! и меня бы непремѣнно связали какъ сумасшедшаго.

Все, что дальше говорилъ онъ—дай Богъ память!.. все, что дальше говорилъ онъ, очень и даже очень похоже на какую-то фантасмагорію—

— Не вѣришь ты, дружище, чудесамъ;—
Не вѣрь, пожалуй!
Но старымъ баснямъ вѣрь—вѣрь говорящимъ львамъ,
Осламъ, баранамъ и волкамъ,
И даже мошкѣ самой малой.
Что я такое въ сущности?—Металлъ!...
А если бы ты зналъ,
Какой со мной былъ случай странный?!
Не жди ты отъ меня фантазіи туманной;
Я никогда не залеталъ,
И никогда не порывался
Въ ту область, гдѣ бъ мой умъ терялся.
И такъ,
Повѣришь ли, землякъ,
Что тотъ Крыловъ, который предъ тобою
Изъ мѣди отлитой, съ массивной головою,
И потемнѣвшій отъ дождя,
Сидитъ, какъ статуя, и—по всему судя,
Никакъ не можетъ шевелиться,
Однажды могъ—не только бъ съ мѣста встать,
Не только бъ на землю спуститься,—
Но и въ аллеяхъ погулять.
Не вѣришь?—хорошо—но, слушай, по порядку
Начну разсказывать, какъ есть всю правду-матку.

Однажды—поздній вечеръ былъ—
На гнѣзда голуби слетали,
Аврора гасла—чуть дрожа,
Цвѣтущихъ, сонныхъ липъ верхушки лепетали,
Садовыя ворота запирали,
И у воротъ стояли сторожа,
Чтобъ монументъ мой не украли
(На что у насъ нашлись бы мастера!).
Ну, словомъ, та была пора,
Когда для васъ, для молодежи,
При лунномъ свѣтѣ, сгоряча
Прелестны кажутся тѣ рожи,
Что отъ бѣлилъ на гипсъ похожи,
Иль отъ румянъ краснѣе кумача.
Луна изъ облака глядѣла
И, хоть туманъ носился надъ Невой,
Зефиръ дышалъ такою теплотой,
Что у меня спина съ затылкомъ отпотѣла;—
Вдали свисталъ какой-то все свистокъ—
Не съ фабрики, и не съ завода,
Такъ съ парохода;
Лиловой полосой, кой-гдѣ мелькалъ востокъ;
Вдругъ, слышу я, какъ будто вѣтерокъ
Коснулся арфы струнъ воздушными перстами,
Мнѣ съ юныхъ лѣтъ знакомый голосокъ
Залепеталъ привѣтными рѣчами;
Облокотилась бѣлая рука
На темное плечо.—Холодная щека
Почуяла горячее дыханье.—
И кто, ты думаешь, уважилъ старика?
Кто подарилъ его минуткою свиданья?
Я Музу прежнюю мою
Увидѣлъ, и—не утаю,

Отъ радости, едва не началъ плакать.—
Она сошла ко мнѣ немножко покалякать,
А можетъ быть, и подразнить...
Не стану я тебѣ, дружище, говорить,
Какъ много въ ней нашлось намъ общаго, родного,
И мнѣ замѣтно дорогого;
Ты этого, быть можетъ, не поймешь,
Подъ говоръ словъ моихъ заснешь
Иль обругаешь дѣдушку Крылова.—
Чтобъ не соскучился ты въ запертомъ саду,
Я лучше на смѣшное перейду—
Вѣдь ты, признайся-ка, охотникъ до смѣшного—
. . . . . .
Такъ слушай же,—наперсница моя,
Иначе, Муза—вдругъ, изъ дѣвы горделивой
И ясно-тихой, стала хлопотливой,
Насмѣшливой такой, какою часто я
Видалъ ее, когда я брился, одѣвался,
Иль съ именинныхъ пироговъ,
Чтобъ до-обѣденныхъ не потерять часовъ,
Еще позавтракать сбирался.
И слышу—Муза говоритъ:
— Иванъ Андреичъ! гдѣ твой аппетитъ?
И думалъ ли ты нынче объ обѣдѣ?
— Помилуй, говорю, голубушка моя,
Или забыла ты, что я —
И что нутро мое—изъ мѣди!
Что еслибъ даже, наконецъ,
Я былъ на дачу или во дворецъ,
На праздничный обѣдъ или на завтракъ съ чаемъ,
Самой Императрицей приглашаемъ,
Я бъ затруднился....
— Это почему?

— Да потому,
Что я сижу на пьедесталѣ,
И стало быть—обязанъ, такъ сказать,
Монументальность соблюдать,
Куда бъ меня ни приглашали.
Другое дѣло—погулять
Тихонько, чтобъ себя немного поразмять—
Да и того нельзя!—Природы-то законы
Мы знаемъ, матушка, вѣдь мы не вѣтрогоны,—
Не метафизики!—На что надежды нѣтъ,
О томъ не мыслю я нимало.
— И! что ты?—говоритъ,—мой свѣтъ!
Была бъ охота!
Кто можетъ молніи бросать во всѣ концы,
Кто можетъ въ мудрецы
Пожаловать любого идіота,
Кто можетъ радугу въ болото опустить,
Тотъ можетъ и тебѣ дозволить походить,
Хотъ ты и вылитъ изъ металла.
А помнишь ли, какъ ты, бывало,
Одушевлялъ,
И говорить, и мыслить заставлялъ
Булыжникъ и *Алмазъ*—и *Паруса* и *Пушки*,
Булатъ, *Мѣшокъ* и *Гребешокъ*,
И *Василекъ*,
И—помнишь—дерева цвѣтущія верхушки
Корнями вздумалъ пристыдить.
Такъ можно и тебя вполнѣ одушевить,
Лишь стоитъ Зевса попросить.
И, что ты думаешь,—отправилась съ прошеньемъ,
И несмотря на то, что ночь уже была,
Что, усыпивши міръ, уже кутили боги...
Она таки прошла —

Таки прошла въ Зевесовы чертоги,
И что ужь тамъ она плела,
Кого какимъ обворожила пѣньемъ,—
Но только въ ту же ночь опять ко мнѣ сошла
Съ невѣроятнымъ дозволеньемъ.
Въ бумагѣ значилось: «*Такъ какъ Иванъ Крыловъ*
Усталъ сидѣть—то можетъ прогуляться,
И по саду ходить до утреннихъ часовъ,
(Не мять травы—не рвать цвѣтовъ)
А поутру опять на пьедесталъ взобраться,
И какъ сидѣлъ въ виду потомства, такъ—и сѣсть.»
Прочтя такой курьезъ, пришелъ я въ изумленье—
Подумалъ: вотъ какая честь!
Съ тѣхъ поръ, какъ міръ стоитъ, такого позволенья
Не получалъ
Ни мраморъ, ни металлъ
(Одинъ примѣръ:—къ Жуану, я читалъ,
Пришла на зовъ статуя Командора...
Но и въ живыхъ, такого вздора
Я никогда за быль не почиталъ).
— Спасибо, Муза! Что бы ни случилось,
Я буду, милая, тебя благодарить.
Но я отъ чувства былъ не въ силахъ говорить,
И Муза удалилась.
И показалось мнѣ, что мѣдь
Моя размякнула... Эге! Не сердце ли забилось!
Не кровь ли начала кипѣть!
Ну, думаю,—чудесно!—славу Богу!
Теперь я голову свою приподниму,
И протяну отсиженную ногу.
(Пожалуйста, любезный, никому
Ты словъ моихъ не передай печатно:
Или ихъ вовсе не поймутъ,

Иль, на твою бѣду, глупцы поймутъ превратно,
Осудятъ, какъ лжеца, и позовутъ на судъ;
Ну, что тогда своимъ ты судьямъ скажешь,
И чѣмъ слова свои докажешь?)

. . . . . .

Итакъ, любезный мой, я собрался гулять,
Но—знаешь—я лѣнивъ,—къ тому же размышлять,
Какъ видно, не отвыкъ, и вѣришь ли?—спуститься
На землю цѣлый часъ никакъ не могъ рѣшиться.
Что, если—началъ думать я—
Такая выйдетъ вдругъ статья,
Что я,
Слѣзая, памятникъ сломаю:
Кусокъ гранита отшибу отъ краю,
На барельефѣ носъ сшибу у журавля,
Или въ изваянномъ квартетѣ
Сломаю скрипку?!—кто въ отвѣтѣ!?
Повѣрятъ ли, что я, изъ бронзы отлитой,
Своею собственной пятой
Испортилъ барельефъ, заказанный казной;
Что это—дѣдушка Крыловъ изволилъ лазить
И этакъ напроказить!?—
Что, если—думалъ я,—
Да кто-нибудь другой изъ-за меня,
Какъ виноватый, будетъ связанъ,
Или въ примѣръ другимъ наказанъ!
Потомъ, и то мнѣ въ голову пришло:
Положимъ, тихо, осторожно
Спущусь я на землю—куда ни шло!
А ну, какъ я, судьбѣ на зло,
Назадъ не взлѣзу!!... Въ жизни все возможно—
И я не разъ видалъ такихъ,
Что стоитъ ихъ

Столкнуть съ ходуль иль съ пьедестала,
И никогда ужь имъ опять
На прежнія мѣста не залѣзать!...
Я при дворѣ такихъ знавалъ не мало!...
Вѣдь не смоги я какъ-нибудь
Вскарабкаться на прежнее сидѣнье,—
Всѣ скажутъ—Зевса я осмѣлился надуть,
И весь Олимпъ придетъ въ великое смятенье...
. . . . . .
Итакъ, чтобъ Музѣ не вредить,
Я понялъ, что Крылову не годится
Проказничать и по саду ходить.
Одно хотѣлось мнѣ—одно... пошевелиться—
Какъ вдругъ,
Вообрази, мой другъ,

Мнѣ на мизинецъ Канарейка сѣла.
Была, должно быть, взаперти,—
Неволи не смогла снести,
И въ садъ изъ клѣтки улетѣла,—
И стала щебетать, голубушка моя,
Что ей отъ галокъ нѣтъ житья,
Что воробьи и тѣ её гоняли,
И чуть не заклевали.
И тутъ увидѣлъ я—задорный воробей,
Слѣдя за ней,
Перескочилъ съ скамейки на скамейку,
И сталъ пищать на Канарейку:
— Ага! небось,
Чтобъ участи своей избѣгнуть,
Тебѣ, голубушка, пришлось
Подъ покровительство прибѣгнуть...
Подъ покровительство!—Какая же ты дрянь!..

Какъ заслужила ты всю нашу злость и брань!
Вотъ мы, небось, не прибѣгаемъ
Съ мольбою къ истукану—мы его
Хоть и боимся, да мараемъ...
А ты?... Ну, для чего
На насъ ты сердишься? Ужели оттого,
Что мы, уча, тебя немножко пощипали!..
Да мы тебя,
Любя,
Обратно въ клѣтку загоняли.
Эй! галки! вы сильнѣе насъ,
Подбейте ей крыло, да выколите глазъ.

. . . . . .

Не шевелился я, чтобъ не спугнуть пѣвицы:
И сталъ внимать,
И сталъ вникать—
И чу! вокругъ меня загомонили птицы
Разноголосыя;—имъ, видно, не спалось.—
(Кто жь рано спитъ среди суетъ столицы!)
И тутъ, по чуткости моей, мнѣ удалось
Подслушать возгласы, упреки, наставленья,
Придирки, сплетни, самовосхваленья.
Все говорило: столбики, цвѣтки,
И насѣкомыя, и птицы, и звѣрьки,
Всё—всё, что Лѣтній садъ въ то время наполняло,
Всё, что пищало, каркало, жужжало,
Ползло, переползало,
Или на самый верхъ взбиралось на показъ...

. . . . . .

И вотъ,—на первый разъ,
Не поворачивая шеи,
Я услыхалъ ворчанье въ той аллеѣ,

Гдѣ съ нашимъ Гнѣдичемъ я гуливалъ не разъ ..
Тамъ, Тумба вбитая, поднявъ тупое рыло,
Хрипливымъ голосомъ учила
Юнону, (что въ тѣни подстриженныхъ вѣтвей,
Изъ мрамора какъ снѣгъ бѣлѣлась передъ ней:)
— «Эхъ, милая моя! ей Тумба говорила:
Будь современнѣе—приноровись къ тому,
Чтобъ въ праздникъ на тебѣ горѣли съ саломъ плошки.
А то, къ чему,
И для чего со мной стоишь ты у дорожки?
Вѣдь еслибъ всѣ такой вопросъ
По моему, какъ слѣдуетъ рѣшили,—
Твой носъ—
Красавица, давно бъ отбили»...
Я долго ждалъ, что будетъ отвѣчать
Статуя Тумбѣ; но—красавица молчала,
И, можетъ быть, должна была молчать,
Чтобъ даромъ словъ своихъ на вѣтеръ не бросать.
— «Ну, погоди же ты! вновь Тумба проворчала:
Плевать мнѣ на твои античныя красы!
Чтобъ у богинь сколачивать носы
Я на Руси найду охотниковъ не мало»...

Потомъ въ акаціи я шорохъ услыхалъ.
Туда по жердочкѣ сталъ въ чащу забираться
Снигирь, котораго, признаться,
Не скоро я по голосу узналъ:—
Онъ былъ съ своею ученицей,
А именно, съ той самою Синицей,
Которой бабушка грозилась море сжечь.
И внучка, кажется, вела къ тому же рѣчь:
Она стонала:—«Горе, горе!
Ужели никогда горѣть не будетъ море!»

Насвистанный Снигирь носъ объ носъ съ ней сидѣлъ,
И ей скрипѣлъ:
— «Отчаяваться не годится:
Чтобъ птицы всѣхъ сортовъ могли уху хлебать—
Какъ знать,
И море, можетъ быть, дымясь, закипятится;
Лишь бы проклятый Соловей
У насъ не пѣлъ среди ночей:
Его заслушавшись, не станутъ слушать птицы
Не только Снигиря—Синицы!..
И ужь тогда никто не побѣжитъ смотрѣть,
Какъ море начало горѣть».
Синица слушала, вздыхала, отряхалась,
Отъ соловьиныхъ пѣсенъ отрекалась,
И говорила Снигирю:
— «Благодарю! благодарю!
Ты мнѣ глаза раскрылъ—теперь я понимаю...
Ты—ты нашъ Соловей—другихъ не допускаю».—
Насвистанный Снигирь Синицу ободрялъ,
А я подслушивалъ, и чуть не хохоталъ...

Нѣтъ, думаю, какое тутъ гулянье!
Кругомъ меня
Идетъ какая-то, мнѣ новая возня;
Тутъ надо, думаю, вниманье да вниманье.
Авось, подслушаю у птицъ,
У доморощенныхъ звѣрьковъ и насѣкомыхъ
Сюжеты басенокъ, мнѣ вовсе незнакомыхъ;
Увижу, до какихъ границъ
Дошла хваленая свобода;
Сатиры бичъ, который васъ хлесталъ—
Тотъ бичъ, что не щадилъ ни одного урода,—
Насколько выяснилъ намъ русскій идеалъ?—

И—ни гу-гу!—я слушалъ,—я молчалъ,—
Я въ неподвижности суровой пребывалъ,
Какъ монументу подобаетъ.

И слышу вдругъ: Оса тихонько выползаетъ
Изъ-подъ травы, гдѣ у нее
Дыра въ подземное жилье,—
И на свиданье
Къ Дождевику, кружась, летитъ.
Чуть слышно скромное, осиное жужжанье,
Однако жаломъ шевелитъ,
И говоритъ:
—«Любезный Дождевикъ! какъ публицистъ, ты знаешь,
Что у невѣжественныхъ Осъ
Осятъ не мало развелось,
И, разумѣется, ты понимаешь,
Что ихъ развить,
Иль иначе сказать, предохранить
Отъ всякаго вліянья,
Всѣмъ намъ извѣстнаго преданья,
Гораздо мудренѣе, чѣмъ плодить.
Вотъ, у меня, одинъ—такой Осенокъ вострый—
Такъ любознателенъ—что страсть!
Зачѣмъ, кричитъ, у пчелъ воскъ бѣлый, а не пестрый,
И отчего нельзя изъ меду нитки прясть?
И къ моему стыду, я не умѣю
На эти умные вопросы отвѣчать
И, разумѣется, должна молчать,
И разумѣется, краснѣю.
А отчего?
Все оттого,
Что пчелы лекцій Осамъ не читаютъ—
Не понимаютъ,

И какъ бы не желаютъ понимать,
Что я склонна къ естествознанью,
Почти настолько же, насколько и къ жужжанью».
— «Ну-жь эти пчелы—нечего сказать!
Отвѣтилъ Дождевикъ,—въ особенности наши—
Всѣ—эгоисты—любятъ медъ сбирать
Лишь для того, чтобъ въ улей свой таскать—
И не сваришь ты съ ними каши!
Намедни, въ дождь, сюда, подъ листикъ заползла
Какая-то пчела,
И я завелъ съ ней разговоръ ученый
И разъясненія просилъ,
Зачѣмъ и почему родился я безъ крылъ,
И не могу въ союзѣ быть съ вороной?
И что жь — ты думаешь—пчела?!
Она мнѣ начала
Доказывать своею рѣчью скучной,
Что мой вопросъ—не есть вопросъ научный,
Что это бредъ!!
— Ну, нѣтъ,
Подумалъ я,—ты врешь, а я не брежу.
И съ той поры, я такъ неукротимо золъ,
Что, пыль пуская, правду рѣжу—
Ругаю пчелъ».
Опять послышалось Осы жужжанье:
— «Любезный Дождевикъ! на-дняхъ у пчелъ собранье,
Онѣ сбираются о воскѣ разсуждать,
О медѣ, обо всемъ, что слѣдуетъ намъ знать;
Я написала къ нимъ посланье—
Онѣ должны сейчасъ свой улей позабыть,
Должны сейчасъ свой медъ оставить,
И Осъ учить,
Какъ имъ мозги свои поправить»...

Вотъ, это хорошо! подумалъ я,—Оса,
Чтобъ просвѣтить свой умъ осиный,
Желаетъ мудрости пчелиной,
Да освѣжитъ ее небесная роса!
Всегда любилъ я тѣхъ, кто жаждетъ просвѣщенья.
— «Но, милый мой! пойми мое недоумѣнье,—
Оса добавила Дождевику:
— «Сегодня я сидѣла на суку,
И въ нашъ журналъ статью писала;
На первый разъ, я разобрала
Полетъ орлицы и орла;
Они, по моему, совсѣмъ не такъ летаютъ—
И я имъ нагоняй порядочный дала—
Пусть Осу знаютъ!»
На этотъ разговоръ—откуда-то, пчела,
Должно быть въ улей опоздала,
Шмыгнула по травѣ,—и на лету поймала
Слова Осы; но такъ была
Неснисходительна и зла,
Что ей сказала:
— «Куда ужь намъ тебя учить!
Ты несомнѣнно выше насъ въ наукѣ...
Полетъ орлицы ты умѣешь прослѣдить,
Орла умѣешь распушить,—
Тебѣ и книги въ руки!»...
И съ ношею своей,
Въ Осѣ такое же предполагая жало,
Пчела пропала
Въ тѣни вѣтвей...

Дружище! для меня все это было ново:
«Всѣ злы на все!»... и показалось мнѣ,
Что Лѣтній садъ глядитъ особенно сурово...

При отуманенной лунѣ,
Какъ палки предо мной переплетались сучья,
И мнилось мнѣ: невѣдомые крючья
Стараются ихъ сзади удержать,
Иначе бы они, не говоря ни слова,
Полѣзли бы на дѣдушку Крылова,
И ну его хлестать
За то, что басни онъ осмѣлился писать!
Мнѣ, признаюсь, немного стало жутко:
Какъ видно, наблюдать да слухъ имѣть—не шутка.
Но въ жизни, я моихъ враговъ,
Ты знаешь самъ, хоть трусилъ—да не слишкомъ,
И смѣло выставлялъ не только-что ословъ,
Но и могущественныхъ львовъ,
И не кадилъ животнымъ ихъ страстишкамъ.
Такъ и теперь, хоть и пора не та,
Скажу, какъ въ ту же ночь подслушалъ я Крота.

Слѣпорожденный Кротъ принесъ свои писанья
На просмотрѣнье Червяку
(Не нынче — завтра мотыльку),
И увѣрялъ, что онъ, какъ нѣкій Мефистофель,
Всѣмъ нашимъ Фаустамъ наглядно доказалъ,
Что вовсе не цвѣты прекрасны, а картофель,
И что цвѣтовъ онъ даже не встрѣчалъ,
Когда подземнымъ онъ путемъ предпринималъ
Свою *экскурсію*... Червякъ ему божился,
Что сѣмена плодовъ
Съ плодомъ выходятъ изъ цвѣтовъ,
И что картофель, прежде чѣмъ плодиться,
Сперва цвѣтетъ;
Не соглашался Кротъ—
Онъ былъ ученый Кротъ, и начиналъ сердиться.

Кто сердится, тотъ виноватъ,
Была пословица такая,
Теперь у васъ пошла статья иная:
Кто съ бранью сердится—тотъ правъ, и чуть не святъ.—
Кротъ до того сердился
И до того бранился,
Что всѣ другіе червяки
(Не нынче—завтра мотыльки)
На брата своего напали,
И ретроградомъ обругали.

А тутъ случился грѣхъ—въ шести-семи шагахъ,
Лягушка, будучи въ гостяхъ
У Лопуха, свалилась вдругъ въ канаву,
И начала пускать на славу
Такіе пузыри,
Что инда замигали фонари—
И не отъ слезъ—отъ смѣха замигали
(Хоть и довольно далеко стояли)...
Итакъ, любезный, что́ ни говори,
А еслибъ вдругъ моя статуя встала,
Да зашагала,—
Того смотри
Всѣхъ до того бы напугала,
Что всѣ бы отъ меня, куда попало,
Драло!—
И я бъ остался съ носомъ. Изъ того,
Что́ дѣлается въ свѣтѣ—
Я не узналъ бы ничего.

А тутъ, сердитый Шмель, и тотъ былъ на примѣтѣ:
Я помню, въ эту ночь, на отсырѣвшемъ пнѣ,
Онъ сѣлъ спиной ко мнѣ,
И началъ въ тонѣ глухо-строгомъ

Жужжать гостямъ, что онъ великій демагогъ,
Что съ колыбели былъ онъ демагогомъ—
Боролся и писалъ—писалъ и изнемогъ,—
Потомъ онъ говорилъ о загнанныхъ рабочихъ,
Исподтишка
Негодовалъ на право кулака,
Однихъ бранилъ—плевать хотѣлъ на прочихъ;
И я внималъ ему—внималъ какъ никогда.
Вотъ, думаю, теперь какіе господа!
И Шмель, и тотъ любви народной хочетъ,
Какъ попъ о попадьѣ,
Заботится о каждомъ муравьѣ,
О каждомъ муравейникѣ хлопочетъ.
Того гляди, что полетитъ
По муравьинымъ городамъ и селамъ,
И, жертвуя собой, голодныхъ просвѣтитъ
Чревовѣщательнымъ глаголомъ.
Увы! лишь только Шмель окончилъ рѣчь свою,
Откашлялся и громко плюнулъ,
Какой-то Муравей уныло носомъ клюнулъ
И сталъ шептать другому муравью:
«Послушай-ка, никакъ Шмель долженъ намъ полтину—
«И такъ какъ мы съ тобой не прочь поѣсть, попить,
«Нельзя ли, братецъ, попросить...»
«Э! нѣтъ, братъ, ни за что!...»
— А что?
Огрѣетъ спину—
Дерется этотъ демагогъ—
Не любитъ, коли кто въ нуждѣ его тревожитъ;
Рабочій людъ терпѣть его не можетъ.
И попадись-ка онъ,
Затѣйникъ,
Въ какой-нибудь рабочій муравейникъ,

Тамъ зададутъ ему порядочный трезвонъ...»
И оба муравья голодные спустились
Съ пенька въ траву—и тамъ росы напились;
А Шмель сталъ ужинать, шмелями окруженъ,
И что-то много-много
Распространялся о судѣ,
О томъ, что правды нѣтъ нигдѣ;
Но я уже не слушалъ демагога,—

Я думалъ;—но теченье этихъ думъ
Внезапно порвалось.—Вверху, на липахъ сонныхъ,
Туманною луною озаренныхъ,
Я услыхалъ великій шумъ.
Сычъ громко прокричалъ и пролетѣлъ надъ садомъ:
Крылоплесканьями, какъ градомъ,
Со всѣхъ сторонъ,
Мгновенно былъ осыпанъ онъ,
Отъ совъ, и коршуновъ, и матерыхъ воронъ.
Всѣ ждали отъ него ораторскаго слова.
Сычъ, фертомъ подбочась, сѣлъ въ теплое гнѣздо,
И молвилъ:—«Господа, защитника такого,
«Какъ я, повѣрьте мнѣ, вамъ не найти другого...
«Я всѣмъ кричу: демократія—зло!
«Пускай цвѣтутъ верхи и пусть гніютъ коренья!
«И думать, что идутъ всѣ соки отъ корней,
«Не значитъ ли опаснѣйшихъ идей
«Быть предвозвѣстникомъ—о! это преступленье!
«Подъ судъ, подъ судъ моихъ судей,
«Коли они другого мнѣнья!
«По моему, лишь только вы,
«Мои друзья, почетнѣйшія птицы,
«Одни должны, отъ береговъ Невы
«И до китайской вплоть границы,

«Зелеными садами обладать!
«Но гнѣзда мелкихъ птицъ отнюдь не разорять
(«Я либералъ—всѣ это знаютъ).
«Итакъ, пусть коршуны цыплятъ оберегаютъ,
«Пусть голубей хранятъ орлы,
«И пусть степные соколы
«Дроздамъ и ласточкамъ почтеніе внушаютъ.
«Дрозды и Ласточки хоть грубы—но не злы,
«И несомнѣнно покорятся,
«Коли на зло велѣніямъ судьбы,
«На кольяхъ вашей городьбы
«Да какъ-нибудь не просвѣтятся.
«Отъ грамоты спаси ихъ Богъ!
«Я бъ приказалъ сажать въ острогъ
«Того, кто бъ захотѣлъ за школы ихъ приняться...
«И вотъ что, господа,—повѣрьте мнѣ, пока
«Не одолѣемъ мы проклятаго Жука,
«Спокойствія не будетъ между нами,
«Онъ, вѣрьте, всѣ сады подниметъ вверхъ корнями.—
«Итакъ, кричите, господа,
«Пусть гибнетъ дерзкій Жукъ! иль—требуйте суда...»
И птицы вновь захлопали крылами,
Кричатъ: браависсимо! Вотъ спичъ, такъ спичъ!
Вотъ Сычъ, такъ Сычъ!—
Все это понялъ я;—но поясни, дружище,
Кто этотъ Жукъ? Коли не сатана,
Такъ это можетъ быть такой жучище,
Что ростомъ превзойдетъ индѣйскаго слона!
Быть можетъ съ хоботомъ, съ клыками,
Такой что страхъ—не подходи!
Иначе, самъ ты посуди,
Какъ можетъ жукъ простой, не только вверхъ корнями
Поднять старинный этотъ садъ,

Со всѣми гнѣздами галчатъ,
Но и одинъ пенёкъ чахоточной березы?!
Не постигаю я, мой другъ, такой угрозы...
Того гляди, что на Сыча—
Оратора и либерала—станутъ
Коситься какъ на силача,
И всѣ жуки, трусливо поворча,
Жужжать по жучьи перестанутъ.

Я слышалъ въ эту ночь, и слышалъ заурядъ,
Что о свободѣ всѣ пищатъ;
Но тамъ, гдѣ мода—лгать, хитрить и ненавидѣть,—
Себя отстаивать, а истины не видѣть,—
Гдѣ лицемѣръ и тотъ вездѣ—
Лишь объ одной кричитъ враждѣ—
Тамъ нѣтъ широкаго познанія природы,
Тамъ честной правды нѣтъ, и нѣтъ святой свободы...

. . . . . .

Но слушай!—чувствую, въ Невѣ свѣтлѣютъ воды,
И въ золотой, сіяющей грядѣ
Далекихъ звѣздъ померкли голубые
Лучи, любимые мои,
Для васъ бездушные, а для меня живые,
Какъ искры самой пламенной любви.
Не долго буду я бесѣдовать съ тобою;
Но прежде чѣмъ мой духъ умчится въ небеса,
Повѣдай,—не таи, дружище, предо мною,
Что дѣлаетъ Кума-Лиса?
О чемъ теперь ревутъ Медвѣди? Сыты ль Волки?
Какіе въ царствѣ ихъ звѣриномъ идутъ толки?
И если эти господа
Все также крадутъ медъ, все также куръ таскаютъ,
Или съ овецъ по шкуркѣ въ годъ сбираютъ,—

Хотятъ ли гласнаго суда,
Или по прежнему Слона на воеводствѣ?
Такъ какъ высокородный Слонъ
Скорѣй хвостомъ прижметъ карающій законъ,
Чѣмъ усомнится въ ихъ звѣриномъ благородствѣ.
Все это я хотѣлъ бы знать!
Вѣдь Лѣтній-садъ еще не вся Россія;
Нашъ Шмель—далеко не мессія,
И не вездѣ Сычу такая благодать...
Судя по здѣшнему—Оселъ, Козелъ, Мартышка,
Да косолапый Мишка,
Опять затѣяли квартетъ...
Скажи—ужели цѣлый свѣтъ
Такую музыку донынѣ поднимаетъ,
Что мой квартетъ напоминаетъ!
Откуда эта дребедень?
Не растолкуешь ли—пока не вспыхнулъ день,
Пока заря еще въ туманъ одѣта;
Иль, чуя на своемъ лицѣ зари отливъ,
Ты самъ, какъ заяцъ, сталъ трусливъ,
И старику не дашь отвѣта?
Иль, на мою бѣду,
Все то, что слышалъ я въ саду,
Тебя ничуть не занимаетъ?
Или тебя страстишка одуряетъ?

. . . . . .

Чу! кто-то сталъ вдали неистово свистать—
Я слышу дальній гулъ—колеса всё—колеса!
А вонъ, и солнце сквозь туманъ,
Какъ истина, мелькая сквозь обманъ,
Надъ нашею столицей поднялося,
Бросая тѣни здѣсь и тамъ,
По чердакамъ и площадямъ;

Его глазъ огненный въ окошки смотритъ косо:
Его ничѣмъ неотразимый взглядъ
Уже проникъ въ сады, уже проникъ въ чертоги —
И пурпуромъ блеститъ зеркальныхъ стеколъ рядъ,
Какъ будто черезъ нихъ на улицу глядятъ
Въ вѣнцахъ проснувшіеся боги!
А между тѣмъ, тамъ—пыльные столбы
Идутъ изъ-за гардинъ на золото рѣзьбы,
И только стѣны день встрѣчаютъ!
Безлюдны залы—пустъ альковъ—
Покрытъ чехлами желтый штофъ;
Картины, мраморы... ихъ также покрываютъ
Колеблемыя вѣтромъ простыни;
Тамъ роскошь обнялась съ унылой пустотою—
А улицы шумятъ бездушной суетою...
Вотъ лѣтній Петербургъ!...
Что, если бъ не они—
Не тѣ малютки, что гурьбою
Сбѣгаются играть вокругъ меня порою!
И я бы, чай,
Скучалъ на этомъ пьедесталѣ...

— Дѣдушка, куда ты?—хотѣлъ я сказать, раскрылъ глаза и, словно испуганный, поднялъ голову. Шляпа моя скатилась подъ скамейку; но я долго не поднималъ ее, долго не сводилъ глазъ моихъ съ лица монументальнаго дѣдушки. Монументъ какъ монументъ!... Нельзя было даже вообразить себѣ, чтобъ этотъ бронзовый, серьезный старикъ—могъ хоть одну минуту говорить, мыслить и чувствовать.

Утро во всемъ блескѣ сіяло, и моихъ ночныхъ галлюцинацій, также какъ и ночныхъ тумановъ, слѣдъ

простылъ. Но я былъ еще подъ ихъ вліяніемъ. Лихорадочное чувство, какъ мурашки, ползало по спинѣ моей; мысли путались, мучила жажда, хотѣлось домой.

Казалось, вчерашней страсти не было и въ поминѣ: отъ нея оставалась на душѣ только какая-то горечь, какъ на языкѣ послѣ неудобоваримаго ужина. Разсказы дѣдушки не уложились еще въ головѣ моей, бродили какъ-то безпорядочно, въ отрывкахъ, и я не скоро могъ настолько припомнить ихъ, чтобъ записать.

Желая согрѣться, я всталъ и пошелъ направо. Ворота еще были заперты. Сторожа меня замѣтили, я завернулся въ пледъ и повернулъ налѣво.

Гдѣ-то, надъ вершинами сада, каркалъ вòронъ, чиликали воробьи, мимо носу моего пронеслось какое-то насѣкомое,—не то большая муха, не то оводъ,—на дорожкѣ, около самой куртины, увидалъ я небольшую норку...

— Что вы тутъ? Откуда проявились?! закричалъ на меня кто-то сзади. Оглянулся, и вижу, въ двухъ шагахъ—сторожъ, отставной солдатъ: глаза недовѣрчиво строгіе, носъ сизый, голосъ вѣжливо-грубый, на груди медаль...

— Нѣтъ ли, братецъ, у тебя спички, смерть курить хочется.

Солдатъ, не переставая хмуриться, сталъ молча по всѣмъ карманамъ искать для меня спички... Нашелъ одну, запалилъ,—потухла, нашелъ другую, нагнулся, сталъ ею шаркать...

Въ это время ворота отперли.

— Не нужно, не хлопочи, любезный, я закурю на пристани...

И, съ измятой, незакуренной папиросой въ зубахъ, я вышелъ на улицу.

Солдатъ какъ будто спохватился, что не успѣлъ меня выругать, и сталъ ругаться.

Разумѣется, эта запоздалая, на вѣтеръ пускаемая брань меня нисколько не потревожила; но ночевать другой разъ въ саду не желаю, вовсе не желаю, развѣ по какому-нибудь очень счастливому случаю...

Въ концѣ сороковыхъ годовъ.

(Изъ поэмы «Братья»).

МЕЧТЫ И ВЕСЕЛЫЕ ПРОВОДЫ.

Для юношей-художниковъ все мило—
И розы, и крапива: всѣ они
Мечтатели, и сердцу ихъ постыло
Все, что офиціально въ наши дни;
Случайными удачами богаты,
Они безпечны, горды, простоваты,
То ненавидятъ всѣхъ, то любятъ всѣхъ,
То съ грустью смотрятъ на чужой успѣхъ,
То восторгаются. Есть исключенья;—
Но мой Игнатъ отчасти былъ таковъ:
То изнывалъ безъ вѣры въ провидѣнье,
То въ чудеса повѣрить былъ готовъ.

*
* *

Порой не выносилъ онъ блеска, шума,
Порой балы въ собраньяхъ посѣщалъ;

Но и тогда томительная дума
Его не покидала: онъ блуждалъ
Разсѣянно, на вѣтреныя рѣчи
Не отвѣчалъ, казалось, новой встрѣчи
Искалъ глазами; но чего хотѣлъ?
Чего искалъ? сказать бы не сумѣлъ,—
Быть можетъ, взгляда, полнаго вниманья,
Быть можетъ, лучезарной красоты,
Достойной клятвъ, мольбы и обожанья,
Быть можетъ, воплощенія мечты,

*
* *

— Возвышенной мечты, ему не ясной.
Никѣмъ любимъ онъ не былъ, несмотря
На то, что юности его, опасной
Для юныхъ дѣвъ, румяная заря
Сіяла пробуждающимъ разсвѣтомъ;
Въ Москвѣ никто ни лаской, ни привѣтомъ,
Его нѣмой тоски не разогналъ.
Не даромъ онъ мечтой перелеталъ
На дальній югъ, за снѣжныя вершины:
«Тамъ—думалъ онъ—монументальный Римъ,
И лавры, и фонтаны, и руины,
И—бредилъ онъ—тамъ буду я любимъ...

*
* *

«Тамъ кисть Брюлова молніи съ вулкана
Похитила, тамъ—Гоголь создавалъ
Намъ типы мертвыхъ душъ, тамъ—Іоанна
Крестителя Ивановъ созерцалъ...
Тамъ—думалъ онъ—источникъ вдохновенья...
Туда, туда! Создатель, дай терпѣнья!
Не выношу я жизни мелочной,
Холодной, грязной, вялой и тупой...»

И вотъ уже отъѣздъ его назначенъ,
И вотъ ужь братъ зоветъ его кутить.
Игнатъ мой радъ, взволнованъ, озадаченъ,
На все готовъ, всѣмъ хочетъ угодить.

*
* *

Кутить въ Москвѣ не ловко показалось,
По случаю великопостныхъ дней,
И за городъ, по ихъ слѣдамъ, помчалось
Семь троекъ, семь ямскихъ большихъ саней.
Минуя Тріумфальныя ворота,
Летитъ стремглавъ веселая забота,
И ночь, и вихрь навстрѣчу ей летятъ,
На хомутахъ бубенчики звенятъ,
Разбрасывая снѣгъ, стучатъ подковы,
Подъ шапками торчатъ воротники,
И слышенъ смѣхъ и говоръ: «что вы! что вы
Шалите!» и—въ ногахъ лежатъ кульки.

*
* *

Ночь бѣлая на нихъ сквозь сонъ глядѣла,
При лунномъ свѣтѣ падала мятель,
И у Игната (видно, кровь кипѣла)
Распахивалась теплая шинель.
Вотъ дача: въ залѣ музыка играетъ,
Не топленъ залъ, но это помогаетъ
Гостямъ рѣзвѣе быть, вину—пьянѣй.
Всѣхъ впереди шумитъ Алеша: Гей!
И множество свѣчей (мѣстами сальныхъ)
По ломбернымъ столамъ кругомъ зажглось,
И, внемля завыванью скрипокъ бальныхъ,
Слетѣли съ дамъ салопы—Началось!—

*
* *

Тутъ были двѣ цыганки, двѣ сестрицы,
И Даша, первой молодости цвѣтъ,
И Пелагея, прямо изъ больницы
Махнувшая къ Алешѣ на банкетъ;
Тутъ докторъ медицины былъ, съ гитарой
На алой лентѣ; тутъ, гуляя съ парой
Румяныхъ грацій, толстый казначей
Забылъ, что онъ трехъ взрослыхъ дочерей
Плѣшивый папенька; тутъ полицейскій
Какой-то шляпку женскую надѣлъ;
Студентъ оралъ: «быть иль не быть!» армейскій
Корнетъ игралъ Офелію и пѣлъ...

*
* *

Все было глупо, шумно и безпечно;
Игнатъ былъ въ этомъ мірѣ новичекъ;
Онъ, можетъ быть, и тронутъ былъ сердечно,
Но предпочелъ забраться въ уголокъ;
То улыбался онъ, то брови хмурилъ:
Какой-то балагуръ съ нимъ балагурилъ,
Какой-то литераторъ подъ хмелькомъ
Ему шепталъ съ таинственнымъ лицомъ:
«Ты геній, геній! Вѣрь ты мнѣ, всѣ шансы
На сторонѣ успѣха — будемъ пить...»
Распущенность! въ тебѣ есть диссонансы,
И музыкой ихъ врядъ ли заглушить!

*
* *

И трезвая душа ихъ чутко слышитъ,
И хочется заплакать ей, когда
Хрипливый смѣхъ въ лицо ей спиртомъ дышитъ,
Или развратъ, подъ маскою стыда,
Старается въ любви ее увѣрить.
Какъ юноша, не могъ онъ лицемѣрить,

Чтобъ позабыться, лишнее онъ пилъ,
И все-таки былъ видимо унылъ.
Уже предъ нимъ за бѣшенымъ канканомъ
Послѣдовалъ трепакъ—гудѣлъ, дрожалъ
Паркетный полъ. Въ азартѣ полупьяномъ
Иной плясалъ, иной рукоплескалъ.

*
* *

И подъ шумокъ, въ ту залу проскользнула
Невѣдомая гостья; на нее
Одна лишь Даша искоса взглянула,
И мысленно спросила: «это чье
Сокровище явилось?»... Гостья, вѣя
Ночною влагой, какъ ночная фея,
Попавшая къ сатирамъ на банкетъ,
Дрожала, и не мудрено: паркетъ
Гудѣлъ, трещалъ, Алеша мчался, топалъ,
И развѣвались волосы его,
И «браво!» «браво!» каждый вылъ и хлопалъ,
Лишь братъ молчалъ, любуясь на него.

*
* *

А гостья шла, и зимней ночи холодъ
Лежалъ румянцемъ на ея лицѣ;
Румянецъ этотъ былъ, какъ утро, молодъ
И свѣжъ, какъ роза въ свадебномъ вѣнцѣ;
Прильнувшія къ ея кудрямъ снѣжинки
Растаяли въ алмазы; до косынки,
До самыхъ плечъ ея, со всѣхъ сторонъ
Спадали кудри, русыя, какъ ленъ;
Ея глаза не измѣняли цвѣта,—
И при свѣчахъ ясна была лазурь,
— Лазурь, напоминающая лѣто
Въ дни жаркіе безъ пыли и безъ бурь.

*
* *

Въ лиловомъ платьѣ, съ лентой надъ проборомъ,
Въ надорванныхъ перчаткахъ, шла она,
Скользя по лицамъ неспокойнымъ взоромъ,
И постепенно дѣлалась блѣдна.
Ея никто не зналъ; но что за дѣло
До незнакомыхъ грацій тамъ, гдѣ смѣло,
Безъ всякихъ разсужденій, всякій могъ
Дѣвицу пригласить на вечерокъ!
Въ ея чуть подвижныхъ и тонкихъ бровкахъ
Чуть-чуть сквозила... (какъ бы это вамъ
Сказать?..) та смѣлость, что въ иныхъ плутовкахъ
Такъ нравится печальнымъ острякамъ.

*
* *

Въ ней было артистическое что-то,
Какою-то умильной простотой
Прикрытое кокетство (иль забота
Владѣть другими такъ же, какъ собой).
Она была или актриса, или
Одна изъ тѣхъ, которыхъ вы любили
Съ безсовѣстной надеждой на успѣхъ,
Толкали въ грязь, и золотили грѣхъ
Наслѣдственный наслѣдственнымъ карманомъ.
Что привело ее на сей банкетъ?
Боязнь найти измѣну въ другѣ пьяномъ,
Иль жажда веселиться въ двадцать лѣтъ?

*
* *

Игнатъ не могъ не обратить вниманья
На эту гостью. Никого она
Не поражала; но очарованья
Невыразимаго была полна.
Она его пронзила томнымъ взглядомъ,
Прошла,—сняла перчатку,—сѣла рядомъ,

Съ усильемъ не глядѣла на него,
Задумалась, Богъ знаетъ отчего,—
Съ Алешей, кажется, переглянулась;
Тотъ молча отошелъ, шепнулъ двумъ-тремъ...
Студентъ вздохнулъ, цыганка улыбнулась,
И гости ихъ оставили вдвоемъ.

*
* *

Кто съ кѣмъ заговорилъ, ужь я не знаю.
Кокетливый, но скромный разговоръ
На прозу я легко перелагаю;
Но какъ поймать въ размѣръ невинный вздоръ!
Ихъ разговоръ, однакоже, по счастью,
Сталъ понемногу проникаться страстью.
Къ его плечу припавши головой,
Какъ голубокъ къ стѣнѣ ему родной,
Она его о чемъ-то умоляла.
Онъ долго, долго отвѣчать не могъ;
Но все больнѣй, въ чаду и въ шумѣ зала,
Звучалъ ея пѣвучій голосокъ.

*
* *

— «Глазамъ не вѣрю: Господи! ужели
Все это бредъ и больше ничего!...»
И слушалъ онъ, ему надъ ухомъ пѣли:
«А помнишь, помнишь, мимо моего
Окна ты шелъ и я тебѣ кивала!»
— «Окна! какого?!»—«Помнишь, я гуляла
Съ тобой по маскараду и—любить
Клялась...»—«Когда?!» хотѣлъ ее спросить
Игнатій; но тревожный умъ терялся
И замиралъ въ устахъ его вопросъ:
Позвали къ ужину,—онъ отказался,
И братъ ему шампанское принесъ.

*
* *

Шампанское! ты страсти убиваешь
У гастронома, да у старика,
Но въ юности ты пламя раздуваешь,
И дѣлаешь пожаръ изъ огонька.
Игнатъ мой пьетъ и чокается съ нею,
И ей клянется, и зоветъ своею
Возлюбленной, душой души своей,
И плачетъ, и цѣлуетъ руки ей,
Благодаритъ ее,—весь пылъ и трепетъ,—
За что?!—за то, что въ жизни въ первый разъ
Его души коснулся страсти лепетъ.
Заря любви ужели занялась,—

*
* *

И занялась предъ самою разлукой?!
Все, все, о чемъ безумно онъ мечталъ,
Ужель окончится безумной мукой?
Ужь гаснутъ свѣчи, блѣденъ дымный залъ,
Зари играютъ золотыя струйки
По отпотѣвшимъ стекламъ; шубы, чуйки,
Салопы разбираются гостьми...
Чу! Тройки скачутъ. «Гдѣ же, чортъ возьми,
Мои калоши?» слышенъ голосъ сонный.
—«Прощай, Игнатъ!»—И стоя на крыльцѣ,
Какъ призракъ блѣдный, какъ дитя влюбленный,
Онъ утираетъ слезы на лицѣ.

*
* *

Стоитъ съ открытой грудью... «Улетѣла!
И я—не полетѣлъ за ней вослѣдъ!
Влюбленъ, люблю,—и никому нѣтъ дѣла!
Любимъ,—и никакой надежды нѣтъ!
Разлуки ночь—въ ночь перваго свиданья!
За что, за что такое наказанье!»

Алеша могъ утѣшить бы его,
Но самъ глядѣлъ на брата своего,
Какъ сильно пьяный, мутными глазами,
И будь онъ трезвъ—кто знаетъ? можетъ быть,
Успѣлъ бы онъ двумя-тремя словами
Все разсказать и бездну обнажить...

*
* *

Ужь по снѣгамъ, слѣдамъ ночной мятели,
Давно струилась розовая мгла,
Вдали кресты церквей, какъ пламя, рдѣли,
И разносили звонъ колокола.
Они поѣхали... домой, конечно;
Веселіе, какъ ночь, не долговѣчно,
Пора имъ вывѣтрить хмельной угаръ.
Ихъ дома ждетъ прислуга, самоваръ
И чемоданы. Но никто не знаетъ
Своей судьбы, встрѣчая новый день,
И если счастье впереди сіяетъ,
Несчастье слѣдомъ гонится, какъ тѣнь.

*
* *

Навстрѣчу нашимъ братьямъ, просыпаясь,
Встаетъ Москва. Ихъ пошевни летятъ,
Летятъ. То упираясь, то качаясь,
«Валяй!» кричитъ съ-просонья старшій братъ.
Игнатій свѣжъ, но нравственно измученъ,
Его картузъ сердито нахлобученъ.
Вотъ, брата обнялъ онъ одной рукой
И мысленно прощается съ Москвой;
Вотъ, онъ глядитъ вдоль сѣраго забора,
И видитъ уголъ дома своего.
Но изъ Москвы онъ вырвется не скоро,
И дилижансъ укатитъ безъ него...

*
* *

Вотъ (помнилъ онъ), визжа, хвостомъ виляетъ
Барбоска; няня старая сѣдой
Головушкой съ любовью припадаетъ
Къ его плечу: «Эхъ, ты, кормилецъ мой,
Всю ночь ждала... Безпутная башка-то
Какъ нализался!... Господи! когда-то
Увижусь я съ тобой, дитя мое!
Забудешь, чай! А я твое бѣлье
И платье уложила.—Все сдается,—
И не увидимся—охъ-хо, хо-хо!»
Но изъ Москвы не скоро онъ урвется,
И дилижансъ укатитъ безъ него...

МАЛЕНЬКАЯ НЕПРІЯТНОСТЬ.

Игнатъ Москву конечно бы покинулъ—
И, такъ сказать, ужь парусъ поднятъ былъ,—
Какъ вдругъ его ладью шквалъ на мель кинулъ,
И темною волною окатилъ.
Игнатъ уже къ отъѣзду уложился,
Разсѣянно на образъ помолился,
Въ послѣдній разъ облобызалъ отца,
Ужь ждалъ его извозчикъ у крыльца,
Алеша провожать его сбирался,
И освѣжалъ водой свой сонный ликъ,
Какъ вдругъ, въ передней, сабли стукъ раздался,
И замелькалъ жандармскій воротникъ.

*
* *

И свой арестъ Игнатъ мой помнитъ живо;
Но за него я долженъ вамъ сказать,

Что въ оны дни никто бъ не счелъ за диво,
Что вздумали его арестовать.
То было время,—время роковое:
За старый строй, за право крѣпостное
Дрожа, одни представили себѣ,
Что на Козихѣ, или на Трубѣ,
Того гляди, затѣятъ баррикады;
Другихъ смутилъ осиротѣвшій тронъ
Луи-Филиппа. Слухи и тирады
Газетные встревожили нашъ сонъ.

*
* *

Парижъ кипѣлъ, народы волновались,
Одни лишь мы, внѣ всякихъ бурь и грозъ,
И мыслями, и чувствами сливались
Какъ бы въ одинъ безтрепетный колоссъ.
Святая Русь ни бури той, ни воя
Не слушала, спиной къ Европѣ стоя.
(Не все читалъ въ газетахъ высшій свѣтъ,
Народъ же вовсе не читалъ газетъ.)
И, вдохновясь безтрепетнымъ колоссомъ,
Не ради риѳмъ, не ради звучныхъ строфъ,
Тогда поэтъ сравнилъ его съ утесомъ
На рубежѣ бушующихъ валовъ *).

*
* *

Поэта бредъ былъ многими провѣренъ
Съ тѣмъ, что другіе видятъ наяву,
Утесъ, какъ мощный образъ, такъ былъ вѣренъ,
Что умилялъ и радовалъ Москву.

---

*) Но огненный змѣй преломилъ свое жало,
И весь невредимый грохочетъ утесъ.

Бенедиктовъ.

(Въ одномъ лишь клубѣ, кто-то очень тихо
Замѣтилъ: «радъ, что вздули Меттерниха»,
Но и такой анти-австрійскій духъ
Въ тѣ дни не смѣлъ бы радоваться вслухъ.)
И все-таки нашлись и повліяли
На всѣ дѣла такіе мудрецы,
Что нашъ колоссъ отъ комаровъ спасали
(То были все отечества отцы).

*
* *

Былъ глупый случай (кой-кому желанный):
Въ одной кофейной кто-то кофе пилъ,
И на поляхъ газеты иностранной
Карандашомъ три слова начертилъ
Весьма непозволительнаго свойства:
Въ порывѣ легковѣрнаго геройства
Онъ пожелалъ, безумецъ, чтобъ Москва
Вдругъ сдѣлалась Парижемъ!! Какова
Исторія! въ Парижѣ воемъ воетъ
Не шквалъ, а ураганъ; разбитъ компасъ,
Оторванъ руль; а онъ гримасу строитъ,
И что же пишетъ? «Жаль, что не у насъ!»

*
* *

И этотъ кто-то,—какова отвага!
Какъ и другіе, вышелъ изъ дверей;
Но такъ какъ безпардонная бумага
Выноситъ все, что́ ни пиши на ней,
Не онъ попался, а она попалась—
И—караулъ! Начальство заметалось—
Пошло писать!—Погромъ и суета!—
Курьеры скачутъ! Мигомъ заперта
Кофейня. (Ставни, болты и печати...)
И самъ кондитеръ—гдѣ тутъ разсуждать!—

Ужасно струсилъ; радъ, какъ благодати,
Что подали надежду взятку взять.

*
* *

Искали долго—не нашли писаки;
Но тотъ, кто въ это утро кофе пилъ
Въ кондитерской, записанъ въ забіяки.
И даже тотъ подозрѣваемъ былъ,
Кто карандашъ съ собой носилъ въ карманѣ;
Какого-то враля поймали въ банѣ.
Москва разахалась,—и нашъ Игнатъ
Попалъ не въ дилижансъ, а въ казематъ.
Въ то утро, какъ свершилось *преступленье*,
Онъ—донесли—кофейню посѣщалъ,
Купилъ себѣ какого-то варенья,
И уходя, кондитеру сказалъ:

*
* *

«Я ѣду въ Римъ, у васъ родныхъ тамъ нѣтъ ли?
Я отвезу, пожалуй, коробокъ».
Изъ этихъ словъ сплели такія петли,
Что мой герой, какъ чижъ, попалъ въ силокъ.
Его въ кофейной знали, какъ артиста,
И не могли принять за афериста,
И стало-быть смекнули, что при немъ
Былъ карандашъ съ готовымъ остріемъ.
Кого жь и взять?
Игнатій растерялся,
Клялся, божился, честью увѣрялъ,
Ну, словомъ, какъ преступникъ запирался;
Но тайный судъ его не выпускалъ.

*
* *

Пока Алеша по Москвѣ метался,
Разспрашивалъ, куда дѣвался братъ,

Да въ разныхъ канцеляріяхъ справлялся,
Да кланялся властямъ—увы! Игнатъ,
Не уличенный, но приговоренный,
Лишь могъ въ окно глядѣть на дворъ казенный,
На стойло для курьерскихъ лошадей,
На караульню, да на голубей,
Слетавшихъ съ кровли на помостъ дощатый...
Могъ отъ порога до стола шагать,
Могъ, наконецъ, къ подушкѣ, на примятый
Матрацъ прилечь, да съ горя задремать.

*
* *

Вотъ все, что могъ на первый разъ Игнатій!
Судьбу свою онъ проклиналъ иль нѣтъ,—
Не знаю,—не слыхалъ его проклятій;
Но не безъ ужаса на Божій свѣтъ
Взглянулъ Игнатъ. Москву возненавидѣлъ,
Былъ раздраженъ, суду конца не видѣлъ,
Просилъ пера, чернилъ, хотѣлъ писать...
Боялся свой разсудокъ потерять...
Поднявъ окно, протягивалъ онъ руки
На вольный воздухъ, и не разъ сжималъ
Холодную рѣшетку, словно муки
Своей души желѣзу повѣрялъ.

*
* *

Онъ испыталъ допросы, рукъ сличенья,
И ласки тѣ, въ которыхъ слышенъ былъ
Намекъ и на возможность снисхожденья,
И на возможность петли. Онъ забылъ
Все это. Такъ, мы часто забываемъ
Нашъ кошемаръ, когда встаемъ и знаемъ,
Что незачѣмъ трудиться объяснять,
Какъ это мы не въ силахъ были встать,

Придавленные призракомъ къ постели;
Но помнилъ онъ, какъ пламенно ждала
Его душа свободы, какъ летѣли
Часы и дни, какъ наконецъ пришла

*
* *

Ночь Свѣтлаго Христова Воскресенья.
Въ Кремлѣ Иванъ Великій загудѣлъ.
Игнатъ не спалъ—смирялъ свои сомнѣнья,
Молился; но все тотъ же мракъ глядѣлъ
Изъ-за рѣшетокъ въ мутныя окошки
(Казенный дворъ не озаряли плошки);
Торжественно лился полночный звонъ
И долго, долго, лежа, слушалъ онъ,
Какъ колебались эти волны гула.
И въ то же время, слушалъ, какъ прошли
Солдатики на смѣну караула—
То были звуки неба и земли...

*
* *

Прошла Святая, наступило лѣто,
И сталъ онъ чувствовать, что за окномъ
Желѣзная рѣшетка разогрѣта
Уже не имъ, а солнечнымъ лучомъ.
А дѣло шло, неслышно разъяснялось,
И узнику, должно быть, улыбалось...
Ему позволили читать, писать
И отъ родныхъ посылки получать.
Записки отъ Алеши присылались
Не иначе, какъ въ нитяныхъ носкахъ,
Они его сердечныхъ тайнъ касались,
И онъ читалъ ихъ не при сторожахъ.

*
* *

Впервые былъ онъ откровененъ съ братомъ,
И «кто *она?*» въ письмѣ его спросилъ.
Увы! Злой рокъ смѣялся надъ Игнатомъ,
Мечтателя онъ въ немъ не пощадилъ.
Братъ отвѣчалъ, и вотъ что, между прочимъ,
Писалъ ему:
«Мы о тебѣ хлопочемъ,
Отецъ угрюмъ, я трачусь—толку нѣтъ;
Но ты желаешь знать, кто твой *предметъ*?
Ты это отъ меня сейчасъ узнаешь...
Затѣявши пикникъ, чтобъ покутить,
Смекнулъ я, что ты въ карты не играешь,
Бракуешь грацій и не мастеръ пить.

*
* *

«Итакъ, чтобы не заснулъ ты на прощанье,
Я для тебя Раису пригласилъ,—
Погибшее, но милое созданье,
Которое когда-то я любилъ.
Въ своемъ кругу она аристократка,
Затѣи любитъ, и не безъ задатка
Быть нѣкогда принцессой; ибо въ ней
Сидитъ бѣсенокъ и толкуетъ ей,
Съ утра до вечера, какъ нарядиться:
Роскошно или бѣдно, что сказать,
Съ кѣмъ пококетничать, въ кого влюбиться,
Чѣмъ кончить день, зѣвать иль не зѣвать?

*
* *

«Я пригласилъ. Раиса не сказала
Ни «да», ни «нѣтъ», и вотъ, любезный братъ,
Чтобъ все мое старанье не пропало,
Я вздумалъ съ ней побиться объ закладъ.
И знаешь ли, о чемъ я съ ней побился?

Что ты въ нее никакъ бы не влюбился,
И что изящный вкусъ твой такъ развитъ,
Что надо быть богинею на видъ,
Чтобъ сразу заслужить твое вниманье.
Брани меня, голубчикъ, виноватъ,
Я подзадорилъ милое созданье.
—Пріѣду, говоритъ,—а въ чемъ закладъ?..

*
* *

«Фунтъ шоколаду».—«Хорошо, пріѣду!»
И, чортъ возьми! чего не ожидалъ:
Въ мятель примчалась одержать побѣду!..
И я фунтъ шоколаду проигралъ.
Правдивая душа! Я понимаю,
Что я тебя немножко огорчаю;
Но ты меня, душа, не огорчай,
Люби ее, да только не страдай.
Она теперь съ откупщикомъ въ союзѣ,
Наивная и скромная на видъ,
Я видѣлъ самъ, въ широкой ходитъ блузѣ,
И за двоихъ имѣетъ аппетитъ.

*
* *

«Не спорю, братъ, изящная Раиса
Прелестна, какъ сто двадцать пять чертей!
Теперь она на дачѣ. Изъ Тифлиса
Чудакъ одинъ волочится за ней,—
Тотъ самый, что на-дняхъ одной сильфидѣ
Мороженую кошку, въ трезвомъ видѣ,
На сцену бросилъ *); я бъ расцѣловалъ
Его за это одолженье...»

---

*) Г-жѣ Адріановой, П. А. Булгаковъ.

Такъ писалъ
Алеша къ брату. Мой Игнатъ смѣялся,
Но горькимъ смѣхомъ, и когда въ отвѣтъ
Писалъ къ Алешѣ, сильно выражался,
Какъ ложью возмущаемый поэтъ.

*
* *

Въ тѣ дни одна поэзія спасала
Отъ пустоты и пошлости,—она
Одна кой-что внушала, врачевала,
Хоть и сама подчасъ была больна;
Ея болѣзненныя вдохновенья
Пророчили намъ дни выздоровленья,
И каждый сразу понимать привыкъ
Ея метафорическій языкъ.
Никто не разумѣлъ подъ словомъ «лира»
Какой-то инструментъ, а просто строй,—
Извѣстный строй души. Еще сатира
Не думала глумиться надъ душой...

*
* *

Теперь разсудка мелочной анализъ
Мы примѣнили къ языку страстей,
Мы поняли, что глупо выражались.
Погасни, сердце! Лирою моей
Не дорожу. Коли не нужно, къ чорту!
Но узникъ мой, принадлежавшій къ сорту
Художниковъ, былъ юнъ и одаренъ
Живымъ воображеньемъ; вотъ какъ онъ
Писалъ къ Алешѣ:
«Братъ, отбрось сомнѣнье!
Любовь моя мертва, погребена,
Отпѣта... но, какъ злое привидѣнье,
Преслѣдуетъ въ минуты полу-сна...

*
* *

«Искалъ я вверхъ идущія ступени,
Грядущій образъ истины, и что жь?!
Средь праздной роскоши, тоски и лѣни,
Тотъ ангелоподобный образъ—ложь!
Ты тѣшишься, а я изнылъ отъ боли.
Не хлопочи, я радъ моей неволѣ...
Къ чему свобода!..»
Такъ писалъ Игнатъ.
И это сущій вздоръ, чтобъ онъ былъ радъ
Неволѣ; но душевное разстройство
И въ прозѣ выражается темно:
Что дѣлать! у страстей такое свойство,
Таковъ языкъ,—и это ли смѣшно?

*
* *

Смѣялся ль я, когда встрѣчалъ въ журнальной
Полемикѣ горячія мѣста?
Смѣшонъ ли ты, поэта врагъ реальный,
Нашъ публицистъ, когда твои уста,
Въ пылу себялюбивыхъ вдохновеній,
Полны чудесныхъ олицетвореній,
Когда «*лукошки*», «*мошки*» и «*стрижи*»
Такъ и мелькаютъ? Тутъ холодной лжи
Нѣтъ ни на каплю, мелочное чувство
Такъ горячо, что *образно звучитъ*:
Ликуй, лиризмъ! журнальное искусство
Язвить врага съ тобой вошло въ зенитъ.

*
* *

Прошелъ іюнь, іюль. Игнатъ обжился
Въ своихъ стѣнахъ, освоился, притихъ,
Кой съ кѣмъ изъ полицейскихъ подружился
И доставалъ при этомъ кучу книгъ:
Прочелъ Лам'не, Капфига, Луи-Блана,

Фурье, Токвиля, Сю два-три романа,
Да запрещенныхъ нѣсколько брошюръ,—
Соль политическихъ карикатуръ
Сталъ ощущать: событія въ Парижѣ
Впервые уяснились передъ нимъ,
Въ своей тюрьмѣ онъ сталъ къ Европѣ ближе,
Чѣмъ дома; но—мы это пояснимъ.

*
* *

Къ Игнату былъ приставленъ полицейскій,
По части наблюденій; хоть и бралъ
Онъ взятки, но такой ужь тактъ житейскій
Былъ у него, что многимъ угождалъ.
По чуткости и смѣтливости геній,
Изъ разныхъ подъ рукою послабленій
Онъ мигомъ догадался, что Игнатъ
Окажется совсѣмъ не виноватъ,
И заключилъ, что надо приласкаться;
«Э! думалъ:—мастеръ виды малевать...
Изъ дружбы, даромъ, долженъ постараться
Съ моей жены портретикъ написать».

*
* *

Онъ разныя любовныя интрижки
Разсказывалъ Игнату, чай съ нимъ пилъ,
И отъ своей жены въ карманахъ книжки
Французскія тихонько проносилъ
(То были все отобранныя гдѣ-то
И у кого-то). Миновало лѣто,
Настала осень, и въ одинъ сырой,
Холодный день мой узникъ и герой
Почувствовалъ, что весь онъ на свободѣ,
Съ руками и ногами,—и,

Счастливѣйшее существо въ природѣ,
Бѣжалъ, не слыша подъ собой земли.

*
* *

Нашелся ли наивный сочинитель
Трехъ глупыхъ словъ, и праведный законъ
Достигъ ли цѣли, яко охранитель,—
Не знаю, но Игнатій былъ *прощенъ*.
Какія думы или впечатлѣнья
Онъ вынесъ въ головѣ изъ заточенья
(Съ весны до сентября), или какихъ
Идей понабрался изъ разныхъ книгъ?—
Не знаю, но домой онъ воротился
Уже не тотъ... не вѣшалъ головы,
Когда старикъ отецъ его сердился
И говорилъ: «Попался! изъ Москвы

*
* *

Не выпущу...»—«Уѣду!» возражалъ онъ.
Спѣшилъ работать, въ моду сталъ входить:
Уже Москва старушка—замѣчалъ онъ—
Ему, какъ внучку, стала ворожить:
Таинственно сосѣдка улыбалась,
Дѣвицы встрѣчъ искали, собиралась
Атаковать его со всѣхъ сторонъ
Любовь эманципированныхъ женъ,
И недруги, и други руку жали,
Какъ будто онъ ихъ чѣмъ-то одолжилъ:
«Сидѣлъ, несчастный!» всюду повторяли:
«Чуть-чуть-было въ Сибирь не угодилъ!»

*
* *

О, публика! какъ часто ты любила,
Прислушиваясь къ музыкѣ оковъ,

Творить героевъ; ты производила
Не разъ въ герои даже пошляковъ,
По глупости добившихся скандала!
Какъ истинныхъ въ тебѣ героевъ мало!
Игнатъ скандала вовсе не желалъ,
Нечаянно въ герои онъ попалъ,
Не оттого ль, что горя иль страданья
Случайнаго фальшивый ореолъ
Намъ озаряетъ тёмныя преданья
О каждомъ, кто на смерть за правду шелъ?

*
* *

Такъ иногда напоминаютъ стразы
Блескъ настоящихъ брилліантовъ. Такъ,
Въ отсутствіи идей, иныя фразы,
Которыхъ искры наполняютъ мракъ,
Обманываютъ насъ и увлекаютъ,
Не тѣмъ ли, что инымъ напоминаютъ
Могучій свѣтъ дѣйствительныхъ идей,
Когда-то разбудившихъ насъ? «Скорѣй,
Скорѣй на Западъ!» полный увлеченья
Наивнаго, твердилъ Игнатъ, «туда!
Dahin! Dahin!...» стремился онъ—стремленье
Понятное въ тѣ юные года!

УСПѢХИ.

Чтобъ не вводить въ соблазнъ свой околодокъ,
И чтобъ врагомъ порядка не прослыть,
Игнатъ сталъ брить усы и подбородокъ
(Квартальный посовѣтовалъ ихъ брить).

Подозрѣвая тайную опеку,
Онъ велъ себя, какъ надо человѣку
Себя вести, когда за нимъ слѣдятъ;
Быть можетъ, ошибался мой Игнатъ,
Но это положило отпечатокъ
На всѣ его поступки... Никогда
До этого онъ не носилъ перчатокъ—
Теперь безъ нихъ почти что никуда.

*
* *

«Артистъ Илюшинъ! это что за птица»,
Подумала одна графиня Z (зетъ),
Извѣстная въ московскомъ свѣтѣ львица,
И заказала юношѣ портретъ.
«А-а! какая кисть! какая сила!»
Пришла въ восторгъ и смѣло посулила
Игнату къ ноябрю добыть паспортъ.
Она была вліятельна, какъ чортъ,
Добра, какъ ангелъ; но не полагался
На милыя слова ея Игнатъ,
И, какъ разочарованный, казался
Въ ея глазахъ немножко простоватъ.

*
* *

Графиня Z Игнату въ высшемъ свѣтѣ
Хотѣла случай выискать; а онъ
Въ гостиной нѣмъ былъ, скученъ въ кабинетѣ,
И явно не для свѣта былъ рожденъ;
Онъ зналъ, что принятъ въ качествѣ артиста,
Который чертитъ бойко, пишетъ чисто,
Что если сунутъ подъ руку ему
Альбомъ, онъ не уступитъ никому,
Усядется въ сторонкѣ, злой, серіозный,
И выйдетъ у него изъ подъ руки

Какой-нибудь рисунокъ граціозный:
«Головка нимфы», «бережокъ рѣки»,

*
* *

И прочее. Графиня Z желала,
Чтобъ онъ кончалъ какъ можно поскорѣй
Съ нея портретъ. Она воображала,
Что юноша неравнодушенъ къ ней,
Что несомнѣнно въ немъ таится страстность
И, стало быть, предвидится опасность.
А между тѣмъ—открою вамъ секретъ—
Графинѣ было слишкомъ тридцать лѣтъ,
Что̀ не мѣшало ей, хоть для портрета,
Хоть въ сумерки, казаться молодой,
И грудь у ней дышала зноемъ лѣта:
На всемъ лежалъ тончайшій пудры слой.

*
* *

Глаза горѣли, или такъ казалось,
Когда въ лицо ей падалъ полусвѣтъ.
Игнатъ писалъ, графиня рисовалась—
И выходилъ прелестнѣйшій портретъ!
Но съ полотна какой-то блѣдной Нормы
Сіяли строго-дѣвственныя формы.
Игнатъ краснѣлъ, какъ ни была мила
Графиня,—кисть отчаянно лгала...
Онъ зналъ ее по слухамъ, былъ послушенъ
Ея причудамъ, какъ усердный пажъ,
Но втайнѣ былъ глубоко равнодушенъ,
И въ голову не приходила блажь!...

*
* *

Вотъ, помнитъ онъ, отецъ его въ халатѣ
Глядитъ въ окно и крестится, звонятъ

Къ вечернѣ; онъ, о загулявшемъ братѣ
Горюя, зябнетъ... въ корридорѣ спятъ
Старуха няня, на старухѣ—кошка;
Въ гостиной—мачиха: она немножко
Посоловѣла и порасползлась,—
Гадаетъ въ карты. На подносѣ квасъ...
И пахнетъ мятой. Мѣрно, въ ту же ноту
Постукиваетъ маятникъ, на всемъ
Лежитъ покой, на все свою дремоту
Кладетъ тоска, и тихъ семейный домъ.

*
* *

Но, чу!... звонокъ!... и вотъ покой нарушенъ...
—Кто тамъ?—«Курьеръ съ пакетомъ».—Что за вздоръ!
Какой курьеръ?! кричитъ старикъ Илюшинъ.
Игнатъ встревоженъ (съ нѣкоторыхъ поръ
Все, все его волнуетъ).—Вы откуда?—
«Съ пакетомъ отъ графини».—Что за чудо!..
Неужели мой паспортъ?! Боже мой!
Сейчасъ! сейчасъ!—Кто это за тобой?...
Ворчитъ отецъ, но сынъ его не слышитъ:
Онъ прочитать спѣшитъ наединѣ
Завѣтное письмо. Графиня пишетъ:
«Надѣюсь, вы заѣдете ко мнѣ...»

*
* *

Такъ наши дамы часто сами любятъ
Похлопопать, замолвить за того,
Кого онѣ, по всѣмъ примѣтамъ, губятъ,
Во славу эгоизма своего.
Графиня Z въ Игнатѣ не нуждалась,
Но у нея конечно бъ сердце сжалось,
Когда бъ Игнатъ, хоть онъ и не былъ князь

Иль знатный франтъ, уѣхалъ не простясь.
Ей было бъ очень грустно усомниться
Въ его любви, и потому Игнатъ
Былъ долженъ непремѣнно съ ней проститься,
Чему онъ былъ, конечно, очень радъ.

*
* *

«Несчастный!» думала аристократка:
«Забудь меня!» и, не платя долговъ
По разнымъ векселямъ, какъ меценатка,
За нѣсколько альбомныхъ пустяковъ
Да за портретъ съ Игнатомъ расплатилась
Чуть не по царски. Настежь отворилась
Дверь за границу, крылья отросли,
Кругомъ туманъ, сіяніе вдали.
При деньгахъ какъ-то легче вѣрить въ славу,
Чѣмъ вѣрить въ безкорыстную любовь!
— Прощай, Москва! «А по какому праву?»
Спросилъ отецъ, приподнимая бровь.

*
* *

И въ спальню онъ ушелъ, гдѣ къ половицѣ
Привинченъ былъ желѣзный сундучекъ,
Сѣлъ на кровать, и на его рѣсницѣ
Слеза повисла. Удружилъ сынокъ!..
Зашибъ себѣ копѣйку, знать не хочетъ,
Что о его кускѣ отецъ хлопочетъ,
И даже не стыдится ремесла!
Хорошъ сынокъ!.. и грусть его взяла...
А мачиха Игнату на дорогу
Купила валенки, достала погребокъ,
Стаканы, ложки... «Такъ угодно Богу»,
Рѣшилъ старикъ и отперъ сундучекъ.

*
* *

Алеша незамѣтно пристрастился
Къ Игнату, онъ не могъ не унывать,
На старый долгъ свой брату молча злился,
И пьяный возвращался ночевать.
Не много дней Игнату оставалось
Прожить въ Москвѣ, и эта жизнь слагалась
Такъ хорошо, такъ искренно тепло,
Что даже онъ подумалъ: въ чемъ же зло?
Казалось, всѣ добра ему желали,
Казалось, всѣ заботились о немъ,
Любили, вѣрили ему, ласкали,
И съ грустью озирался онъ кругомъ.

*
* *

Товарищи по школѣ учинили
Подписку и затѣяли обѣдъ,
И на обѣдъ прощальный пригласили
Поборниковъ искусства прошлыхъ лѣтъ.
Всѣ пили за здоровіе Игната,
Всѣ цѣловали и его, и брата,
И Рамазановъ весело острилъ,
И Щепкинъ анекдоты говорилъ,
Ну, словомъ, пообѣдали отлично.
Когда жь Игнатъ сошелъ на тротуаръ,
Двоились фонари, и фантастично
На всю Москву ночной ложился паръ.

*
* *

У Иверской, какъ бы въ дыму, лампады
Мерцали, тѣни двигались; колесъ
Неровный гулъ катился; у ограды
Шарманка пѣла; у фонтана песъ
Сидѣлъ и вылъ, и свѣтъ бѣлесоватый,
Отъ башни къ башнѣ, по стѣнѣ зубчатой

Скользилъ, и теплились въ лучахъ луны
Шпили и кровли; около стѣны
Деревья, вѣя осенью, шептались,
И чудилось Игнату, что они,
Оборванныя вѣтромъ, съ нимъ прощались
На долгіе, невѣдомые дни!..

*
* *

И помнитъ онъ, куранты заиграли,
Пронесся звонъ, и разъ, и два, и три...
Тотъ самый звонъ, которому внимали
И схимники, и грозные цари.
Онъ вздрогнулъ отъ невѣдомаго чувства,
И никакое тонкое искусство
Не передастъ вамъ страшной тонины,
Той дѣвственной, сердечной той струны,
Которой не затрогиваютъ страсти.
Въ послѣдній разъ услыша этотъ звонъ,
Игнатъ подумалъ: знать, не въ нашей власти
Ни тайное предчувствіе, ни сонъ.

*
* *

Луна была ужь въ облакѣ, какъ въ дымѣ,
И звѣздный паръ кружился надъ землей.
— Послушай, братъ Алеша, если въ Римѣ
Иль на дорогѣ что-нибудь со мной
Случится, ты изъ моего наслѣдства,
Во имя дружбы, насъ связавшей съ дѣтства,
Хоть часть отдай на школу... да найди
Скульптора Ванина и огради
Отъ нищеты, чтобъ съ горя онъ не запилъ...
«Молчи! сказалъ Алеша:—Богъ съ тобой!»..
И обнялъ брата (иначе, облапилъ),
И такъ они въ ту ночь пошли домой.

*
* *

Еще одно воспоминанье:
Ужь онъ совсѣмъ собрался въ путь, какъ вдругъ
Какой-то франтъ принесъ ему посланье,—
Отъ вѣтреной Раисы: «Милый другъ!»
Писала эта дѣвушка къ Игнату,
«Я васъ хочу просить, не вѣрьте брату.
Я вовсе не хотѣла васъ надуть.
Назначьте мнѣ свиданье гдѣ-нибудь»,
Плѣнительной Раисы образъ снова
Въ его воображеньи промелькнулъ,
Но «уже поздно!» молвилъ онъ сурово
И чемоданъ ремнями затянулъ.

***

Вотъ сѣли всѣ, вотъ начали прощаться.
Отецъ—honni soit qui mal y pense—
Отецъ рыдалъ, а сынъ спѣшилъ убраться,—
Онъ прозѣвать боялся дилижансъ.
Чего-то жаль! онъ думалъ,—не домашнихъ,
Не стѣнъ, не друга, не своихъ всегдашнихъ
Заботъ, привычекъ, даже не *ее*;
Но что-то жаль и въ этомъ *что-то*—все.
И много дней потомъ прошло, и много
Онъ думалъ про себя, про брата, про отца
И скоро ли граница; но дорога
Шоссейная казалась безъ конца...

ДОРОГА.

Хоть онъ глядѣлъ привычными глазами
На бѣдную, безграмотную Русь,
Но за его дорожными мечтами
И думами слѣдить я не берусь;
Онъ выѣхалъ въ такое время года,
Такъ хмурилась осенняя погода,
Что наводила сонъ или хандру.
Туманы разстилались поутру,
Потомъ всплывали тучи, моросило,
Потомъ морозило, потомъ заря
Въ прогалины густыхъ лѣсовъ сквозила
И освѣщала слезы ноября.

*
* *

Порою были свѣтлыя мгновенья,
Какъ для природы, такъ и для него,
И эти блестки, эти впечатлѣнья,
Еще мелькаютъ въ памяти его.
Онъ видѣлъ Кіевъ—колыбель той вѣры,
Которая, воздвигнувъ Кремль, прошла
На отдаленный сѣверъ и спасла
Всю Русь отъ папы и отъ Магомета.
Украйна посреди своихъ садовъ
Ему сквозь осень улыбнулась; гдѣ-то,
Онъ угощалъ *горилкой* чумаковъ.

*
* *

О Наливайкѣ, о казацкой долѣ
Онъ гдѣ-то слушалъ пѣсню кобзаря.

И самъ мечталъ все о какой-то волѣ,
И думалъ—съ запада встаетъ заря!
(Не зналъ онъ, что славянскіе пророки
Зарю встрѣчать привыкли на востокѣ)...
И двигался на западъ.
Кіевъ градъ,
Волынь, Варшава, все ушло назадъ...
Ужь по дорогѣ русскаго не слышитъ
Онъ говора, уже ямщикъ—Полякъ,
Кондукторъ—Нѣмецъ, ночь теплѣе дышитъ;
Но нѣтъ луны... земли не видно... мракъ.

*
* *

И помнитъ онъ, какъ въ этомъ мракѣ стали
Усталые глаза его встрѣчать
Какіе-то огни... они играли,
Качались, поднимались и опять
Кувыркались. То телеграфы были *),
И умъ его впотьмахъ они дразнили:
Условные огни во всѣ концы
Переносили вѣсти, всѣ дворцы
Ихъ ожидали съ жаднымъ нетерпѣньемъ;
А онъ дремалъ, глядѣлъ, опять дремалъ,
Хотѣлъ понять ихъ и—воображеньемъ
Газетныя извѣстья дополнялъ.

*
* *

Недѣль пять-шесть Игнатъ мой былъ въ дорогѣ.
(Ужь онъ теперь границу миновалъ),
Былъ постоянно въ нравственной тревогѣ,
Но къ умственной свободѣ привыкалъ.
Въ политикѣ онъ былъ не дальнозорокъ,

---

*) Электрическихъ телеграфовъ въ Россіи еще не было.

Но понималъ, что наступившій сорокъ
Девятый—бурями чреватый годъ,
Что Франція попрежнему поетъ,
На зло бонапартистамъ, марсельезу,
Италія шумитъ, Берлинъ—и тотъ,
Раздвинувъ политическую прессу,
Не устаетъ *дрессировать* народъ.

*
* *

Въ гостиницахъ, гдѣ жить ему случалось,
Кокетничали Zimmermädchen съ нимъ.
Одна изъ нихъ, Луиза, добивалась,
Чтобъ онъ увезъ ее съ собою въ Римъ,
Но, не желая въ Римъ везти Луизы,
Игнатъ ее довезъ до ближней мызы
И съ ней простился; въ Дрезденъ онъ спѣшилъ,
Гдѣ ждалъ его одинъ славянофилъ.
Сикстинская *Мадонна* Рафаэля
Художника глубоко потрясла.
Такъ, въ Дрезденѣ прошла одна недѣля,
Другая въ Прагѣ, третья унесла

*
* *

Въ Тироль,—туда гдѣ каменныя горы,
Блестящіе снѣга по высотамъ—
Титанами воздвигнутые хоры,
Гдѣ вопли бури вторятъ голосамъ
Ревущихъ водопадовъ, гдѣ порою
Такой эѳирной вѣетъ тишиною,
Что слышны далеко звонки коровъ,
Пасущихся въ сосѣдствѣ облаковъ,
Гдѣ въ январѣ нерѣдко засыпаетъ
Дороги снѣгомъ; тамъ Игнатъ ходилъ

Съ проводниками, но куда! Богъ знаетъ,
Онъ дневника не велъ, а я забылъ.

*
* *

Одно скажу: лицомъ къ лицу съ природой
Онъ отдохнулъ отъ разныхъ встрѣчъ. Тогда
Бранить Россію было общей модой.
(Пройдетъ ли эта мода, господа?)
«Вы, вы враги свободы и прогресса!
Вы варвары!» такъ голосила пресса,
И ей вездѣ сочувствовалъ народъ
За нашъ послѣдній въ Венгрію походъ;
И Австріи мы тѣмъ не угодили...
И много разъ несчастный нашъ Игнатъ
Чуть не вопилъ, когда его язвили:
«Да я-то, я-то чѣмъ тутъ виноватъ!...»

*
* *

Патріотизмъ его былъ безъ защиты,
Онъ, такъ сказать, былъ въ сердце пораженъ.
Но снова зацвѣли его ланиты,
И тѣломъ и душой воскреснулъ онъ,
Когда въ горахъ, одинъ, въ часы свободы,
Игралъ съ дѣтьми, или писалъ съ природы.
Желѣзныхъ много строилось дорогъ,
Но не вездѣ по нимъ летать онъ могъ,
И только въ мартѣ передъ нимъ открылась
Италіи смѣющаяся даль.
Италія! она уже рядилась
Въ весеннія гирлянды, цвѣлъ миндаль,

*
* *

Цвѣли оливы, персики, и розы
Благоухали, и свои узлы

И нити перебрасывая, лозы
Вились по бѣлымъ стѣнкамъ, и теплы
Тѣ были вѣтры, что сады качали;
И ящерицы рѣзвыя взбѣгали
На камни, яркой зеленью своей
Почти не отличаясь отъ плющей.
Флоренція, иль нѣтъ, всего вѣрнѣе
Венера Медиційская, слегка
Склоня свой станъ, какъ бы стыдясь и млѣя,
Ждала его къ себѣ издалека.

*
* *

Божественно-кокетливое тѣло
Недаромъ жило сотни двѣ вѣковъ,
И хоть оно замѣтно потемнѣло
Отъ ревности аскетовъ, отъ слѣдовъ
Безчинства и царапинъ, все же было
Богини тѣло и не позабыло
Какой предъ нимъ курился ѳиміамъ,
Когда народы вѣрили богамъ.
И что же! (говорю безъ всякихъ шутокъ)
Игнатъ сію богиню созерцалъ
Довольно равнодушно трое сутокъ
И Форнарину ей предпочиталъ.

*
* *

Но иначе взглянулъ черезъ недѣлю.
Онъ въ ней постигъ всю грацію стыда,
И сталъ смекать, что даже Рафаэлю
Могла бъ она присниться иногда.
Потомъ Игнатъ взялся за діалоги,
А какъ произносить слова и слоги
По-итальянски, спрашивалъ порой
Онъ у одной пѣвицы молодой,

Свое гнѣздо покинувшей въ Миланѣ;
Погромъ австрійскій разгонялъ пѣвцовъ;
Такъ хищной птицы крикъ въ ночномъ туманѣ
Изъ гнѣздъ выпугиваетъ соловьевъ.

*
* *

И мирное туристовъ настроенье
Нарушилось. Въ крови дымясь, Миланъ
Напрасно вопіялъ: vendetta! мщенье!
Италія изнемогла отъ ранъ.
Въ однихъ соборахъ панихиды пѣли,
Въ другихъ—молебны. Патеры скорбѣли:
Народъ приказывалъ молиться имъ,
А папа запрещалъ молиться. Римъ
Свои побѣды праздновалъ безъ боя.
А Карлъ-Альбертъ, Сардиніи король,
Уже въ надорванномъ вѣнкѣ героя
Доигрывалъ трагическую роль.

*
* *

Игнатъ все лѣто могъ бы оставаться
Надъ Арно, въ обществѣ знакомыхъ, но
Взяла безсонница, и въ Римъ пробраться
Къ началу мая было рѣшено.
Какъ этотъ Римъ, средневѣковый, папскій,
Сойдетъ съ пути, и какъ изъ жизни рабской,
Народный, новый Римъ начнетъ вставать,
Не онъ одинъ хотѣлъ бы наблюдать.
Такъ, иногда, во время изверженій
Везувія, къ Неаполю спѣшитъ
Иной искатель сильныхъ ощущеній
И думаетъ: чудесный будетъ видъ!..

*
* *

До сей поры Игнатъ грустилъ, влюблялся,
Дружился, потѣшалъ себя, хандрилъ,
Таилъ свои надежды, колебался—
До сей поры онъ личной жизнью жилъ.
Для счастья тихаго, я въ томъ увѣренъ,
Ему судьбой былъ тѣсный кругъ отмѣренъ,—
Теперь куда наивный мой герой
Спѣшитъ верхомъ за конною толпой!
Зачѣмъ вооруженъ, пугливъ и мраченъ?!
Игнатъ мой, очевидно невзначай,
Волною исторической захваченъ...
Ужъ близокъ Римъ! Аркадія, прощай!

НОВИЗНА ВПЕЧАТЛѢНІЙ.

Чтобъ написать затѣи карнавала,
Вдоль Корсо бѣгъ невзнузданныхъ коней,
Иль женщинъ вѣющія покрывала
При заревѣ безчисленныхъ огней,
Въ ту ночь, когда народъ снимаетъ маски—
Я на мою палитру могъ бы краски
Заимствовать у многихъ,—я и самъ,
Во дни моей весны тревожной, тамъ,
Въ одну недѣлю сотни три букетовъ
По окнамъ и балконамъ разбросалъ,
И знаю,—для фантазіи поэтовъ
Даетъ не мало римскій карнавалъ.

*
* *

Но описать Римъ, словно чародѣйствомъ
Въ республику преображенный, Римъ—

И папою, и всѣмъ его лакействомъ
Покинутый,—Римъ,—знаменемъ своимъ
Луи-Наполеона испугавшій,
Римъ, бѣдный, беззащитный и поднявшій
Вдругъ три перчатки, брошенныхъ ему
Тремя державами—Римъ, никому
Безъ боя правъ своихъ не уступившій—
Гдѣ краски?!—И споетъ ли голосъ мой,
Давнымъ давно на сѣверѣ охрипшій—
Тотъ гимнъ—увы! для Рима роковой...

*
* *

— Тотъ гимнъ, что протекалъ подъ знаменами,
И заглушалъ гулъ тысячи шаговъ,
Звуча, какъ море, мѣрными волнами,
Его поющихъ, страстныхъ голосовъ,—
Гимнъ, льющійся изъ потрясенной груди
Взволнованной толпы, въ которой люди—
Всѣ братья,—всѣ одной родной семьи
Проснувшіяся дѣти,—гимнъ любви
Торжественной и ненависти львиной
Къ тому, кто ходитъ въ стадо похищать
Овецъ, какъ волкъ, прикрывшійся овчиной,
Иль въ пастыря переодѣтый тать.

*
* *

Не безъ труда Игнатъ мой въ Римъ пробрался:
Когда же онъ услышалъ въ первый разъ
Народъ поющій—поблѣднѣлъ,—прижался
Къ чужимъ воротамъ—потекли изъ глазъ
Невольныя, невѣдомыя слезы—
И никакія творческія грезы
Такъ отозваться не могли бы въ немъ,
Какъ это пѣнье—этотъ божій громъ

Въ устахъ народа.—Такъ, во храмъ Софіи,
Когда въ него язычника ввели,—
Онъ содрогнулся, въ пѣньи литургіи,
Почуявши Спасителя земли.

*
* *

Игнатъ мой въ Римѣ велъ себя, какъ скромный
Изъ темнаго угла, провинціалъ,
Нечаянно попавшій въ залъ огромный
При яркомъ освѣщеніи на балъ.
Онъ чувствовалъ неловкость положенья—
Не зналъ что дѣлать: вѣра, страхъ, сомнѣнье,
Восторги—все перемѣшалось въ немъ.
Не могъ онъ, забирая свой альбомъ,
И уходя съ квартиры утромъ рано,
Сказать, что живъ воротится домой;
Вездѣ онъ видѣлъ скрытаго тирана,
Готоваго спросить: кто ты такой?

*
* *

Австріецъ ты? полякъ?—иль ихъ подобье?
Зачѣмъ пріѣхалъ и куда идешь?!
Уже не разъ глазами исподлобья
За нимъ слѣдила чернь—какъ острый ножъ,
Ему въ глаза сверкали эти взгляды,
И одинокій, часто безъ отрады,
Входилъ онъ въ храмъ Петра,—и храмъ порой
Былъ такъ громадно пустъ, глядѣлъ такой
Могилою величія—что, право,
Казалось, жизнь оцѣпенѣла тамъ—
Органъ молчалъ и тѣнью величавой
Скользила смерть по мраморнымъ плитамъ.

*
* *

На лѣстницѣ, ведущей въ галлерею,
Сидѣла стража—и была пуста
Истоптанная лѣстница—надъ нею,
При входѣ, надпись шла: «proprieta
Della republica».—Она спасала—
Та надпись всё, что только прикрывала;
Дворцы Боргезе, Доріа—(князей,
Изъ Рима убѣжавшихъ) только въ ней
Нашли свою защиту.—Чернь щадила
Ихъ древнее богатство—лѣто шло
Безъ грабежей: толпой руководило
Презрѣнье къ роскоши—врагамъ на зло.

*
* *

Римъ бѣденъ былъ; но жизнь текла богато;
Игнатъ мой былъ пріятно пораженъ
Всеобщей дешевизной: у Игната
Хозяиномъ былъ гробовщикъ—а онъ
Платилъ ему, за комнату, за солнце,
И мастерскую, въ мѣсяцъ два червонца;
(За ту же плату, онъ и самъ не зналъ,
Кто безъ него квартиру убиралъ);
—«Съ тѣхъ поръ, какъ Пій—отецъ нашъ, уѣзжая
«Изъ Рима, всѣхъ насъ къ дьяволу послалъ,
«Ни одного нѣтъ въ Римѣ негодяя,
«И все подешевѣло»,—увѣрялъ

*
* *

Хозяинъ дома;—цѣлый день, бывало,
Онъ въ лавочкѣ, то скоблитъ, то сверлитъ;
Но спѣшная работа не мѣшала
Ему порой принять веселый видъ,
Сосѣда подозвать, мигнувши глазомъ,
Похвастаться, что онъ почтенъ заказомъ

Правительства, что это для него,
Гробовщика, пріятнѣе всего—
Уже съ утра визжалъ его подпилокъ,
Съ утра стучалъ онъ молотомъ своимъ,
Такъ къ вечеру не мало онъ носилокъ
Сколачивалъ и былъ неутомимъ.

*
* *

Но гробовщикъ, ни за какую цѣну,
Ни для какого въ свѣтѣ мертвеца,
Не сталъ бы дѣлать гроба.—За измѣну
Великую почелъ бы...
Вотъ жильца
Увидѣлъ онъ, подъ зонтомъ, въ сѣрой блузѣ,
И кличетъ: «Гей! зайдите о французѣ
Потолковать.—Что стали говорить
Газеты?!—О! О! надо намъ спѣшить
Съ носилками. А что сказалъ Маццини
Съ трибуны—вы читали?—Я читалъ...
Божественно!.. Э!.. никакой Рубини
Такъ не споётъ!.. Я губы измаралъ

*
* *

Печатными чернилами, цѣлуя
Газету—всю ее изцѣловалъ,—
И, знаете ли, что вамъ доложу я,
Синьоръ Иллючи! Я всю ночь не спалъ—
Все думалъ: для чего имъ нужно папство,—
Когда оно и намъ не нужно! Рабство
Проклятое и больше ничего!»
А иногда, Игната моего
Хозяинъ озадачивалъ: «Смотрите,
Онъ говорилъ таинственно,—бѣда!

Ужь лучше вы, синьоръ, не выходите,
Пока того...- Всѣ выѣзжаютъ—да!

*
* *

Не даромъ же всѣ выѣзжаютъ... Даже
Намедни англичане собрались...
Нашъ Римъ теперь стоитъ какъ бы на стражѣ,
Все ждетъ чего-то,—и въ него сошлись
Защитники:—кто на большой дорогѣ
Разбойничалъ, и тотъ теперь въ тревогѣ,—
Безпечно жилъ,—теперь пришелъ стоять
За новые порядки. Какъ тутъ знать,
Что можетъ быть?! Сидите лучше дома».—
. . . . . .
—«Что я люблю Римъ—это изъ альбома
Увидитъ всякій», возражалъ Игнатъ.

*
* *

О! я бъ желалъ достать альбомъ Игната...
Но какъ достать!—Погибъ онъ или нѣтъ?
Судьба вещей, которыя когда-то
Намъ были дороги (какъ тотъ портретъ,
Который ваша бабушка снимала
Въ подарокъ дѣдушкѣ), меня нимало
Не забавляетъ: то, что на столахъ
У васъ блеститъ,—безъ васъ, въ чужихъ рукахъ,
Утратитъ блескъ иль въ соръ преобразится,
И для далекаго потомства, можетъ быть,
Изъ тысячи рисунковъ сохранится
Едва одинъ, чтобъ рѣдкостью прослыть.

*
* *

Не праздникъ ли? Однажды, просыпаясь,
Спросилъ Игнатъ,—конечно, онъ спросилъ

Объ этомъ у окна, со сна встрѣчаясь
Глазами съ позднимъ солнцемъ: онъ любилъ
Предупреждать зной утра; но былъ боленъ
И трусилъ лихорадки.—Съ колоколенъ
Неслись трезвоны всѣхъ колоколовъ,
Казалось, сотня мѣдныхъ языковъ
Кричали: встаньте, граждане!... спѣшите;
Насталъ великій день!—Но, можетъ быть,
Идетъ процессія?—Тутъ, какъ хотите,
А надо встать, одѣться и спѣшить.

*
* *

Народъ сновалъ—колокола звучали...
Вотъ, увидалъ двухъ женщинъ нашъ Игнатъ.
Въ свои платки закутавшись, стояли
Онѣ въ тѣни, какъ статуи стоятъ;
Но не было въ лицѣ ихъ и намека
На праздничное чувство,—нѣтъ, широко
Раскрытые глаза ихъ ничего
Кругомъ не замѣчали,—ни его—
Ни пробѣгающей толпы,—казалось,
Онѣ прислушивались.—Мой Игнатъ
Почувствовалъ, какъ въ немъ вдругъ сердце сжалось—
Вдоль жаркой улицы онъ бросилъ взглядъ.

*
* *

Куда идти? хоть лица женщинъ этихъ
Ему сказали: уходи домой!
Онъ медлилъ,—онъ какъ бы не смѣлъ задѣть ихъ
Своимъ вопросомъ, и онѣ съ толпой
Вошли на паперть. Нищіе шептались,
Стучали фуры, лавки запирались.—
Вотъ проскакалъ Россели *), горяча

*) Одинъ изъ римскихъ военноначальниковъ.

Хлыстомъ коня, и поднялъ пыль, брянча
Прицѣпленною саблей;—показался
Вдали отрядъ—онъ площадь проходилъ;—
Блескъ стали подъ лучами загорался,
Билъ барабанъ тревогу—рогъ трубилъ.

*
* *

Колокола попрежнему звучали;
Но молчаливъ былъ подвижной народъ,
Какъ будто для него часы настали
Особенныхъ какихъ-нибудь заботъ.
Вотъ, съ мрачнымъ видомъ, взводъ народной стражи
Прошелъ подъ окнами, и бельэтажи
Раскрыли окна,—городъ запестрѣлъ
Цвѣтными флагами, какъ бы хотѣлъ
Дѣйствительно отпраздновать, Богъ знаетъ,
Какой счастливый день. Великъ народъ,
Который въ день грозы не унываетъ!—
Пришла гроза—французы у воротъ.

*
* *

Грядущая имперія штыками
Грозитъ республикѣ—такъ вотъ зачѣмъ
Повсюду римляне идутъ толпами
Вооруженными, средь вѣющихъ эмблемъ
Своей свободы, вотъ зачѣмъ сверкаютъ
У всѣхъ глаза и руки всѣхъ сжимаютъ
Ружейные приклады; словно братъ
Родной, имъ сталъ губительный булатъ,
Защитникъ сердца, родины и чести!
Вотъ почему, какая бъ ни была
Обида личная, нѣтъ личной мести,
Вотъ почему звонятъ колокола.

*
* *

«Къ стѣнамъ, народъ!—къ стѣнамъ, граждане!»
Команда эта мигомъ разнеслась,
И въ мирномъ Римѣ, какъ въ военномъ станѣ,
У каждаго въ груди отозвалась.
Мясникъ, башмачникъ, ювелиръ, факины,
Купцы, виноторговцы, веттурины,
Художники—(и нашъ одинъ граверъ) *).
И поселяне изъ окрестныхъ горъ,
И слуги изъ гостинницъ, всѣ бросаютъ
Обычныя занятья и дѣла,
Идутъ, грозятъ, оружьемъ потрясаютъ—
Вотъ почему звонятъ колокола.

*
* *

Вотъ, папскіе сады, пестрятъ стрѣлками,
Вотъ, Гарибальди двинулся впередъ,
И на распутьяхъ сталъ за воротами.
Съ нимъ краснoблузники... Герой не ждетъ,
Спѣшитъ врага онъ пулями поздравить
Съ нашествіемъ, и не даетъ направить
Ему передовой свой батальонъ
На верхъ горы, откуда весь бастьонъ,
И вся почти защита Ватикана,
Какъ на ладони.—Вотъ ружейный дымъ
Зардѣлъ на солнцѣ: изъ его тумана,
За куполомъ Петра, услышалъ Римъ

*
* *

Звукъ перваго сраженья,—рокотъ ружей
И пушекъ, эхомъ повторенный громъ,—
И вотъ, на Пинчіо Игнатъ досужій
Взбирается, идетъ, дыша съ трудомъ
Отъ тайнаго волненья; съ напряженьемъ
Съ горы слѣдитъ онъ взоромъ за сраженьемъ.

*) Ф. И. Іорданъ.

Но гдѣ же войско?—Косвеннымъ столбомъ
Завихрившись, дымъ пушекъ надъ холмомъ,
Ближайшимъ къ Риму, началъ разстилаться—
Ружейный рокотъ словно замиралъ,
Сталъ уходить куда-то—сталъ теряться—
Что бъ это значило?—Никто не зналъ...

*
* *

Кто побѣдилъ? кого поколотили?
Вѣстей не приходило. Знойный Римъ
Затихъ—колокола ужь не звонили,—
Лишь женщины у алтарей, въ нѣмыхъ
Церквахъ, толпой колѣнопреклоненной
Рыдали;—воздухъ, солнцемъ накаленный,
Всѣхъ собиралъ подъ своды, и пустымъ,
Судя по улицамъ, казался Римъ,
Одни ослы по площадямъ бродили
Безъ всякаго надзора,—за водой
Никто не шелъ; уединенно били
Фонтаны,—часъ прошелъ—насталъ другой.

*
* *

Шло время къ ночи—Римъ не шевелился.
Онъ словно замеръ—слухи до него
Не доходили—Римъ не торопился
Услышать вѣсти—сердце у него
Пугливо ныло за своихъ любимыхъ
Гарибальдійцевъ, за неутомимыхъ
Своихъ защитниковъ... Никто не зналъ,
Что первый батальонъ врага попалъ
Въ засаду—падалъ—и кричалъ: пощада!
Что часть сдалась—другая съ Удино
Пошла назадъ въ Кастель-де-Гвидо.—«Надо
Подумать—это вовсе не смѣшно»...

*
* *

Сказалъ французскій вождь, воображавшій,
Что римляне не смѣютъ воевать.
И тутъ, скажу заранѣе, пославши
Въ Парижъ курьера, онъ рѣшился ждать
Отъ президента новыхъ подкрѣпленій;
Хотѣлъ онъ, чтобъ побѣдоносный геній —
Любимый геній Франціи, у ногъ
Ея властителя, съ размаху могъ
Свободную республику увидѣть
Въ оковахъ по рукамъ и по ногамъ.
Кто смѣетъ честь французскую обидѣть!
Шесть тысячъ отступало,—по пятамъ

*
* *

Шли сотни сорванцовъ.—Побѣда! Гдѣ вы,
Служители святого алтаря!
«Te Deum» пойте! Вы, святыя дѣвы,
Поблекшія въ стѣнахъ монастыря,
Страдалицы за вѣчное спасенье
Своей души—несите облегченье
Страдающимъ за братьевъ! Гдѣ бинты
Для раненыхъ, для падшихъ—гдѣ цвѣты?!
И всталъ весь Римъ, и огласились стономъ
Его площадки, паперти церквей
И лѣстницы;—но съ похороннымъ звономъ
Сливалась музыка:—среди тѣней

*
* *

Надъ трупами склоняющихся, тѣни
Восторженно поющихъ провели
Французскихъ плѣнныхъ угощать въ кофейни.
Вотъ ночь сошла, вездѣ огни зажгли,
Героямъ дня толпы рукоплескали;
Съ носилокъ раненые поднимали

Повязанныя головы; на ихъ
Померкшихъ лицахъ, холодно-нѣмыхъ,
Сквозь выраженье нестерпимой муки
Проглядывала сила—и стонать
Они переставали, свѣсивъ руки,
Въ надеждѣ чью-нибудь въ толпѣ пожать.

*
* *

И было множество рукопожатій
Со всѣхъ сторонъ;—да, въ эту ночь, весь Римъ
Сносилъ свои страданья безъ проклятій
И былъ въ своей любви неистощимъ.
И Гарибальди имя повторялось
Впервые такъ, какъ никогда—рождалась
Невѣдомая слава—для вѣнца
Нетлѣннаго,—и братскія сердца
Народа колыбель новорожденной
Поставили высоко въ эту ночь,
Чтобъ видѣлъ міръ, неправдой возмущенный,
Италіи воинственную дочь.

*
* *

Растроганнымъ пришелъ домой Игнатій—
Съ такимъ же чувствомъ онъ пришелъ домой,
Съ какимъ изъ первыхъ, трепетныхъ объятій
Давно-любимой дѣвушки,—иной
Бѣднякъ, иль труженикъ, людьми забытый,
Въ часъ ночи, мѣсячнымъ лучемъ облитый,
Одинъ приходитъ къ ложу своему,
И ужь оно не кажется ему
Такимъ пустымъ, какимъ вчера казалось.
Нѣтъ! новая волшебница—мечта
Съ нимъ обнялась—тепло къ нему прижалась
И къ невидимкѣ льнутъ его уста...

ЭНТУЗІАЗМЪ И ПОЛИТИКА.

Такъ не давалось сразу водворенье
Святого папы съ помощью штыковъ.
Луи-Наполеонъ былъ (нѣтъ сомнѣнья)
Межъ двухъ огней:—подачу голосовъ
(Suffrage universel) подготовляя,
Онъ долженъ былъ достать ключи отъ рая
И, стало быть, беречь карманъ поповъ

. . . . . .

Не только папѣ, но и папской свитѣ
Онъ долженъ былъ усердно угодить,—
Или готовиться къ его защитѣ,
Или ужь императоромъ не быть.

*
* *

А что республиканцы скажутъ? Эти
Готовыя лѣзть прямо на штыки—
Трехъ революцій уличныя дѣти,
И наконецъ—такіе чудаки,
Что имъ присяга, даже честь дороже
Наполеона.—
—«Это не похоже
На то, къ чему веду я мой народъ;
Не я, сама исторія ведетъ...»
Такъ думалъ президентъ, сосредоточенъ
На мысли все прибрать къ рукамъ своимъ,
Онъ тайнымъ былъ расчетомъ озабоченъ,
И для начала выбралъ вольный Римъ.

*
* *

Надъ нимъ въ вѣнцахъ орлы-мечты играли
И страхъ паденья, ежась, ползалъ въ немъ...
Но ничего глаза не выражали
Своимъ какъ бы потускнувшимъ свинцомъ.
Республика кой-что подозрѣвала,
И, гнѣвная, уже едва скрывала
Свое негодованье: рокоталъ
Подземный громъ, надъ кратеромъ вставалъ
Зловѣщій дымъ,—предтеча бури—пѣна
Уже катилась по морю съ волной,
Какъ чайки крикъ, носился крикъ: измѣна!
Парижъ шумѣлъ предъ новою грозой.

*
* *

А онъ, грозой барышниковъ пугая,
Являлся имъ въ сіяніи щита,
Спасающаго міръ, и, обольщая
Солдатъ, тайкомъ готовилъ coup d'état.
За нимъ стояла тѣнь Наполеона,
Имъ вызванная, и ступеньки трона
Предъ нимъ мелькали такъ же, какъ порой
Сквозь сонъ мелькаютъ риѳмы предо мной.
(Пожалуйста, отъ этого сравненья
Ты не сгори, о муза! отъ стыда:—
Пусть нашъ Зоилъ придетъ въ недоумѣнье
И разбранитъ—не велика бѣда!)

*
* *

Такъ президентъ короны добивался—
Онъ въ папу такъ же вѣрилъ, какъ и я,
Не больше; но—за папу ополчался
И, стало быть, похожъ былъ на меня
Такъ точно, какъ на правду ложь похожа.

Стремленьемъ къ власти духъ свой не тревожа,
Блаженъ я—мнѣ до папы дѣла нѣтъ,
Меня не мучитъ красный духъ газетъ,
Ни темный духъ моей родни отжившей;
Я не давалъ присяги охранять
Республику и каждой, вновь возникшей,
Сочувственную руку подавать.

*
* *

Въ своей палаткѣ, наконецъ, дождался
Отвѣта Удино—онъ застегнулъ
Сперва мундиръ свой (хоть и задыхался
Отъ жару), а потомъ ужь развернулъ
Письмо отъ президента.
«Подкрѣпленье»,
Писалъ сей претендентъ, «безъ замедленья
Къ вамъ будетъ выслано, до той поры,
Спасайте ваше войско отъ жары
И лихорадокъ. Отступите въ горы—
Республики не надо раздражать;
Пока Лесексъ ведетъ переговоры,
Не начинайте бомбардировать».

*
* *

«Безъ штурма все уладить будетъ можно,
А если нѣтъ—да будетъ невредимъ
Алтарь Петра—громите осторожно,
Но съ торжествомъ войдите въ славный Римъ—
Въ ворота или—просто черезъ бреши».
Таковъ былъ смыслъ таинственной депеши.
Въ ней между строкъ еще кой-что вилось
И пряталось, какъ змѣйка между розъ,
Какъ между водяныхъ растеній—рыбка,

Какъ на устахъ спокойнаго лица
Коварно-проскользнувшая улыбка,—
Но Удино все понялъ до конца.

*
* *

Французскій лагерь гангренознымъ чирьемъ
На тѣлѣ Римской области засѣлъ,
Опасный чирей!—Хитрымъ перемирьемъ
Спасая лагерь, Удино глядѣлъ
На Римъ сквозь пальцы—ждалъ и лицемѣрилъ.
Его французской чести Римъ повѣрилъ
И быстро перенесъ на югъ свой громъ;
Едва король Неаполя тайкомъ
Убрался изъ Валетри,—подъ командой
Россели, Гарибальди наскочилъ
И городъ взялъ съ размаху—Фердинанда,
Какъ короля, онъ этимъ огорчилъ.

*
* *

Разубѣдясь въ чудесномъ предсказаньи,
Король смутился, и его полки
Уже на благородномъ разстояньи
Бросали ружья, сабли и мѣшки.
Завертывали ночью въ одѣяла
Колеса пушекъ, чтобъ не грохотала
Ихъ артиллерія, чтобъ какъ-нибудь
Не разбудить врага и скрыть свой путь,
Благоразумный путь—путь отступленья!
Шесть тысячъ римлянъ не могли никакъ
Склонить ихъ тридцать тысячъ на сраженье,
И Гарибальди занялъ ихъ бивакъ.

*
* *

Но воспѣвать его я не намѣренъ—
Едва ль настало время воспѣвать
То, что само поетъ! Кто жь не увѣренъ,
Что это имя будетъ вдохновлять
Италію—столѣтья! Нѣтъ, ужь лучше,
Безъ громкихъ фразъ вернемся мы къ Иллючи,
Или къ Игнату,—къ Риму онъ привыкъ,
Сталъ лучше понимать его языкъ
И былъ спокоенъ до исхода мая,
Наивный человѣкъ! Онъ полагалъ,
Что Римъ спасенъ,—такъ, каждый день читая
Газеты, онъ въ политику вникалъ.

*
* *

Увы! не онъ одинъ, другой ребенокъ,
Маццини, тріумвиръ,—воображалъ,
Что эта, вышедшая изъ пеленокъ,
Республика, прочна какъ идеалъ—
Тотъ идеалъ, который никакія
Превратности судебъ, ни бури злыя
Въ его душѣ не въ силахъ сокрушить.
Онъ думалъ Римъ отъ ядеръ сохранить
Крестомъ распятаго, щитомъ святыни—
Сіяньемъ правды—словомъ, отрицалъ
Политику задумчивый Маццини,
И, какъ пророку, Римъ ему внималъ.

*
* *

Когда съ побѣднымъ крикомъ пробѣгала
По улицамъ горячая молва,
Казалось, въ Римѣ все торжествовало,
Сердца мужали въ блескѣ торжества,
И шумно побѣдителей встрѣчали:
«Зачѣмъ вы Фердинанда въ плѣнъ не взяли?»

Одинъ въ народѣ слышался упрекъ.
«Французы! Мы и вамъ дадимъ урокъ,
«Коли вы сами съ честью не уйдете!»
Лесексъ бѣсился (бѣдный дипломатъ!)
И Удино сказалъ ему: Вы ждете,
А я такъ дождался,—Римъ будетъ взятъ.

***

И вотъ, въ лазури неба вѣщей птицей
Заклоктала—и, мѣрный полукругъ
Чертя, спускаться стала надъ столицей
Дымящаяся бомба—ниже, ниже... вдругъ
Надъ кровлями разорвалась,—осколки
Посыпались на черепицу,—съ пóлки
У нашего Игната въ мастерской
Слетѣли вмѣстѣ съ гипсовой ногой
Двѣ стклянки съ масломъ—и кусочки глины
Посыпались,—куда ужь тутъ писать!
Онъ быстро отшатнулся отъ картины
И блѣдный всталъ, не зная что начать.

***

А! началось!—и грозное начало
Не предвѣщало добраго конца.
Игнатъ вставалъ съ зарей, и что жь? бывало,
Одѣться не успѣетъ—ни лица
Водою освѣжить, какъ за лучами
Проснувшагося солнца, надъ домами
Уже летятъ чугунные шары—
Гремятъ,—и утра свѣжіе пары
Ужь пахнутъ порохомъ—невольно
Онъ выбѣгалъ на улицу. Народъ,
Вооружась, на смерть шелъ добровольно
И, къ счастью, не заглядывалъ впередъ.

***

Римъ пересталъ подозрѣвать измѣну
Въ своихъ стѣнахъ, и на неравный бой
Шелъ съ облегченнымъ сердцемъ,—такъ на сцену
Идетъ, смѣясь, трагическій герой.
Но тамъ, гдѣ служатъ вѣковыя стѣны
Кулисами,—тамъ, не такія сцены,
И не такія ложи,—широко
Онѣ разставлены, и высоко
Сидятъ тамъ короли въ вѣнцахъ,—златая
Тіара свѣсилась—мундиръ посла
Блеститъ—министръ, министра надувая,
Наивно спрашиваетъ: какъ дѣла?—

*
* *

На римской сценѣ совершалось много
Такого, что́ въ нашъ меркантильный вѣкъ
Напоминало дни, когда за Бога
Съ богами шелъ бороться человѣкъ.
Вотъ, у крыльца, на каменной площадкѣ
Два женскихъ трупа: на груди ихъ складки
Изорванной рубашки припеклись
Къ изорванному тѣлу. Вотъ сошлись
Сосѣди,—маленькія дѣти жмутся
Къ подоламъ женщинъ—старики намётъ
Хотятъ поставить—руки ихъ трясутся—
Игнатъ мой за носилками идетъ.

*
* *

За полчаса несчастныя божились
Изъ бомбы вырвать трубку иль фитиль,—
Заспорили, и обѣ устремились
На подвигъ, сквозь поднявшуюся пыль
Надъ мостовой, ударомъ потрясенной,—
Обѣимъ захотѣлось имъ заженный

Фитиль схватить—и вотъ, надъ фитилемъ
Онѣ бороться стали.—Грянулъ громъ—
Не съ неба грянулъ—небеса молчали
Въ тотъ мигъ, когда осколки чугуна
Ретивыя сердца ихъ разорвали
И выбили въ кофейной два окна.

*
* *

А вотъ одной изъ юныхъ горожанокъ
Такой же подвигъ удался вполнѣ...
Художники! вы пишете вакханокъ,
Венеръ, Діанъ на вашемъ полотнѣ,
Оставьте миѳы—посмотрите: гордо
Подъемля кисти рукъ, походкой твердой,
Вся смуглая, подъ солнечнымъ лучемъ
Она идетъ, сіяя торжествомъ...
Толпа за ней—и всѣ кричатъ ей «браво!»
У ней на головѣ чугунный шаръ...
На цѣлый день ее безсмертитъ слава,
И эту славу празднуетъ базаръ.

*
* *

Но никогда еще Игнатъ мой смѣха
Такого не слыхалъ, какъ въ день, когда
На улицахъ народною потѣхой
Былъ листъ съ проклятьемъ папы,—никогда
Онъ не слыхалъ еще такихъ визжаній,
Такихъ гнусливыхъ дудокъ, завываній—
Концерта не сравнимаго ни съ чѣмъ;
Я думаю, чертямъ въ аду, и тѣмъ
Отъ этихъ диссонансовъ было бъ тошно,
Самъ сатана сгорѣлъ бы отъ стыда.
(Такой концертъ придуманъ былъ нарочно:
Такъ пьяныхъ въ Римѣ водятъ иногда).

*
* *

Проклятье папы или отлученье
Прибито было къ палкѣ—и надъ нимъ
Несли дырявый зонтикъ,—безъ сомнѣнья,
Самъ Пій не ждалъ съ проклятіемъ своимъ
Такого всенароднаго почета.
Илюшинъ молча шелъ,—но сзади кто-то
Его толкнулъ и далъ ему свѣчу:
Неси!—и онъ понесъ;—не умолчу,
Какъ покраснѣлъ сконфуженный Игнатій,
Какъ онъ рукой старался защитить
Огонь свѣчи,—какъ, не боясь проклятій,
Боялся онъ толпѣ не угодить.

*
* *

А бомбы падали... О! бомбы эти
Не ты ли, добрый пастырь, мечешь въ Римъ!
И бьютъ онѣ дѣтей твоихъ—и дѣти
Хохочутъ надъ проклятіемъ твоимъ.
Твоею гордою душой Христосъ не понятъ—
Ты храмы заперъ,—слушай, какъ трезвонятъ
Колокола... они благовѣстятъ,
Что дѣти выросли... и что наврядъ
Тебѣ ихъ испугать своимъ проклятьемъ...
Такъ думалъ про себя Игнатій—онъ...
На этотъ разъ былъ пресмѣшнымъ Игнатьемъ,
Такъ гордо выступалъ, что былъ смѣшонъ.

*
* *

Смѣшонъ не такъ, какъ иногда бываетъ
Смѣшонъ болванъ, когда въ толпѣ гостей
Онъ на себя вниманье обращаетъ,
Забавно-важной пошлостью своей.
Нѣтъ, въ той толпѣ, гдѣ роль ему досталась,
Почти ни на кого не обращалось

Вниманья—каждый роль свою игралъ
По вдохновенью—каждый понималъ,
Что этотъ смѣхъ народа—смѣхъ притворный,
У многихъ на лицѣ сквозь этотъ смѣхъ
Дрожали слезы—Римъ въ борьбѣ упорной
Не ждалъ и не желалъ такихъ потѣхъ.

*
* *

Еще толпа была религіозна
И суевѣрна.—Можно доказать—
Такъ напримѣръ, однажды, послѣ грозной
И жаркой канонады, чтобъ занять
Народъ, друзья народа учинили
Такое зрѣлище: они сложили
На площади del' Popolo костры
И запалили. (Далеко съ горы
Французы увидали сѣроватый
Столбъ дыму,—Удино вообразилъ,
Что городъ загорѣлся отъ гранаты—
И громъ пальбы на время прекратилъ).

*
* *

На площади жь del' Popolo—свершали
Ото-да-фе—какъ казнь новѣйшихъ дней:
Кареты кардиналовъ сожигали,
Такъ точно, какъ когда-то жгли людей;
Тѣ люди были въ саваны одѣты,—
Но не нуждались въ саванахъ кареты.
Въ тѣ дни, когда вездѣ торжествовалъ
Духъ инквизиціи—стонъ землю оглашалъ—
Теперь же кардиналовъ экипажи
Трещали очень весело, когда
Со всѣхъ сторонъ огонь лизалъ ихъ—даже
И не вздохнули,—только иногда

*
* *

Атласныя подушки, слишкомъ плотно
Обсиженныя, покорясь нуждѣ,
Горѣли какъ-то очень неохотно,
Шипѣли, какъ блины въ сковородѣ.
Пока трещали кузова, и стекла
Въ нихъ лопались,—румяные, какъ свекла,
Народные ораторы порой,
Чтобъ какъ-нибудь подняться надъ толпой,
На козла вспрыгивали, на запятки
Влѣзали и—орали, не боясь,
Что прогорятъ у башмаковъ ихъ пятки,
Или шальная искра выжжетъ глазъ.

*
* *

Такъ, за монашескія преступленья
Народъ монашескую роскошь жегъ.
Свершая это жертвоприношенье,
Онъ, разумѣется, никакъ не могъ
Забыть одну... преступную карету,
Карету папы,—колесницу эту,
Украшенную дорогой рѣзьбой
И золотомъ—какъ жертву на убой
Уже везли,—кто уцѣпясь за дышло,
Кто за рессоры... всѣ кричали: жечь!—
Жечь грѣховодницу!—и что же вышло?
Ее спасла нечаянная рѣчь—

*
* *

Рѣчь одного поклонника искусства.
Любуясь изумительной рѣзьбой
Фигуръ и орнаментовъ, онъ, изъ чувства
Къ прекрасному, невольно крикнулъ: стой!
Стой! прежде выслушайте адвоката;
Я адвокатъ... Карета виновата—

Она возила папу,—стало быть,
Ее намъ также слѣдуетъ казнить;
Но слушайте, другое назначенье
Мы ей дадимъ... Взгляните на нее,
Какая прелесть, эти украшенья—
Гирлянды... ангелы.—Нѣтъ! мнѣніе мое—

***

Такое мнѣнье... мы карету эту
Тому Христу-малюткѣ подаримъ,
Который, гордому не внемля свѣту,
Такъ любитъ насъ и нами такъ любимъ;
Какъ Пій онъ никогда не брезгалъ нами,
Стучался въ двери къ намъ, когда слезами
Мы обливались—къ бѣднымъ и больнымъ
Онъ шелъ охотно, какъ родной къ роднымъ,
Какъ къ братьямъ братъ; вездѣ, гдѣ умирали,—
Вездѣ полупотухшіе глаза
Его, какъ Бога, съ вѣрою встрѣчали,
И вспыхивала мутная слеза.

***

И что жь! пока въ каретѣ мы возили
Святѣйшаго отца,—какъ сироту
Съ открытою головкой въ жаръ носили
Небеснаго младенца: мы Христу
Не посвятили даже балдахина!...
Мы видѣли, какъ маленькій (bambino)
Мокъ подъ дождемъ... и не жалѣли мы
Спасителя, когда во дни зимы
Онъ къ нищимъ шелъ, какъ нищій неодѣтый.
О, братья! мы должны загладить грѣхъ,
Загладить грѣхъ нашъ этою каретой...
Другого средства нѣтъ—пошлюсь на тѣхъ,

***

На тѣхъ пошлюсь, въ комъ вѣра не простыла
И не замолкла совѣсть—не дадимъ
Христа въ обиду,—въ немъ вся наша сила...
—«Такъ что жь намъ дѣлать?»
—«Вотъ что, подаримъ
Мы эту золоченую карету
Христу, пускай онъ ѣздитъ».
И на эту
Простую рѣчь откликнулся народъ
Восторженно:—къ Христу, къ Христу!—и вотъ
Пока одни, водой наполнивъ шляпы,
Гасили уголья, другіе повезли
Великолѣпную карету папы,
Подъ звонъ колоколовъ, къ царю земли.

*
* *

Иль къ дѣтскому его изображенью.
Такъ простодушной вѣры полонъ былъ
Народъ не вѣрующій отлученью,
Такъ, ненавидя папу, Римъ любилъ
Распятаго, и такъ необычайно
Спаслась карета (этотъ фактъ—не тайна,
Его всѣ знаютъ)—только отнята
Теперь карета эта у Христа,
И въ дни парадные въ каретѣ этой
Опять качается святой отецъ,
Любовью, правдой, разумомъ отпѣтый
И, стало быть, давно живой мертвецъ.

БОЛЬШАЯ НЕПРІЯТНОСТЬ.

Гроза росла;—но не извивы молній,
А выстрѣлы сверкали. Никогда
И самъ Зевесъ съ Олимпа въ міръ нашъ дольній
Не низвергалъ такихъ громовъ, когда
Съ титанами боролся. Облаками
Клубился дымъ, ихъ сѣрыми волнами,
Какъ нѣкій древній богъ, со всѣхъ сторонъ
Вольнолюбивый Римъ былъ окруженъ.
Гроза росла—къ французамъ приливали
Тѣ силы, что позднѣе шли стѣной
На вольныхъ парижанъ и запятнали
Свой стягъ братоубійственной враждой...

***

Онѣ теперь надъ Римомъ упражнялись:
Зигзагами кой-гдѣ траншеи шли,
Кой-гдѣ росли, тянулись, приближались
Окопы и—мелькали фитили.
Окрестности отъ залповъ содрогались,
Осадныя орудья разгорались,
Съ холма на холмъ свинецъ дождемъ летѣлъ,
На груды тѣлъ валились груды тѣлъ;
Республика держалась за стѣнами;
Но этихъ стѣнъ кирпичъ за слоемъ слой
Срѣзали ядра,—мусоръ стѣнъ, мѣстами
Заваливая рвы, лежалъ горой.

***

Римъ сталъ дышать не воздухомъ, а дымомъ;
Однажды, изъ окна, на этотъ дымъ
Глядѣлъ Игнатъ—глядѣлъ, любуясь Римомъ,
И думалъ, злымъ отчаяньемъ томимъ:
Неужели отъ этого пожара
Останется цѣла одна тіара!
Неужели врагъ мысли и труда,
Народа врагъ—не общій врагъ, когда
Онъ на своихъ чужое поднялъ знамя...
И съ ужасомъ воображалъ Игнатъ,
Какъ фрески Рафаэля лижетъ пламя,
Какъ, накалившись, мраморы трещатъ...

***

«Съ однимъ великимъ именемъ я связанъ
Былъ съ раннихъ лѣтъ, и это имя—Римъ;
Я лучшею мечтой ему обязанъ—
Обязанъ и погибнуть вмѣстѣ съ нимъ»...
Такъ юноша-художникъ волновался.
Ужь подъ столомъ альбомъ его валялся,
Ужь высохла палитра, ужь давно
Пожухлое пылилось полотно.
Унылый скромникъ сталъ неузнаваемъ:
На перевязки рвалъ свое бѣлье,
Иль, освѣжась поспѣшно русскимъ чаемъ,
Двухствольное захватывалъ ружье
И выбѣгалъ . . . . . .
. . . . . .

У Сатаны.

Фантастическая сцена.

Чертогъ Сатаны на развалинахъ потухшихъ и простывшихъ міровъ.

Мракъ и жгучій холодъ.

САТАНА *(завидя Асмодея, поднявшагося съ земли и приближающагося къ его чертогу).*

Га! Какой тебя дымъ
Къ намъ съ планеты занесъ?!

АСМОДЕЙ.

Дымъ отъ пожаровъ—
Испаренія крови и слезъ...

САТАНА.

Въ нашихъ предѣлахъ,
Всѣ эти чадные газы
Кристализующій холодъ
Преобразуетъ въ алмазы *);

---

*) Намекъ на одну изъ гипотезъ о происхожденіи алмазовъ.
Авт.

Эти каменья мой адъ
Въ міръ выметаетъ назадъ.

АСМОДЕЙ *(приближается къ Сатанѣ съ трепетомъ).*

Слава тебѣ,
Духъ ненавидящій,
Бога и міръ презирающій!
Слава тебѣ,
Демонъ мятежный,
Истину, разумъ
И благодать отрицающій!
Славлю въ тебѣ
Зло безконечное,
Царственно-вѣчное,
Страшное праведнымъ,
Страшное грѣшнымъ,
Мракомъ кромѣшнымъ
Узаконенное,
Зло многотронное,
Многодержавное,
Искони славное!
Я, рабъ твой, рабствомъ гнушающійся,
Передъ тобой лишь однимъ преклоняющійся,
Царство твое величаю!

САТАНА.

Аминь!
Кто это въ свѣтѣ тебя научилъ
Пѣть намъ такіе каноны?..
Мажь по губамъ
Медоточивою рѣчью
Глупую спесь человѣчью.

Или, не намъ,
Іеговѣ воскури ты
Свой ѳиміамъ:
Мы, братъ, не такъ знамениты...

АСМОДЕЙ.

О, первообразъ тирана,
Страшно могучъ адскій твой произволъ!
Какъ въ океанѣ
Бурей гонимая пѣна
Лижетъ холодный утесъ,
Такъ я твои лобызаю колѣна.

САТАНА.

Ха! Близорукость твоя
Все еще, знать, не увѣрена,
Что сатанинская гордость моя
Даже похвалъ выносить не намѣрена,
Какъ ласки ребенка—змѣя.
Или моимъ ты терпѣніемъ
Хочешь играть?.. Не играй на «авось»!
Вижу тебя я насквозь.
Гордость въ союзѣ съ смиреніемъ
И съ умиленіемъ—спесь
Преподноси эту смѣсь—
Эту поэзію рабства
Власти земной.
Тамъ, съ преклоненной главой,
Пой ты спасительность папства,
Благодѣянья меча;
Славь по количеству жертвъ палача,
Празднуй затѣи разврата,
Рядомъ съ людьми.

Очи свои возводи ты на злато,
Какъ на кумиръ, сердцу ихъ дорогой,
Какъ на великаго бога,—
Этимъ возьмешь ты немного
Предъ Сатаной.

АСМОДЕЙ *(гордо).*

Такъ же, какъ ты, я безсмертенъ,
Въ безднахъ созданья не даромъ блуждалъ,
И твой совѣтъ опоздалъ.

САТАНА.

Изъ полумрака,
Изъ полусвѣта,
Въ мракъ ты ко мнѣ залетѣлъ;
Такъ доноси же,
Что дѣлаетъ эта
Крошка-планета—
Эта земля,
Каина пóтомъ,
Авеля кровью политая,
Свыше прикрытая,
Яко небеснымъ щитомъ,
Бога любовью отеческой?..
Превращена ли она
Грѣшнымъ трудомъ
Въ рай человѣческій
Или въ растлѣнный Содомъ?
Солнцемъ пригрѣтая,
Такъ же ли пышно цвѣтетъ,
Или отъ холода
Съежилась въ комъ,

И—что, конечно, желательно—
Сбилась съ пути окончательно?

АСМОДЕЙ.

Также вкругъ солнца течетъ,
Также вкругъ оси вращается,
И отовсюду, куда надвигается
Тьма, удаляется свѣтъ.

САТАНА.

Вотъ такъ отвѣтъ!
И аксіома—
И ничего
Сей аксіомою
Не выражается!
Съ вѣстью такой
Врядъ ли и стоило
Постъ свой земной покидать.

АСМОДЕЙ.

Зло свои силы утроило:
Многое множество
Душъ я довелъ до ничтожества;
И какъ изъ ада
Кристаллизованный чадъ
Въ міръ выметаютъ назадъ,
Такъ эти души, до злобы назрѣвшія,
Окаменѣвшія,
Смерть выметаетъ въ твой адъ.

САТАНА.

Знаю я эти душонки недужныя,
Рано простывшія, Богу ненужныя;

Какъ комары,
Въ тартарары,
Въ жупелъ онѣ къ намъ дождемъ низвергаются;
Но для такого мишурнаго сора,
Но для такого разбора
Мелкихъ людей
Тысяча шмыгаетъ мелкихъ чертей.
Титулы, карты, вино, волокитство,
Муки стыда и восторги безстыдства—
Вотъ она—вѣчная тема ихъ.—Ну!
Этимъ ли тѣшить должны Сатану
Духи—мои соправители,
Власти моей представители?..
Что съ человѣчествомъ?

АСМОДЕЙ.

Явно растетъ:
Путь его, скорбный и бѣдственный,
Разумъ божественный
Сталъ озарять.

САТАНА *(въ гнѣвѣ).*

Тучи сгустить или бурю поднять!
Не заслонить, такъ задуть!

АСМОДЕЙ.

Съ двухъ сторонъ гаснетъ—
Съ трехъ загорается,
Такъ на пожарѣ, въ лѣсу по корнямъ,
По смолянистымъ огонь пробирается...
Трудно становится намъ
Ладить съ проклятой наукою.
Это дитя

Давитъ чудовища,
Какъ въ колыбели Юпитеръ, шутя.
Старыми пѣснями я
Врядъ ли ее убаюкаю...
Тщетно я вновь прибѣгалъ къ чудесамъ,
Тщетно, въ отраду глупцамъ,
Старыя сказки на новый манеръ выворачивалъ,
Спиритамъ даже подчасъ помогалъ,—
Разумъ всѣ штуки мои открывалъ
И... озадачивалъ.

САТАНА.

Разумъ—анализа плодъ;
Кто жь не найдетъ
Яду въ процессѣ анализа?

АСМОДЕЙ.

Но до конца доведенный процессъ
Правдой становится,
Ложь раскрывается,
Благо беретъ перевѣсъ.

САТАНА.

Только глупецъ
Можетъ быть этимъ встревоженъ:
Развѣ возможенъ
Въ людяхъ подобный конецъ?

АСМОДЕЙ.

Нити конецъ въ Безконечномъ теряется,
Но за сію путеводную нить
Умъ человѣка хватается.

Пробовалъ я обрывать—
Не обрывается, тянется.
Передъ тобой, что мнѣ лгать?
Ни инквизиторы, ни іезуиты,
Ни цензора, ни тюрьма
Не замедляютъ работы ума—
Всѣ эти средства избиты.

САТАНА.

Глупость повальная—
Вотъ оно,—то разливанное
Море, откуда легко почерпать
Средства гасить и вязать.

АСМОДЕЙ.

Я этимъ пользуюсь; только толпа
Стала не такъ ужъ слѣпа.
Кой-гдѣ природа
Тайны свои открывать начала...

САТАНА *(хохочетъ).*

Ха, ха, ха! Тайны природы!
Или еще ты не вывелъ изъ моды
Этотъ весенній, пахучій туманъ,
Этотъ языкъ поэтическій?

АСМОДЕЙ.

Всякій языкъ есть обманъ.
(Я разумѣю, оптическій):
Краски глазамъ говорятъ,
Образы мысль безпрестанно тѣснятъ,
И даже духи твои повторяютъ:
«Солнце садится,
«Звѣзды мигаютъ»).

САТАНА.

Стало быть, матерь природа,
Или Изида
Тайны свои открывать начала!..
Но не сняла покрывала съ чела,
Груди своей не открыла—
(Гдѣ у природы чело?
Гдѣ у ней грудь?
Бѣсъ ихъ знаетъ!)
Груди своей не открыла,
Только хламиды своей
Край подняла,
Ноги свои обнажила,
И говоритъ мудрецамъ:
Эй! говоритъ, мудрецы вы,
Слѣпы вы, глухи вы, но не брезгливы,
Я открываю вамъ тайну мою—
Нюхать вамъ грязныя ноги даю.

АСМОДЕЙ.

«Ноги природы», какъ вымолвилъ ты,
Стали предметомъ горячей мечты:
Умъ разглядѣлъ, что преданье
Вовсе безъ ногъ, что по грязнымъ ногамъ
Можно узнать остальное,
И человѣкъ узнаетъ, узнаетъ, узнаетъ...
Даже меня не оставилъ въ покоѣ!

САТАНА *(постепенно озлобляясь)*.

Ба! Это значитъ, анализъ
Къ намъ въ бездны ада проникъ,
Духи мои растерялись,—
Ты головою поникъ.

Мошками обезпокоенъ,
Какъ подъ родительскій кровъ,
Къ намъ прилетѣлъ ты,
Спрятаться въ мракъ захотѣлъ ты
Отъ комаровъ!
Вотъ ты каковъ,
Первый посолъ нашъ
И на землѣ первый воинъ!
Га! Это значитъ, прогрессъ
Блага и правды въ народахъ
Взялъ надъ тобой перевѣсъ!
Въ равенствѣ, въ братствѣ, въ свободѣ
Ты, жалкій бѣсъ,
Сталъ расползаться, какъ облако
Въ жаркой лазури небесъ,—
Чуть не растаялъ!!

(Въ глазахъ Сатаны зловѣщій блескъ, страшные образы и тѣни сгущаются за плечомъ его. Слышенъ лай и брячанье цѣпи).

АСМОДЕЙ *(озираясь).*

Что это? или опять
Миѳологическій Церберъ залаялъ?
Или въ аду
Также не вышли изъ моды
Эти исчадія темныхъ вѣковъ—
Эти уроды?!
Силой какого великаго гнѣва,
О, Сатана,
О мой владыко единственный!
Ты эту сволочь
Поднялъ со дна
Бездны таинственной?

Трудно того запугать,
Кто не боится страдать!
Или, въ холодномъ приливѣ отчаянья,
Сталъ предо мной ты играть
Въ образы вѣчной погибели,
Въ тѣнь безотраднаго
Воспоминанія?..
Но, всемогущій, прости!
Врядъ ли тебѣ довести
Гордость мою до слезы,
Злобу мою до раскаянья.
Также я грозенъ и страшенъ,
Также могучъ на землѣ:
Въ сильныхъ и слабыхъ душахъ
Тѣнь моя тамъ отражается,
Какъ въ зеркалахъ, и колеблется
Чуть не на каждомъ челѣ.

(Призраки исчезаютъ и зловѣщіе звуки замолкаютъ).

САТАНА.

Здѣсь же, въ чертогѣ моемъ,
Видишь ли ты эти отблески?

АСМОДЕЙ.

Нѣтъ.

САТАНА.

Горняго свѣта мнѣ чудится слѣдъ
Даже на рылѣ твоемъ.

АСМОДЕЙ.

Да не смущается
Мракоподобье твое!

И лезвее,
Ядомъ натертое,
И ядовитой змѣи чешуя отливается,
Лоснится...
Лоскъ—это дѣло пустое:
Вѣдь отъ него ни свѣтло, ни тепло.
Ты—вездѣсущее зло,
А я, зло земное,
Долженъ порою блистать,
Чтобъ увлекать и плѣнять.
Ты пребываешь
Въ вѣчности и временамъ угрожаешь:
Я же теку вмѣстѣ съ временемъ
И, стало быть, связанъ
Съ почвою, съ климатомъ, съ расою, съ племенемъ,
И ко всему
Приноровляться обязанъ.
Рабская должность моя не по мнѣ:
Маску носить не совсѣмъ благородно;
Но такъ угодно
Царственно-вѣчному злу—Сатанѣ.

САТАНА.

Такъ отвѣчай же,
Что сдѣлалъ ты для того,
Чтобъ извратить Божье дѣло,
Чтобъ извести душу міра
И умертвить его тѣло?
Если съ планетой одной
Сладилъ ты,—знай: ты—герой,
Только не жди благодарности:
Нѣтъ у насъ этихъ сластей.

АСМОДЕЙ *(усмѣхнувшись).*

Что мнѣ за дѣло:
Изъ благодарности
Или со злости, съ досады
На приближенныхъ чертей,
Ты удостоишь награды
Рьяную службу мою!

САТАНА.

Нашему змѣю въ раю
Было наградой паденіе Евы;
Но, можетъ статься, на долю твою
Нѣтъ ни одной уже дѣвы,—
Некому падать,—и голый развратъ
Сталъ безусловнымъ владыкою.

АСМОДЕЙ.

Много свищей; но не все же свищи...

САТАНА.

Ну, такъ ищи.
И пусть послѣдняя, чистая дѣва
Адскую жажду твою утолитъ.
Радуйся, если родитъ
Новаго Каина или Антихриста,
Или змѣёныша, или...
Мнѣ все равно, что бы тамъ ни родили,
Лишь бы повитое зломъ
Не разрѣшилось добромъ.

АСМОДЕЙ.

Но и добро на землѣ
Часто погромомъ и зломъ завершается.

Гаснетъ любовь,
Умъ за софизмы хватается,
И, въ явномъ злѣ,
Даже ребенокъ ожесточается.

САТАНА.

Знаю, что рай въ адъ легко превращается...
(Только изъ ада не сдѣлаешь рая).
Но продолжай!

АСМОДЕЙ.

Было великое время:
Изъ скептицизма
И злого сомнѣнія,
Выросло сѣмя
Уразумѣнія.
Разумъ всѣмъ громко подсказывать сталъ:
«Равенство», «братство», «свобода».
Тутъ не одинъ идеалъ,—
Три идеала!
Но у меня
Вышло изъ нихъ три урода,
Три безобразія.
Взвѣсивъ невѣжество массъ,
Я заключилъ, что въ Европѣ у насъ
Массы людей—та же Азія:
Тотъ же миѳическій мракъ
Царствуетъ въ нѣдрахъ народа,
И воплотилась въ богиню свобода,
И нарядилася въ красный колпакъ;
Я преподнесъ ей въ таверне
Чашу вина,
И захмелѣла она;
Эту блудницу, какъ идола черни,

Я препоясалъ мечемъ,
Ей подчинилъ эшафоты,
Рядомъ поставилъ ее съ палачемъ,
И не одни идіоты
Вѣрятъ съ тѣхъ поръ,
Что тиранія народа
Есть молодая свобода,
Что ея символъ—топоръ.

САТАНА.

Дальше.

АСМОДЕЙ.

Изъ равенства тоже
Вышло Прокустово ложе—
Кровь полилась;
Вмѣсто креста, поднялась
Надъ головами
Та гильотина *святая*,
Что, понижая
Уровень мысли во имя страстей,
Стала орудіемъ власти моей.
Люди губили людей безсознательно.
Гибель равняла людей,
И такъ успѣшно равняла,
Что окончательно
Равенство пало:
Цезарь возсталъ
Грозный и стопобѣдный.
И покорились ему, какъ судьбѣ,
И поклонились
Даже фигурѣ его темно-мѣдной
На темно-мѣдномъ столбѣ!

Братство — великое слово —
Было не такъ уже ново,
Пастыри стада Христова
Въ мірѣ его разнесли,
И говорятъ, что кого-то спасли...
Но это братство по-своему поняли
Тѣ, кого рѣчи мои сильно проняли.

САТАНА.

Ну?...

АСМОДЕЙ.

Долго не могъ
Я упиваться такими побѣдами.

САТАНА.

То-есть, притихъ, изнемогъ...

АСМОДЕЙ.

Зло начинало добромъ откликаться,
Сталъ я замѣтно назадъ подаваться.
Люди (сердца и умы)
Освобождалися
Изъ-подъ ферулы обычая,
Цѣну теряли отличія,
Нравы смягчалися,—
Все выходило изъ тьмы.
Силою творчества,
Силою критики
И, такъ сказать, обаянія
Неуловимаго,
Строилось зданіе
Лучшаго общества,
Лучшей политики,

Иначе—лучшаго самосознанія...
Некогда было дремать!
Черная желчь закипала.
Новыя фразы
Сталъ я ковать.
«Разумъ, вѣщалъ я, не знаетъ отчаянья;
«Какъ антикварій, онъ цѣнитъ преданіе;
«Разумъ великъ, даже святъ,
«Стало быть, разумъ—
«Аристократъ».
«Слава есть дочь легковѣрія,
«Нравственность—мать лицемѣрія,
«Прелесть искусства—развратъ».
Кто терпѣливъ, тотъ не стоитъ свободы;
«Гдѣ постепенность—тамъ зло...»
«Крови своей не жалѣйте, народы!
Все начинай съ ничего!...»
Такъ я трубилъ,
Словно будилъ
Мертвыхъ изъ гроба,
И услыхалъ, наконецъ,
Какъ откликается злоба,
Какъ заправлять человѣчествомъ
Лѣзетъ послѣдній глупецъ.
Чтобъ окончательно спутать идеи,
Партіи сталъ я плодить.

САТАНА

Знаю я эти затѣи!
Старая выдумка!

АСМОДЕЙ.

Партіи сталъ я плодить
Непримиримыя,

Неукротимыя,
И въ наши дни
Тѣмъ велика ихъ заслуга,
Что безъ пощады другъ друга
Рѣзать готовы онѣ.
Я умиляюсь ихъ пенями.
Трупы ихъ будутъ ступенями
Для возведенія новыхъ боговъ.
Не мудрено, для слѣпцовъ
И разрушителей,
Стряпать вождей-повелителей.
Каждаго я возведу
Въ цезари, для поклоненія,
Будто бы для водворенія
Мира и тишины.
И, разумѣется, скоро
Каждаго я доведу
И до войны,
И до позора,
И до паденія.
Такъ, Сатана,
Съ ярыми криками:
«Миръ и свобода!»
Буду на сцену
Я выводить
То тиранію народа,
То деспотизмъ одного.
Вотъ мои планы.

САТАНА.

Ого!

АСМОДЕЙ.

Буду мѣнять декораціи,
И, можетъ быть,
До нищеты и безславія
Мной доведенныя націи
Будутъ читать
Только однѣ прокламаціи
И проклинать, проклинать, проклинать!..

(Изъ-подъ пяты Сатаны вырывается длинная, синебагровая молнія и озаряетъ развалины застывшихъ міровъ. Вслѣдъ за отдаленнымъ ударомъ грома раздается вопль и крики ужаса. — Асмодей замолкаетъ и опускаетъ голову).

САТАНА *(косясь на Асмодея).*

Сила играетъ...
Самоувѣренныхъ
Предостеречь не мѣшаетъ.

АСМОДЕЙ *(скрывая саркастическую улыбку).*

Знаю я этотъ огонь:
Это—огонь вездѣсущій,
Къ солнцу отъ солнца
Черезъ планеты бѣгущій,
Все оживляющій,—
Даже въ пространство
Междупланетное
Къ намъ проникающій...
Сила всесвѣтная,
Больше другихъ силъ замѣтная—
Этотъ огонь.
Съ нимъ—расцвѣтаніе,
И увяданіе,
И ароматы, и вонь.

Темно-могучей пятой
Ты задержалъ его токъ:
Вырвался онъ и потекъ,
И за предѣлами ада,
Громошипящей струей,
Брызнулъ въ эѳиръ голубой.
Люди зовутъ
Этотъ огонь электричествомъ,
И служитъ онъ,
Словно лихой почтальонъ,
И королямъ, ихъ величествамъ,
И торгашамъ, и рабамъ.
Служитъ монархіи
И конституціи,
Служитъ анархіи
И революціи,
И ретроградным,
И радикальнымъ вождямъ,
Служитъ свободной
И несвободной республикѣ,
И ужь, конечно, служа всякой публикѣ,
Служитъ и намъ.

САТАНА.

Хитрый вассалъ!
Врядъ ли тебѣ съ нами справиться!..
Мало тебѣ
Нашихъ похвалъ,
Дерзостью хочешь въ аду ты прославиться.
Какъ!! Разъяснять мнѣ мой громъ!..
Въ знаньи земномъ,
Въ знаньи людей
Смѣть почерпать разъясненіе

Власти иль силы моей,
Несокрушимой
И все сокрушающей!
Или, привитое свѣтомъ,
Въ темныхъ мозгахъ уложимое,
Кровью согрѣтое,
Въ слово одѣтое,
Зрѣніемъ, слухомъ
И осязаніемъ вѣчно дробимое,
Знанье людей
(Рода давно мной отпѣтаго)—
Выше познанья духовъ?.. Если «да»—
Кто допустилъ?

АСМОДЕЙ.

Никогда
Не допущу я до этого.
Знамя невѣжества
Все еще такъ высоко развѣвается,
Что даже разума строй
Въ явно-развитыхъ мозгахъ нарушается;
Даже наука, порой,
Вмѣстѣ съ толпой,
Власти моей подчиняется.
Я продаю ее,
Съ помощью жаднаго
Къ золоту генія,
Сильнымъ земли на служеніе.
Были недавно предложены мной
Почести, слава, награды
За боевые снаряды
Съ силой тройной, четверной,—

Сила открылась, и духъ разрушенія
Съ этимъ побѣднымъ вѣнцомъ

(показываетъ ему лавровый вѣнокъ)

Можетъ предстать безъ зазрѣнія
Передъ твоимъ сатанинскимъ лицомъ.
Мѣдью, свинцомъ, чугуномъ
Мигомъ героевъ полки
Я разрываю въ куски
И города превращаю въ развалины.
Такъ сотни тысячъ людей
Разорены по командѣ моей
И милліоны людей опечалены.

(Торжественно).

И вотъ, Сатана, мой послѣдній отчетъ:
Царство на царство встаетъ,
Братъ руку заноситъ на брата,
Отъ произвола, клеветъ, нищеты и разврата
Полміра гніетъ.

САТАНА.

Только-то?!—А!..
Только одна половина!
Значитъ, другая въ цвѣту обрѣтается!
И этимъ твой духъ умиляется?
И этимъ ты хвалишься?.. Нѣтъ!
Отъ вѣка такъ было и нынѣ
Да будетъ: на половинѣ
Дьяволу съ Богомъ мириться не слѣдъ.
Слушай же, бѣсъ, повелѣніе:
Если утратишь ты рвеніе,
Или предъ очи мои

Смѣешь предстать безъ доклада,
Что отъ безпутной земли
Нѣтъ ничего, кромѣ смрада,
Что водворился хаосъ,
Что, отъ отчаянья,
Нѣтъ даже слезъ,
Что, какъ свѣтильня безъ масла,
Разума пламя погасло,
Что, покидая въ крови и пыли
Землю, отъ гари и пыли
Съ хохотомъ черти ушли,
Ангелы плакать забыли;
Если придешь ты дразнить
Насъ, въ этой безднѣ страданія:
Разума духъ называть божествомъ,
Провозглашать силу знанія,—
Знай: для тебя я найду
Страшное мѣсто въ аду,
Стономъ твоимъ я наполню пространство,
Равное славѣ моей,
И эта казнь увѣнчаетъ
Такъ произволъ мой, что...

(Смотритъ Асмодею въ глаза, стараясь уловить въ нихъ послѣднюю мысль его).

—Вонъ!

(Выбрасываетъ его за порогъ своего чертога).

АСМОДЕЙ *(на границахъ ада).*

Злобой на злобу твою
Вооружу я гордыню мою,
Злоумышлять не устану

Мишенька.

I.

Съ Мишенькой я былъ знакомъ
Будучи ребенкомъ,
И тогда на видъ онъ былъ
Сущимъ медвѣженкомъ.
Помню я, какъ онъ сидѣлъ
Около крылечка,
Какъ привязанъ былъ къ столбу
За одно колечко.

Мишенька мой былъ—смѣшной,
Какъ собака тявкалъ,
Пилъ изъ плошки молоко
И губами чавкалъ.
И когда онъ отъ побой,
Какъ ребенокъ, хныкалъ,
Каждый Мишеньку дразнилъ
И надъ нимъ хихикалъ.

Опекунъ его—Ѳома,
Посреди сосѣдей,
Былъ извѣстнѣйшій кулакъ
И вожакъ медвѣдей.

Изъ расчета не бралъ онъ
Мишенькиной шубы,
Только щупалъ иногда
Мишенькины зубы.

Вотъ, мой Мишенька подросъ,
Смотритъ исподлобья,
Сиволапаго отца
Принялъ онъ подобье;
Появились у него
Признаки таланта;
Сталъ вожакъ его держать
Хуже арестанта.

Подпилилъ ему клыки,
Губу пробуравилъ,
На горячую плиту
Въ сапогахъ поставилъ *).
Учитъ Мишеньку вожакъ
(Палки не жалѣетъ),
«Какъ съ похмелья на печи
Баба спину грѣетъ».

«Какъ ребята на току
Просо молотили»,
«Какъ дѣвицы хороводъ
По селу водили».
«Какъ съ похмелья у него
Поясницу ломитъ»,—
И за все за это въ постъ
Мишеньку скоромитъ...

---

*) Сапоги или просто лапти надѣваются при этомъ только на заднія ноги.

Кто копѣйку, кто несетъ
Грошъ за представленье.
Мишкѣ—честь и похвала,
Ѳомкѣ—угощенье.

Нагрузили такъ Ѳому,
Что когда онъ вышелъ
За околицу—медвѣдь
Въ первый разъ услышалъ,
Какъ вожакъ, сжимая цѣпь,
Самъ съ собой калякалъ;
Все кого-то проклиналъ,
И какъ будто плакалъ.

—«Видишь, Мишенька», сказалъ
Мишенькѣ хозяинъ,
«Какъ на мѣсяцѣ, въ аду
«Мучается Каинъ...
«А за что?—За то, что онъ
«Авеля спровадилъ.
«Такъ-то, Мишенька, мой другъ,
Такъ-то» онъ наладилъ.

«А вонъ видишь—видишь, хвостъ...
«Это, братъ, комета;
«Это значитъ—на мази
«Преставленье свѣта...
«На престолѣ божества
«Судія возсядетъ,
«И тогда... что, братъ, тогда?!
Что, братъ!» сталъ онъ ладить.

И вздохнулъ онъ, и себя,
Такъ сказать, не помня,

Мишенькѣ сказалъ: «А что?
«Вѣдь и ты мнѣ ро́вня!
«Вѣдь и ты такой же, братъ,
«Забулдыга.—Что жь я
«На цѣпи тебя вожу?
«Погуляй, тварь Божья!»

Мишенька мой не былъ глупъ,
И когда снимали
Цѣпь съ него, стоялъ какъ пень,
Чуть глаза мигали...
Вотъ, онъ высунулъ языкъ,
Точно умилился.
«Ну, гуляй!» сказалъ вожакъ,
Да и повалился—

Захрапѣлъ Ѳома;—а онъ,
Получивъ свободу
(Точно дурня съ головой
Окунули въ воду),
Осторожно, не спѣша,
Передвинулъ ноги,
И немного постоялъ
На краю дороги.

Мишенька соображалъ:
Дескать, чѣмъ тутъ пахнетъ—
Палкой или тумакомъ?
Да какъ вдругъ шарахнетъ
Въ сторону, какъ побѣжитъ!
Инда пыль скачками
Поднялъ—и пропалъ, какъ тѣнь,
Въ рощѣ за кустами.

Заяцъ выскочилъ, бѣглецъ
Зайца испугался,
И подралъ еще быстрѣй.
Наконецъ забрался
Въ глушь такую, что уже,
Между вилъ да крючьевъ,
И ползкомъ пройти нельзя,
Не ломая сучьевъ.

Вотъ прилегъ онъ—хочетъ спать,
И никакъ не можетъ:
Сердце бьется, страхъ беретъ
И восторгъ тревожитъ:
То сова надъ нимъ кричитъ
И его пугаетъ,
То соловушка поетъ—
Сладко распѣваетъ.

Ночь прошла и—заглянулъ
День въ лѣсную балку;
Дальше Мишенька бѣжитъ
Рысью въ перевалку;
Слышитъ—дичью пахнетъ лѣсъ,
Видитъ—дебрь глухая,
—Здравствуй! Мишенька реветъ,
Родина святая!

Та же миновала ночь,
И вожакъ—очнулся,
Видитъ—цѣпь въ рукѣ, вскочилъ,
Вскрикнулъ, оглянулся.
Гдѣ же Мишенька?!.. Тю-тю!
Поминай какъ звали!
Бросился въ село коцапъ—
Заревѣлъ съ печали,

Заходилъ во всѣ дворы,
Обѣжалъ всѣ крыльца:
«Не видали ль вы его,
Моего кормильца?!»
Обошелъ поляну, лѣсъ,
Спрашивалъ, метался,
И—поймать или убить
Мишеньку поклялся.

III.

Вотъ, на родинѣ своей
Мишенька гуляетъ,
Лапы вылизаны и
Губа заживаетъ:
Медвѣжата вкругъ него
Съ любопытствомъ бродятъ,
Медвѣдихи чудакомъ
Мишеньку находятъ.

Вотъ, онъ сунулъ носъ къ роднымъ,
Тѣ его прогнали,
И ученаго шута
Дурнемъ обругали;
Мишенька мой закутилъ;
То идетъ, то пляшетъ,
То вдругъ мухъ начнетъ ловить—
Стоя, лапой машетъ.

Какъ онъ велъ себя, могу
Разсказать вамъ вкратцѣ:
У него нашлись друзья,
Кумовья и братцы;

Занимались болтовней,
Соты воровали,
И на Мишенькѣ верхомъ
Ловко выѣзжали.

Мишенька снопы таскалъ
Съ овсяного поля,
Разъ корову ободралъ,
А когда неволя
Заставляла, то смѣшилъ,
Выворотя лапу,
Съ жалкой миной представлялъ,
Какъ носилъ онъ шляпу.

Разъ задумалъ танцовать,
Да и отличился,
Спотыкнулся, въ буеракъ
Съ дамой покатился.
Страшно выпачкалъ онъ ей
Спину липкой глиной,
И за это былъ при всѣхъ
Выруганъ скотиной.

Но и году не прошло,
Мишенька косматый
Получилъ какой-то лоскъ
Темно-рыжеватый.
Сталъ грустить, повѣся носъ,
Отъ друзей отбился,
Вотъ, женился наконецъ
И—остепенился.

Вотъ зима пришла; живетъ
Мишенька въ берлогѣ,

И лежитъ, какъ Падишахъ,
Протянувши ноги.
Дѣти ползаютъ по немъ,
И молокососы,
Увальни,—а ужь подчасъ
Задаютъ вопросы.

Кто даетъ намъ шубки? Кто
Свѣтитъ надъ берлогой?
—Правда ли, что есть такой
Звѣрь—совсѣмъ двуногій?
—Правда ли, что ты мудрецъ?!
И, прищуря глазки,
Мишенька на это имъ
Сказываетъ сказки.

Стало холодно, морозъ,
Дуетъ къ нимъ сквозь щели,
Много снѣгу намело
Возлѣ ихъ постели.
«Холодно!» ворчитъ жена,
«Ступай поработай!»
И бурчитъ онъ: «Ты сперва
Шубу мнѣ заштопай!»

«Шуба шубой! а нельзя
Жить, мой другъ, безъ дѣла».
Выползъ Миша, принялся
За работу смѣло:
То въ охапку загребетъ
Хворосту и—тащитъ,
То вдругъ выворотитъ пень—
И глаза таращитъ.

То начнетъ суки ломать—
По сугробамъ ходитъ.
Видитъ самъ, что наконецъ
Дѣло дрянь выходитъ...
И опять ползетъ домой,
Грудь какъ печка пышетъ,
Знать, съ работы такъ тепло,
Онъ сопитъ и дышитъ,

Что погрѣться льнутъ къ нему
И жена и дѣти,
И счастливѣе его
Нѣтъ на бѣломъ свѣтѣ!
Но пришла къ нему бѣда!
Шла бѣда въ два срока,—
Лѣтомъ и зимой, и вотъ,
Вотъ ужь не далеко...

IV.

Мишенька однажды всталъ
На зарѣ, раненько.
Было на небѣ красно,
Въ воздухѣ тепленько.
Подрумянилась зима
И замѣтно чахла,
На проталинкахъ кой-гдѣ
Ужь весною пахло.

Вотъ и медвѣжата въ лѣсъ
Выползаютъ тихо,
Изъ берлоги имъ вослѣдъ
Смотритъ медвѣдиха.

Сталъ ихъ папенька учить
Лазить, кувыркаться,
Подниматься на дыбы,
На кулачки драться.

И боролся съ ними онъ,
И давалъ подножку,
Или лапой въ снѣгъ валилъ,
Злилъ ихъ понемножку.
Наконецъ, и самъ усталъ,
И въ лѣсной куртинѣ
Развалился на снѣгу,
Точно на перинѣ.

Вдругъ, онъ слышитъ: Мать кричитъ—
Фырчутъ медвѣжата—
Мишенька вскочилъ, дрожитъ
(Трусъ онъ былъ когда-то).
Чу!... послышалось въ кустахъ
Звяканье цѣпочки.
Онъ на корточки присѣлъ,
Смотритъ изъ-за кочки,

Видитъ, по лѣсу къ нему
Человѣкъ шагаетъ;
Съ нимъ двухствольное ружье
И топоръ мелькаетъ.
Батюшки! никакъ Ѳома,—
Тотъ кулакъ ученый,
Что плясать его училъ
На плитѣ каленой.

Что, бывало, цѣлый день
Школитъ, распекаетъ,

Ну, какъ онъ его опять,
Дурака, взнуздаетъ!
Струсилъ Мишенька, Ѳома жь,
Смѣлый чортъ! краюшку
Кажетъ издали, принесъ
И вина косушку.

Труситъ Мишенька, да тутъ
Могъ бы струсить всякій,
Потому что будь медвѣдь—
Кончилось бы дракой;
А вѣдь тутъ ружье, топоръ...
Мишенька смутился,
Тягу дать хотѣлъ, да вдругъ—
Пріостановился.

Думаетъ: авось, меня
Пощадитъ хозяинъ.
Тоже братомъ называлъ...
Что же онъ за Каинъ?
Да и какъ я съ нимъ пойду...
У меня семейство.
Глядь! ружье наведено—
Это ужь злодѣйство...

Мишенька отворотилъ
Морду... Бацъ! задѣла
Пуля за ухо... Тогда
Кровь въ немъ закипѣла
Къ непріятелю враждой
И любовью къ милой:
И проникся духъ его
Богатырской силой.

Грозный, сталъ онъ на дыбы,
Лѣзетъ на коцапа,
Раздувается вихоръ,
На отвѣсѣ лапа,
Кровью налиты глаза.
Ѳомка не зѣваетъ,
Вновь онъ мѣтитъ Мишѣ въ лобъ,
Глазомъ не мигаетъ.

Видитъ онъ, хоть и не трусъ,
Эдакія страсти!
Подпиленные клыки
Засверкали въ пасти.
Бацъ! онъ выстрѣлилъ, въ плечо
Пуля угодила,—
Лѣзетъ на него сквозь дымъ
Мишенькино рыло.

Вотъ онъ выхватилъ топоръ,
Поднялъ... Затрещала
Голова, топоръ упалъ,
И ружье упало.
Мишенька царапнулъ такъ,
Что свалилъ коцапа;
Видно, тяжела въ бою
Мишенькина лапа.

Такъ, изъ прежняго шута
(Это ли мы скроемъ?)
Онъ на родинѣ своей
Сдѣлался героемъ.
И спаслась его семья
Отъ цѣпей неволи.
Мишенька сталъ знаменитъ
И въ лѣсу, и въ полѣ.

Куклы.

Сирота и вчерашній ребенокъ,
Завитой и одѣтый по модѣ,
Бѣдный ангелъ съ завистливой думой
И—мечтательный бѣсъ по природѣ,

Вотъ—она, что когда-то сердито
Мнѣ внимала, потупивши глазки,
Для которой безсонныя думы
Наряжалъ я въ нестройныя сказки.

Въ этихъ сказкахъ правдивая нотка
Иногда такъ задорно звучала,
Что она,—то, какъ ангелъ, смущалась,
То, какъ бѣсъ, свои губы кусала.

Ахъ! когда-то вчерашній ребенокъ
Пересталъ быть, какъ ангелъ, прелестнымъ,
Пересталъ быть и бѣсомъ опаснымъ,
И, какъ призракъ, исчезъ—въ неизвѣстномъ...

Только сказокъ домашняя проза
Отыскалась въ забытой тетради;
Эту прозу я въ риѳмы одѣну
И пущу ее въ новомъ нарядѣ.

—Вотъ вамъ первая сказка:

I.

Недалеко, въ одномъ глупомъ царствѣ,
Какъ въ игрушечной лавкѣ, не мало
Расплодилось хорошенькихъ куколъ;
Но одна всѣхъ красой затмевала.

Такъ былъ свѣжъ ея тонкій румянецъ,
Такъ вились ея пышныя букли,
Что одна мнѣ знакомая Дуня
Всей душой предалась этой куклѣ:—

Увидала ее, обомлѣла,
И съ собой въ экипажъ посадила,
Увезла, назвала ее Фаней,
И въ своемъ уголкѣ пріютила;

Для ея пестрыхъ юбочекъ шкафикъ
Заказала, купила ботинки...
«Ма-ма, ма-ма!»—пищала ей кукла
(Отъ нажима какой-то пружинки).

Она двигалась вся на пружинкахъ
И не куклой—живой представлялась,
И легко ее было испортить—
(Впрочемъ, порчи она не боялась...)

Долго-долго хорошенькой куклѣ
Беззаботно жилось, безтревожно,
Безъ тоски, безъ страстей,—такъ, какъ людямъ
Жить на свѣтѣ едва ли возможно.

Но—увы!—это только казалось:
Всякій разъ, какъ ее на подушку

Клали спать-почивать, какъ малютку,
Какъ цвѣтокъ, какъ фарфоръ, какъ игрушку,

Всякій разъ, какъ смыкались рѣсницы,—
Наплывалъ на нее рой мечтаній:
Жажда благъ неизвѣданныхъ,—жажда
Неземныхъ и земныхъ испытаній.

Впрочемъ, грезы ей спать не мѣшали;
И всѣ сны ея были такъ сладки,
Что ни разу она не видала
Благодатнаго свѣта лампадки,—

Не слыхала ни разу, какъ няня
Дорофея молилась иконамъ,
И какъ грудь ея тяжко вздыхала
Вслѣдъ за каждымъ усерднымъ поклономъ...

II.

Мама куклы, веселая Дуня,
Ростомъ выше была и живѣе;
Одѣвалась пестро и носила
Золотое сердечко на шеѣ;

И болталось, болталось, болталось
То сердечко на тонкой цѣпочкѣ;
Въ немъ таился какой-то портретикъ,
За стекломъ, въ золотомъ ободочкѣ.

Говорятъ, что ей нравился Шурка,—
Мальчуганъ, что въ высокихъ хоромахъ
Обиталъ и—не въ мѣру богатый,
Былъ изысканно-глупъ; но—не промахъ...

Этотъ Шурка въ ея именины
Подарилъ ей—не вазу съ цвѣтами,
И не чайный сервизъ, и не книжку
Въ голубомъ переплетѣ, съ стихами,—

Подарилъ онъ ей собственный за́мокъ—
По механикѣ сущее чудо:
Вѣялъ флагъ надъ его красной башней,
Въ окнахъ стекла сіяли, какъ слюда...

А кругомъ были клумбы, бесѣдки,
И зеркальный прудокъ съ лебедями,
И лужокъ, на которомъ павлины
Распускали свой хвостъ вѣерами;

Отливали зеленою фольгой
Ихъ красивыя, гордыя шеи;
Былъ диванчикъ въ тѣни... билъ фонтанчикъ...
Словомъ, разныя были затѣи.

Нашей Фанѣ весь день изъ-за двери
Виденъ былъ этотъ замокъ дареный;
И не разъ она съ милою Дуней
Удивлялась постройкѣ мудреной;

Особливо она удивлялась,
Когда въ за́мкѣ, подъ сводами зала,
Начиналъ пѣть органъ, и сливался
Голосъ пѣсни съ мотивами бала.

Мальчуганъ Шурка, Дунинъ любимчикъ,
Хоть и былъ мелюзга,—сталъ казаться
Томной Фанѣ большимъ человѣкомъ,
И она его стала бояться...

И, хоть былъ онъ великій невѣжда—
Дуня явно его баловала:

То конфетку ему подносила,
То сердечко ему раскрывала...

«А, такъ вотъ оно что!»... размышляла
Про себя наша Фаня... «Мнѣ стоитъ
Богача полюбить, и—конечно,
Онъ такой же мнѣ замокъ построитъ».

III.

Кукла Фаня замѣтно глупѣла,
Кой-чего, можетъ быть, и стыдилась;
Но одѣта была въ шелкъ и въ бархатъ,
И—для каждой гостиной годилась.

Гости Дуни, соперники Шурки,
Часто около за́мка бродили
И, должно быть, отъ скуки, на Фаню
Все вниманье свое обратили...

Разглядѣли (Всевышній не даромъ
Далъ носы и глаза каждой куклѣ)—
Разглядѣли они ея свѣжесть
И ея шелковистыя букли.

Первымъ сталъ куртизанить гусарикъ,—
Удалецъ (деревянный, конечно),—
Онъ гордился своими усами
И свой ментикъ носилъ безупречно.

Полюбивъ нашу куклу, онъ началъ
Напѣвать ей такіе куплеты,
Что она поневолѣ спросила:
—Отчего у него нѣтъ кареты?

Отвѣчалъ ей наивный гусарикъ,
Глядя вдаль (гдѣ топилася печка):
— У меня есть парадная лошадь,
Съ вензелями чепракъ и уздечка,

А кареты—не ма! потому что
Не богатъ я, изволите видѣть...
Усмѣхнулась красавица кукла,
Не желая героя обидѣть...

Деревянный гусарикъ недолго
Напѣвалъ ей то справа, то слѣва:
Разъ, вернувшись домой, онъ свалился
И воскликнулъ: «коварная дѣва!»...

И затѣмъ, говорятъ, двѣ недѣли
Онъ лежалъ, и лежалъ нераздѣтый,
Ни ботфортъ не снимая, ни сабли,
Какъ герой, красотою отпѣтый.

IV.

Вслѣдъ за пылкимъ героемъ явился
Къ ней съ улыбкой другой волокита,
Докторъ,—мастеръ лѣчить модныхъ куколъ,
Такъ чтобъ все было шито и крыто.

Говорятъ, что онъ весь былъ изъ папки
(Кромѣ перстня, часовъ и медали),
Что онъ долго служилъ бонбоньеркой
И стоялъ на пустомъ пьедесталѣ.

Что когда-то капризныя дѣти
Обожали его за гостинцы;

Самъ же онъ говорилъ, что отъ кашля
Спасены имъ какіе-то принцы.

Приложа къ куклѣ жадное ухо,
Разъ онъ такъ придавилъ ея спинку,
Что она чуть не вскрикнула: ма-ма!!
И шепнула: «не троньте пружинку!»

И затѣмъ, пресерьезно зачѣмъ-то
Сталъ онъ ниткою мѣрить ей плечи,
Мѣрилъ грудь, и—во имя науки—
Приплеталъ неприличныя рѣчи.

Фаня долго наивно смѣялась,
Иногда поневолѣ краснѣла;
Наконецъ, поняла, что мудрецъ сей
Строитъ куры ей слишкомъ ужь смѣло

И спросила его: «гдѣ вашъ за́мокъ?»...
Озадаченъ былъ докторъ нахальный...
—Гдѣ мой за́мокъ!—вспылилъ онъ;—мой за́мокъ
У меня въ головѣ либеральной,

Да въ карманѣ моихъ паціентовъ...
Кукла только плечами пожала:
Вѣроятно, она въ это утро
О счастливой мама вспоминала.

Ей же часто мерещилось ночью,
Что у за́мка, по темной дорожкѣ,
Ходитъ мама,—и что съ нею рядомъ
«Скрипъ-скрипъ-скрипъ!».. ходятъ чьи-то сапожки...

Воротившись домой, модный докторъ
Выдулъ водки изрядный стаканчикъ,
Съѣлъ кусочекъ голландскаго сыру
И прилегъ на плетеный диванчикъ,

И съ лицомъ неподвижнымъ, какъ маска,
Проворчалъ: «что за милая дура!»...
И затѣмъ разсказать, что онъ думалъ,
Мудрено—(не позволитъ цензура).

V.

Такъ какъ докторъ былъ сдѣланъ изъ папки,
То однажды, въ канаву свернувшись,
Онъ размокъ; и когда бойкій Шурка
Его вздумалъ спасать и, нагнувшись

Къ мутно-грязной водѣ, началъ шарить
Всей своей пятерней,—присосалась
Къ ней піявка; и вотъ все, что́ на свѣтѣ
Отъ великаго мужа осталось!!

Дуня громко смѣялась надъ Шуркой;
Фаня вдругъ, увидавши піявку,
Замахала руками и въ страхѣ
Чуть сама не свалилась въ канавку.

Кукла вмигъ догадалась, что это
Не піявка, а докторъ, который
Искушалъ ея слабое сердце,
И всегда находилъ ее хворой.

И такія давалъ ей пилюли,
Что съ тѣхъ поръ ее что-то тревожитъ,
И чего она хочетъ,—не знаетъ;
Но пищать уже громко не можетъ.

Всѣ влюблялись въ нее; всѣмъ кокетка
Улыбалась и строила глазки;

Но никто, пожимая ей руки,
Не дошелъ до желанной развязки.

Черезъ годъ, отъ отчаянья, двое
Забулдыгами стали, спустились
До подвальныхъ этажей и страшно
Растрепалися и обносились;

Нѣкто N (это было въ апрѣлѣ)
На панель изъ окошка свалился;
Несомнѣнно, бѣднякъ самовольно
Вверхъ ногами слетѣлъ и разбился.

Онъ фарфоровый былъ; его брови
Были чёрточками; какъ двѣ точки,
Расходились глаза; ротъ былъ красный,
И на галстукѣ были цвѣточки.

Нѣкто S, какъ золу выгребали
Изъ печей, найденъ былъ обгорѣлымъ.
(Непонятно, какъ могъ онъ погибнуть
Такъ ужасно, не будучи смѣлымъ!)

Это былъ, подающій надежды,
Юный химикъ, и былъ такъ несмѣлъ онъ
Оттого, что судьбой иль природой
Изъ гнилого былъ дерева сдѣланъ;

Онъ своимъ постояннымъ молчаньемъ
Иногда доводилъ до зѣвоты;
И хоть былъ онъ не очень уродливъ,
Но замѣтно топорной работы;

И попалъ онъ въ гостиную Дуни
Потому, что привезъ его Шурка,

Увѣряя, что S добрый малый,
И что S—пресмѣшная фигурка.

Несмотря на плачевныя страсти,
Куклы жили не въ мѣру роскошно;
Ихъ тщеславію нравились жертвы,
И на совѣсти не было тошно.

VI.

Вотъ промчалось два года,—у за́мка
Покоробились стѣны;—заткали
Пауки позабытую башню,
И павлины хвосты растеряли.

И кругомъ жизнь замѣтно скисалась,
Какъ въ теплѣ молоко. Гости рѣже
Появлялись у за́мка.—Самъ Шурка
Пропадать сталъ въ какомъ-то манежѣ.

Дуня стала скучать, Фаня тоже
Оставалась безъ кукольной свиты;
Ея платьица были не новы,
Ея локоны—полу-развиты.

И нельзя не грустить было Фанѣ:
Мама рѣдко ее навѣщала,
И она, въ панталончикахъ лежа,
Цѣлый день потолокъ изучала.

Наконецъ, Дуня новой игрушкой
Завелась. Не купила, а просто
Изъ гостей привезла къ себѣ въ гости
Купидончика, малаго роста.

Онъ изъ гипса былъ вылѣпленъ, чисто
Отшлифованъ... (работы нѣмецкой),
И его, привязавъ на шнурочекъ,
Дуня, молча, повѣсила въ дѣтской.

Разъ проснулась унылая Фаня
(Дребедень ей какая-то снилась);
Ярко солнце въ окно ей сіяло,
И весна за окномъ шевелилась;

Но ни стука подковъ, ни журчанья,
Ни чириканья птицъ не слыхала
Наша кукла,—она растрепавшись,
Вверхъ глаза подняла и—привстала.

— Боже мой! восклицаетъ и слышитъ
Сверху сладенькій голосъ:—«Летать я
Буду вѣчно за радужнымъ счастьемъ,
Простирая на воздухъ объятья...»

И, глаза протеревъ, видитъ кукла:
Подъ одной перекладиной, въ нишѣ,
Гдѣ старуха спала, и откуда
Вылѣзали однѣ только мыши,

Въ свѣтло-пыльномъ лучѣ колыхался
Купидошка, и—что было странно—
Онъ былъ голъ, какъ соколъ... точно въ ванну
Окунувшись, онъ вышелъ изъ ванной...

Но, быть можетъ... прелестному духу,
Что на воздухѣ можетъ отлично
И висѣть, и витать, и не падать,—
Быть одѣтымъ въ сукно—неприлично!

Можетъ быть! у него же и крылья,
Какъ у духа, за выгнутой спинкой,—

И стыдливая Фаня прикрыла
Свои плечики старой косынкой.

— Ба! подумала:—Ба! если это
Купидошка... и я угадала,
То—мнѣ Дуня о немъ намекала
И примѣты его описала.

Такъ и есть!—моложавъ, миловиденъ,
Бѣлъ, какъ мѣлъ,—не изъ тряпочекъ сверченъ,
Безъ усовъ, какъ дитя,—граціозенъ,
И прекрасно, прекрасно очерченъ!

Но... мнѣ кажется... этотъ красавчикъ
Здѣсь какъ свой... точно дома!.. Признаться...
Щекотливое дѣло... Зачѣмъ же
Онъ въ мой уголъ изволилъ забраться?

Или мама, сама разорившись,
Меня выдать за голаго хочетъ?..
И въ соблазнъ меня вводитъ... Спасибо!
Не ждала!.. хорошо... пусть хлопочетъ!..

VII.

Но, кокетничая съ Купидошкой,
Наша Фаня сама увлекалась,
И, быть можетъ, въ надеждѣ на свадьбу
Цѣлый день въ декольте оставалась.

И лѣнилась влюбленная кукла,
(Всѣ влюбленныя куклы лѣнивы!)
И мечтала влюбленная кукла,
(У влюбленныхъ мечты прихотливы).

Ночи стали казаться ей бредомъ;
То ей снилось: нагіе амуры
Ищутъ корма—и хлѣбныя зерна
Подбирая, кудахчутъ какъ куры;

То ей снилось: какіе-то зáмки
Лѣзутъ нá гору, брызжутъ фонтаны,
А ея будуаръ весь въ атласѣ...
И диваны, диваны, диваны...

То ей снились рогатые черти...
Словомъ, кукла моя идеально,
Безъ малѣйшаго смысла, влюбилась,
И была не на шутку печальна.

Въ грудь ей точно пружина давила,
Въ головѣ точно муха жужжала...
Все, что близко, казалось далекимъ,
И, вдобавокъ, она ревновала,

Даже злилась, когда въ папильоткахъ
Дуня, прямо съ постели, являлась,
И по праву капризной хозяйки,
Съ милымъ гостемъ, играя, смѣялась;

То отталкивала, то ловила,
То, оскаливъ перловые зубки,
Его пальчикомъ гладила, или,
Приложа къ нему алыя губки,

Лепетала, «bon jour, милый Пупка!»
Фаня глазки свои закрывала,
Задыхалась и, вся холодѣя,
Заворачивалась въ одѣяло,

И нечесанною оставалась
Цѣлый день... и роптала:—«Какъ видно,

Этой мамѣ терзать мое сердце
Не грѣшно и нисколько не стыдно!

«Гдѣ ея золотое сердечко?...
Гдѣ оно?.. Все навѣкъ измѣнилось—
Все прошло!.. Я давно позабыта,—
И бѣлье мое все износилось,

«И давно ужь не только что шляпки,
Отъ мама я не вижу—ветошки!!
О, мама!.. Я тебя проклинаю,
Не уступишь ты мнѣ Купидошки!»

VIII.

Разъ, когда Купидошка качался
На шнурочкѣ бездушной игрушкой,
На него жь Фаня чуть не молилась,—
Раздалась хрипота за подушкой.

Испугалась она, оглянулась,
Видитъ:—рожа, сухія морщины,
Башмакомъ длинный носъ, взглядъ свинцовый,
Даже строгій, безъ всякой причины.

Это былъ старикашка знакомый
(Для дѣвицъ, разумѣется, лишній),—
Онъ былъ старымъ повѣреннымъ няни,
И служилъ ей копилкой давнишней.

Старикашка былъ скроенъ нескладно,
Но за то—плотно сляпанъ изъ жести,
Животомъ походилъ на кубышку,
И для денегъ всегда былъ на мѣстѣ.

Кѣмъ онъ сдвинутъ былъ съ мѣста, и какъ онъ,
Этотъ денежный тузъ, очутился
За подушкой красавицы Фани,—
Я не знаю; должно быть—влюбился...

— Какъ! неужели вы... (такъ онъ началъ)
Влюблены въ этотъ слѣпокъ съ Амура—
Въ дурака Купидошку! не вѣрю:
Вы красавица, но вы не дура!

Вѣдь онъ глупъ, какъ пузырь! и при этомъ
Въ поведеніи шатокъ: летаетъ,—
Потому что его, негодяя,
Кто-нибудь непремѣнно толкаетъ.

Вамъ мерещится, будто онъ геній...
Ахъ, сударыня! онъ разобьется,—
Разобьется на мелкія части,
Если какъ-нибудь вдругъ оборвется.

То ли дѣло сундукъ! Ахъ! позвольте
Васъ съ собой пригласить! Препріятно
Тамъ со мной проведете вы время...
И—гм-гм!.. пробурчалъ онъ невнятно.

— Замолчите!—отвѣтила кукла,—
Я хочу съ *нимъ* навѣкъ сочетаться...
Усмѣхнулся старикъ (такъ умѣютъ
Лишь одни старики усмѣхаться).

— Никогда вамъ мама не позволитъ
Съ Купидошкой сойтись;—не она ли
Пригласила его и отъ скуки
Привязала, покуда вы спали.

Онъ не вашъ-съ! И скажу по секрету:
Онъ одинъ и останется съ мамой,

Въ день, когда съ молотка будетъ проданъ
Этотъ замокъ и домъ этотъ самый.

— Почему?.. — Потому-съ, что вы жили
На фуфу... Отъ бѣды неминучей
Я хочу васъ спасти, потому что
Я для васъ хоть и старъ, но я—Случай...

Или пользуйтесь мной или—къ чорту!
Отвѣчала она:—Извините,
Вашихъ мѣдныхъ грошей мнѣ не надо...
— Ну, такъ чортъ васъ возьми! какъ хотите;

Пропадайте, какое мнѣ дѣло!
Черезъ три дня вы будете нищи,
И пойдете искать себѣ мѣста,
И канючить, безъ крова и пищи.

Кукла, блѣдная вся, отвернулась
И закрыла глаза отъ волненья;
А старикъ кѣмъ-то былъ отодвинутъ
И пропалъ, какъ ночное видѣнье.

Только издали слышалось, что-то
Звучно брякнуло. Не серебро ли?
Или просто гроши? Но объ этомъ
Встарину знали чьи-то мозоли,

А теперь знала старая няня:
Все, что выняньчила, что скопила
У господъ, по домамъ, словомъ, всѣ-то
Сбереженья ея поглотила

Жестяная копилка, подъ видомъ
Старика; онъ надѣялся вдвое

Дольше жить и въ своихъ жесткихъ лапахъ
Утаить достоянье чужое.

IX.

Ночь стонала подъ бурей, и—Фанѣ
Не спалось; ей все чудилось: кто-то
Ей поетъ о ночныхъ поцѣлуяхъ,
И что флейты пѣвучая нота,

Замирая, сливается съ трубнымъ
Завываніемъ. Фаня металась;
А герой ея спалъ, какъ убитый,
Только тѣнь отъ него колыхалась;

Оттого колыхалась, что няня
Со свѣчей безпрестанно сновала:
Съ неотвязной тревогой, старуха
Въ эту ночь мѣдный ключикъ искала,—

Отъ копилки потерянный ключикъ,
Ну какъ, думала, кто-нибудь сцапалъ!?..
И очки ея круглыя съ носа
То и дѣло что падали нá полъ.

Вотъ... нагнувшись, она Купидошку
Мимоходомъ свѣчей зацѣпила,
И—случайно—шнурокъ, на которомъ
Онъ спокойно висѣлъ, подпалила.

Увидала влюбленная кукла,
Что-то въ воздухѣ вдругъ засвѣтилось;
Но она не успѣла и вскрикнуть,
Какъ на грудь ея что-то свалилось...

Какъ копна поднялись ея букли,
Помутились хрустальные глазки;
Обомлѣла она отъ испуга,
Отъ нахальной и каменной ласки...

На разсвѣтѣ бѣдняжка очнулась...
Что жь, очнувшись, она увидала?
На полу, у кровати,—обломки
Перешибленныхъ крыльевъ нахала;

Онъ же самъ, что разбилъ ея сердце,
Тотъ, по комъ она тайно вздыхала,
Безмятежно лежалъ, улыбаясь,
Сверхъ цвѣтного ея одѣяла,

И шепталъ ей: «Ей-Богу же, Фаня,
Я далеко не то, чѣмъ казался,
Я на привязи былъ, и, конечно,
Ты желала, чтобъ я отвязался...

«Твоя мама меня тормошила,
Точно я для нея былъ игрушка...
Твоя няня звала меня чортомъ...
Каково?!.. Поцѣлуй меня, душка!

«Эхъ! не бойся меня: я былъ вѣтренъ,
И купчихъ надувалъ, не краснѣя;
А теперь я готовъ мои крылья
Промѣнять на халатъ Гименея,

«На домашнюю жизнь.—Для чего мнѣ
Эти глупыя крылья? Не время
Намъ летать; погляди, и увидишь,
Что кругомъ насъ—безкрылое племя.

«Будь я геній,—меня, какъ урода,
Осмѣетъ и голодный, и сытый;

Капиталецъ мнѣ дай, если хочешь,
Чтобъ я былъ человѣкъ знаменитый.

«Можетъ быть, на обоихъ насъ мама
Будетъ зла; но мы это устроимъ...
Будетъ злиться недѣлю, другую,
А потомъ и проститъ намъ обоимъ.

«И надѣюсь, что Дуня тотъ замокъ,
Подъ стѣнами котораго дѣтство
Провела ты, и всѣ свои деньги
Намъ обоимъ оставитъ въ наслѣдство»...

Такъ болталъ онъ, и слушала Фаня,
Безъ отвѣта, привѣта и жалобъ,
И не будь она кукла, отъ злости
И сердечной тоски—зарыдала бъ.

X.

Ночь прошла, все проснулось, и Дуня
На кроваткѣ зѣвнула съ просонокъ;
Дуня, вѣтреная, какъ подростокъ,
Несомнѣнно, была не ребенокъ:—

Понимала, что въ домѣ не ладно...
И, бросая смущенные взоры
На драпри, на ковры, прошептала:
«И все это возьмутъ кредиторы!?

«По какому же праву?.. Кто смѣетъ?..
Кто имъ дастъ!?» И она разсердилась
На родныхъ, на портнихъ, на корсетницъ,
И на няню, что плохо молилась.

Эта няня давно догадалась,
Что изъ дому ее выживали,
И сбиралась уѣхать въ деревню,
Гдѣ внучата ея подростали.

Въ это утро, въ послѣдній разочекъ,
Она къ Дунѣ вошла; ей на ножку
Натянула прозрачный чулочекъ
И все выболтала понемножку.

— Такъ и такъ, говорила старуха,—
Онъ болтался на самомъ порогѣ,
И—ужь думала я—безпремѣнно
Перешибъ себѣ руки и ноги...

Но и руки, и ноги—все цѣло,
Только крылья отшибъ чортовъ идолъ;
Не могла я найти его ночью,
А поутру онъ самъ себя выдалъ.

Вижу, спряталъ онъ носъ свой въ подушку
И у куклы лежитъ на постели;
Кукла тоже, должно быть, сломалась,
Потому что пищитъ еле-еле...

Разсердилась капризная Дуня
И сказала старухѣ:—Довольно!
Надоѣли мнѣ куклы, и съ ними
Мнѣ разстаться нисколько не больно.

Унесите ихъ вонъ!.. вонъ-вонъ-вонъ унесите!
Съ глазъ долой!.. чтобъ я ихъ не видала!
Эта дочка—совсѣмъ мнѣ не дочка,
И я съ нею давно отыграла.

И дуракъ Купидошка, покуда
Былъ онъ цѣлъ, былъ похожъ на Амура,

А теперь—не хочу,—не желаю
И чинить его... Что я за дура!..

Стану деньги бросать на починку!..
Будутъ деньги, куплю и другого,—
Только мраморнаго,—или просто
Изъ металла, на видъ золотого;

И повѣшу его надъ цвѣтами,—
Пусть качается... Но уходите,
И чтобъ я не видала обломковъ,—
Выметайте ихъ вонъ!.. уносите!

XI.

— Выпроваживаютъ! выгоняютъ!..
Отдаютъ на позоръ Дорофеѣ!
Ахъ! могла ли я думать, что мама
Хуже няни,—и хуже, и злѣе!?

Дай мнѣ Богъ, ей на зло, изъ Парижа
Получить вдругъ такіе наряды,
Чтобъ она поблѣднѣла отъ злости,
Чтобъ она заболѣла съ досады!

Такъ молилась и плакалась Фаня;
Ужь она на матрасѣ, у няни,
Въ пыльной юбкѣ, лежала съ вещами,
Посреди всякой ношенной дряни;

Пухъ надъ нею леталъ, и съ ушами
Узелокъ рядомъ съ ней помѣщался;
Пожелтѣлъ восковой ея лобикъ,
И высокій шиньонъ растрепался.

Только взглядъ, все такой же блестящій,
Былъ съ утра устремленъ на лукошко,
Изъ котораго кверху торчала
Купидошкина голая ножка.

«Негодяй!» она думала. Няня жь,
Въ той надеждѣ, что внучка родная
И ему рада будетъ, въ охлопки
Уложила сего негодяя.

Въ той же сладкой надеждѣ и Фаню
Пожалѣла она, и въ далекій
Домикъ свой увозила къ ребятамъ:
«Дескать, что жь ей тутъ быть одинокой?»

Уложась, няня стала прощаться,
И, нежданно, отъ вѣтреной Дуни
На салопъ получила въ подарокъ
Лисій мѣхъ, а на муфточку—куній.

Люди, горничная и кухарка,
Хоть онѣ на нее и ворчали,
Хоть и ссорились съ ней, на прощанье,
Вечеркомъ, ее въ кухню зазвали.

И поили чайкомъ, и болтали,
Что у нихъ и заботы убудетъ,
И не будетъ излишняго хламу,—
(То-есть, Дуниныхъ куколъ не будетъ).

Толковали о Фанѣ безъ злости,
Ни добра ей, ни зла не желали,
Потому что отъ этой франтихи
Въ жизнь ни зла, ни добра не видали.

Купидошку, любимчика Дуни,
Поминая, не мало смѣялись...

Но ужь къ полночи двигались тѣни,
И къ покою часы приближались.

Няня встала, пошла и лампадку
Засвѣтила, и грустно ей было
Покидать уголокъ тотъ, въ которомъ
Она барышню Дуню взростила,—

Эту куклу, которую мыла,
Пеленала, чесала, ласкала,
Берегла, на которую позже
То засматривалась, то ворчала...

XII.

Фаня въ долѣ своей горемычной
Не видала перста Провидѣнья,
Только видѣла зависть да злобу,
Или мщеніе за предпочтенье.

Позабывъ сердца прошлую повѣсть,
Гдѣ все было корыстно иль ложно,
Кукла думала: «О! ради денегъ
Полюбить... развѣ это возможно!?..»

И сердилась, зачѣмъ Купидошка
Полюбилъ ее не безкорыстно,
И въ лукошко залѣзъ—точно струсилъ;
И все, все стало ей ненавистно...

Вотъ она, погруженная въ сумракъ,
Тщетно жаждетъ душевной отрады.
Мѣсяцъ свѣтитъ серебрянымъ глазомъ
Къ ней въ окно, при мерцаньи лампады.

На полу перепутались тѣни;
Краски пестрыхъ обой точно дымкой
Занавѣшены; часики слышны—
«Тикъ-тикъ»; скоблется мышь невидимкой.

Смотритъ Фаня, и чудится Фанѣ:
За мѣшками, въ углу шевелится
Что-то странное—кошка не кошка,
Ежъ не ежъ—или это ей снится?—

За мѣшками, въ углу копошатся
Двѣ неясно-очерченныхъ тѣни
И шуршатъ, задѣвая поклажу,
Какъ двѣ крысы въ разбросанномъ сѣнѣ...

Вотъ онѣ съ бормотаньемъ, съ виляньемъ,
Точно борются между собою,
То вдругъ черное вверхъ забираетъ,
То вдругъ сѣрое пухнетъ волною...

Что за чудо!.. И Фаня застыла
Въ ожиданіи оцѣпенѣломъ.
Вотъ ужь черное въ уголъ прижалось—
Поднимается сѣрое съ бѣлымъ...

Наконецъ, это сѣрое съ бѣлымъ,
Какъ туманъ, стало вдругъ приближаться
И въ какой-то чепецъ, въ бѣлый фартукъ,
Въ плотный станъ и въ лицо превращаться.

И съ лицомъ озабоченно-строгимъ
Подошла къ Фанѣ женщина; Фаня
Разглядѣла ее и спросила:
—Что вамъ надобно здѣсь? Чья вы няня?!

—О, да, да!—отвѣчало видѣнье,—
Я и няня, и все, что ты хочешь:

За тебя хлопочу, и дивлюсь я,
Отчего ты сама не хлопочешь?

И не спишь, а лежишь!.. А живу я
Здѣсь и тамъ, и вездѣ, гдѣ придется,
И за бѣдныхъ людей, съ нищетою
Безпрестанно готова бороться...

Познакомься со мной, и тебя я
Натолкну на ученье, умѣнье,
На заботу, работу, на прибыль,
И спасетъ насъ обѣихъ терпѣнье.

Понемногу изъ куклы, въ которой
Нѣтъ ни сердца, ни смысла, тебя я
Превращу въ золотую бабенку,
И счастлива ты будешь, родная.

Чай, слыхала?.. Нужда всѣхъ научитъ
Калачи ѣсть—не корку сухую.—
—Калачи!!! Я Нужда... и любого
Человѣка одѣну, обую...

—Ты Нужда!—отмахнувшись руками,
Гнѣвно пискнула кукла:—О, Боже!
Ты Нужда! Мнѣ, какъ нищей, нуждаться!..
Да на что жь это будетъ похоже?!

Мнѣ, съ моимъ деликатнымъ сложеньемъ,
Съ воспитаньемъ моимъ и съ такою
Красотой... жить безъ всякой прислуги,
Да на рынокъ ходить—Богъ съ тобою!

Убирайся! прочь-прочь!—И фигурка
До ушей подняла свои плечи,

Руки вытянула и завыла:
«Коли такъ,—нищета недалече!»

И, потряхивая головою,
Какъ обиженная, удалилась
За поклажу, къ стѣнѣ, и пропала—
Точно въ нянинъ мѣшокъ обратилась.

XIII.

Не успѣла исчезнуть фигурка
Сѣро-бѣлая,—черный комочекъ,
Что въ углу притаясь, копошился,
Замигалъ парой огненныхъ точекъ.

И, пыхтя, тихо сталъ подвигаться
Къ тѣмъ пожиткамъ, гдѣ Фаня дрожала,
И чѣмъ ближе, тѣмъ выше,—и Фаня
Съ отвращеніемъ ноги поджала:

Испугалась и—видитъ, что это
Не комокъ, а—фигура горбатой
Дряхлой вѣдьмы, въ салопишкѣ рваномъ,
Въ черномъ капорѣ, съ дырьями, съ ватой...

И слезливое что-то сверкаетъ
Вмѣсто глазъ изъ темнѣющихъ впадинъ...
И есть что-то родное скелету
Въ этой гадинѣ (паче всѣхъ гадинъ).

Вотъ она почесалась и мямлитъ,
Точно жвачку жуетъ:—Душка! руку!..
Такъ и быть, будемъ вмѣстѣ дѣлить мы
Голодъ, холодъ и всякую муку;

Я, сударка, зовусь Нищетою...
А ты думала, кто я такая?
—Уходи! простонала ей Фаня.
«—Эхъ-хе-хе! подожди, дорогая!

Разъ попала на слѣдъ твой,—я буду
За тобою слѣдить, какъ собака.
Ты—дочь роскоши, лѣни и чванства;
Я—дочь дури, распутства и мрака...

«У меня грязный хвостъ, у тебя же—
Золоченый... Сойдетъ позолота,—
И его загрязню я,—не чванься!»
—Караулъ!..—«Али струсила? То-то!..

Спи покуда!..»
И, вмѣсто старухи,
Черный комъ за мѣшки откатился
И—пропалъ. Въ это время Копилка,
Нянинъ другъ, въ сундукѣ завозился.

Онъ сквозь щелку глядѣлъ и злорадно
Усмѣхался, прикрытый мѣшками:
—Ха-ха-ха! раздался его хохотъ,
Нищета? какъ я радъ! Вишь, грошами

Попрекнула меня,—мѣдяками!
Позабыла, что все выростаетъ
Изъ грошей, но—мы ѣдемъ въ деревню,
И пусть лѣшій тебя выручаетъ!..

Кукла-Фаня, безъ чувствъ, закативши
Свои оченьки, еле дышала,
И какъ няня ее уложила,
Какъ сама улеглась,—не слыхала.

XIV.

Рано утромъ къ воксалу извозчикъ
За полтину повезъ Дороѳею;
А сундукъ, и матрасъ, и подушки
Потащилися слѣдомъ за нею.

Мужичекъ-вахлачекъ, нянинъ шуринъ,
Ихъ взялся отвезти на телѣгѣ;
Съ нимъ и Фаня была; но ужь Фаня
Помышляла о тайномъ побѣгѣ.

Какъ цвѣтокъ, выставляя головку
Изъ корзины, она колыхалась,
И глазѣла направо, налѣво—
(Не шутя, знать, бѣжать собиралась).

Вспоминала она, какъ когда-то
Дуня съ ней разъѣзжала въ каретѣ;
И—увы! ей казалось въ телѣгѣ,
Что она всѣхъ несчастнѣе въ свѣтѣ.

«Что жь мудренаго, думала Фаня,
Если та нищета, что мнѣ снилась,
Заберется въ чуланъ къ Дороѳеѣ,
У которой гостить я рѣшилась?

«Нѣтъ-нѣтъ-нѣтъ!.. Ни за что я въ деревню
Не поѣду. Я тамъ одичаю;
Тамъ отъ скуки умру я; къ тому же
Я не дура и кой-что смекаю:

«Няня хочетъ меня пріурочить
Къ разнымъ Митькамъ, Матрешкамъ, Палашкамъ,
Не хочу я ни сказокъ ихъ слушать,
Ни забавой служить замарашкамъ!..

«Но кто будетъ такъ смѣлъ! Кто избавитъ—
Кто спасетъ красоту мою!? Боже!
Ѣхать... съ нищей вдвоемъ въ третьемъ классѣ!—
Да на что жь это будетъ похоже!?»

Въ это время, у самой телѣги,
Позади шелъ какой-то парнишка,
Шаровары изъ чернаго плису,—
Сапоги,—на плечахъ кафтанишко.

Увидавъ нашу Фаню, шутливо
Онъ приподнялъ картузъ и, шагая
За телѣгой, не громко, не тихо
Восклицалъ: «Ахъ, милашка какая!

Вотъ такъ куколка—вишь ты, поди жь ты!!
Я такой и не видывалъ даже!
И куда это только ты ѣдешь
Съ мужикомъ и въ такомъ экипажѣ?»

И, унылой головкой кивая,
Кукла слушала-слушала, слабо
За корзинку руками держалась,
И—слетѣла, дождавшись ухаба.

Мужичекъ-вахлачекъ и не видѣлъ,
Лошаденку свою понукая,
Какъ слетѣла красавица-кукла
И какъ рада была, убѣгая.

Похититель ея всеконечно—
Не былъ воръ, онъ—былъ просто проказникъ
И шалунъ; и подтибрилъ онъ куклу,
Потому что былъ веселъ подъ праздникъ.

Долго шелъ онъ съ красавицей Фаней,
Но, увидѣвъ свой домъ съ мезониномъ,

Гдѣ жилъ тятенька съ тётенькой Маврой,
Призадумался... Ваня былъ сыномъ

Старовѣра купца и подумалъ:
«Ну, теперь хоть и въ домъ не являйся:
На допросъ поведутъ... Тятя вздуетъ,—
Тётя скажетъ: крестись и покайся!»

«А не то,—такъ братишка Мишутка—
Баловникъ... какъ увидитъ,—отниметъ:
— Покажи-ка, попробуй!—такой-то
Ревъ на цѣлыя сутки подниметъ!

Куклу въ домъ проведешь и не спрячешь...
Нѣтъ, ужь лучше я въ садъ»... И въ куртину
Онъ пробрался съ похищенной куклой,
И, какъ кошка, залѣзъ подъ малину.

XV.

И въ сѣняхъ, и въ хоромахъ, и въ лавкѣ,
То и дѣло, что видѣли Ваню;
А межъ тѣмъ безпрестанно онъ бѣгалъ
Въ темный садъ навѣщать свою Фаню.

Цѣловалъ ее въ губки и въ глазки,
Не пускалъ ни единой козявки
Заползать къ ней на юбку, и на ночь
Уложилъ подъ заборъ у канавки.

И надъ ней, изъ малины устроивъ
Сѣнь, подобно зеленому своду,
«До свиданья»—сказалъ—«жди!» и скрылся
(Пошалилъ—и концы спряталъ въ воду).

Вотъ погасла заря; напрягая
Слухъ свой, кукла мечтаетъ, что скоро

Пригласятъ ее въ домъ... Развѣ можно
Ей въ саду ночевать у забора!

Вотъ по окнамъ забѣгали свѣчи;
Опустилась зеленая стора;
Не ночлегъ ли готовятъ?!—нельзя же
Ей въ саду ночевать у забора?!

—«Ваня малъ, Ваня глупъ, и одѣтъ онъ
По-мужицки—купчина, какъ видно...
Ну, такъ что жь! и купчихи умѣютъ
Разрядить себя такъ, что завидно».

Но напрасно ждала она Ваню...
Въ окнахъ стало темно; ночь пахнула
Холодкомъ, вѣтеркомъ прошумѣла
Въ сонныхъ листьяхъ и звѣзды задула.

Хоть бѣжать!.. но куда? Двѣ собаки, —
Видно, съ цѣпи спустили ихъ,—съ лаемъ
Скачутъ по двору, и—чей-то хвостикъ
Сталъ мотаться въ кустахъ за сараемъ.

Страхъ напалъ на несчастную Фаню;
Зябли ножки, дыханье спиралось;
Къ утру дождь началъ капать, и тучи
Потянулись,—гроза собиралась.

Вотъ и день! Но какая погода!
Такъ и льетъ, такъ и льетъ,—такъ и мочитъ.
Снова день, снова дождь,—и собаки
Выгнать за дверь никто не захочетъ.

А она,—что своей красотою
Лучшихъ куколъ сердца распаляла,
И тонула въ роскошныхъ мечтаньяхъ,
И въ роскошныя букли вплетала

То гирлянды съ цвѣтами, то бусы,—
Одинокой, голодной, забытой,
Коченѣя, лежитъ подъ заборомъ,
У канавы, дождями размытой!

Ея плечи забрызганы тиной,
Лайка ногъ бѣлизну потеряла,
И румянецъ, и алыя губки,
Даже темная бровь полиняла.

Да и что же мудренаго? Только
На четвертый денекъ надъ куртиной
Вновь затеплилось майское солнце,
И запѣла пчела надъ малиной.

На четвертый денекъ только вспомнилъ
Парень Ваня о куклѣ забытой,
И, кудрями встряхнувъ, побѣжалъ къ ней,
Краснощекій, веселый и сытый.

Прибѣжалъ, увидалъ, испугался;
«Вотъ-те на! Что за чортъ! тряпкой стала!»
Но у Фани слипались рѣсницы,—
И она ничего не слыхала.

«Али дождикъ размылъ?—толковалъ онъ
Самъ съ собой:—«Далеко не уѣдемъ
Мы съ такой красотою!.. А я-то
Показать ее думалъ сосѣдямъ!»

И, сердясь, онъ ее за рукавчикъ
Перенесъ на то мѣсто, гдѣ тятя
Строилъ баню, да тамъ и оставилъ
На щепахъ, лишнихъ словъ съ ней не тратя.

Куклу подняли плотники; долго
И разглядывали, и смѣялись;
Сволокли ее въ домъ,—но хозяйка
И жильцы отъ нея отказались.

XVI.

Что жь потомъ сталось съ нашею куклой—
Съ этой милою куклою, барствомъ
Избалованною?—Говорить ли,
По какимъ она шлялась мытарствамъ,

Въ чьи обноски она наряжалась,
Чѣмъ жила, въ чьихъ рукахъ побывала,
Прежде чѣмъ Нищета затащила
Ее въ сумракъ сырого подвала?

Въ этомъ сумракѣ, дѣвочка,—дочка
Нищеты,—на соломѣ, съ неясной,
Темной думой и съ томной улыбкой
Умирала; и куклѣ несчастной

Такъ обрадовалась, такъ прижала,
Ее къ сердцу, что кукла впервые
Полюбила... и вдругъ позабылась...
Стали сниться ей сны неземные...

Что-то въ родѣ лучей, по которымъ
Можно лазить... Какого-то сада
Мотыльки и цвѣты, точно дѣти...
И потомъ,—вдругъ такая услада

И такой миръ проникъ въ ея сердце,
Что нить жизни какъ бы затерялась...
Въ этотъ мигъ на груди мертвой нищей
Наша нищая кукла скончалась...

Нищета сколотила имъ гробикъ,
И, кряхтя, и ворча, что не мало
Ей заботъ, напилась и, шатаясь,
На кладбище снесла—и дрожала...

На кладбищѣ мятелица выла,
Снѣгъ валила и снѣгъ поднимала,
Надъ крестами столбами ходила
И таинственный сумракъ сгущала.

Какъ двѣ черныхъ метлы, у ограды,
Двухъ ракитъ прутья вверхъ поднимались
И,—какъ будто, сметать собираясь
Вороха облаковъ, колыхались...

А подъ ними у ямы, мелькая
Желтизной, тѣнь, какъ призракъ, стояла—
Смерти страшная тѣнь,—то сквозила,
То сквозной свой скелетъ прикрывала.

Падалъ снѣгъ ей на саванъ дырявый,
И казалось, та тѣнь, что́ безгласно
Цѣлымъ міромъ владѣетъ, не выше
Человѣческой тѣни; неясно

На челѣ ея вѣнчикъ, какъ обручъ,
Красовался, и кость шевелилась...
Нищета подала ей свой гробикъ
И, дрожа, въ поясъ ей поклонилась.

И сказала: тебѣ жертвъ не мало
Приношу я, и старыхъ, и малыхъ,
И погрязнувшихъ въ тинѣ разврата,
И безсильныхъ въ борьбѣ, и усталыхъ.

Во сто разъ, во сто разъ приношу я
Больше жертвъ, чѣмъ Богатство,—и что же?

Отъ меня все берешь ты, меня же
Не берешь... Что я?.. Кости да кожа,

Шляюсь—шляюсь, дрожу отъ мороза,
Отъ нужды, отъ побоевъ, запоя,
Маюсь-маюсь.—Помилуй, родная,
Не лишай меня мѣста покоя,

Прибери меня!..
—«Нѣтъ»,—проскрипѣла
Ей холодная смерть, опуская
Бѣдный гробикъ въ холодную яму
И навѣки его засыпая.

—«Не возьму! И пока не настанетъ
Царство истинной славы, безъ дури,
Безъ обмана, безъ лѣни, безъ куколъ,
Безъ звѣрей въ человѣческой шкурѣ, —

Ты нужна, какъ позоръ... И живи ты,
И скитайся, и хнычь!..»
Превратилась
Нищета въ грязный, черный комочекъ
И къ заставѣ назадъ покатилась.

Съ той поры, далеко за заставой,
На кладбищѣ, подъ тѣнью ракиты,
Мирно спитъ позабытая кукла;
Но—невзгоды ея не забыты—

Не забыты ни въ кукольномъ царствѣ,
Ни въ анналахъ бездушнаго свѣта,
Ни на сценѣ, ни въ притчахъ сатиры,
Ни въ романахъ, ни въ сказкѣ поэта.

КОНЕЦЪ ВТОРОГО ТОМА.

Stanford University Libraries
3 6105 004 058 082

DATE DUE			

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004